

Когда читаешь прозу Ларисы Миллер,
все время хочется воскликнуть:
да, да! так оно и было!

ДИНА РУБИНА

Лариса Миллер
**А у нас
во дворе**

[memoria]

CoRpus



Лариса Миллер

А у нас во дворе

«Corpus (АСТ)»

2014

Миллер Л.

А у нас во дворе / Л. Миллер — «Corpus (АСТ)», 2014

ISBN 978-5-17-082515-8

“Идет счастливой памяти настройка”, – сказала поэт Лариса Миллер о представленных в этой книге автобиографических рассказах: нищее и счастливое детство в послевоенной Москве, отец, ушедший на фронт добровольцем и приговоренный к расстрелу за “отлучку”, первая любовь, “романы” с английским и с легендарной алексеевской гимнастикой, “приключения” с КГБ СССР, и, конечно, главное в судьбе автора – путь в поэзию. Проза поэта – особое литературное явление: возможность воспринять давние события “в реальном времени” всегда сочетается с вневременной “вертикалью”.

ISBN 978-5-17-082515-8

© Миллер Л., 2014
© Corpus (АСТ), 2014

Содержание

Глава 1	7
Дом 10, квартира 2	7
А у нас во дворе	15
Кинотеатр очень юного зрителя	17
Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...	20
На лоне природы	23
Сплошные праздники	26
Мертвый час	30
Родительский день	34
Не ходи за ворота	37
Анна Васильевна с Олимпа	46
Глава 2	48
Мама	48
Папа Миша	56
И всем, чем дышалось...	67
Глава 3	71
Север, юг, восток и запад	71
Север	71
Юг	72
Восток и запад. Целина 1958 года	78
Золотая симфония	86
Кофта с пупырышками	92
Фальшиводокументчица	94
Роман с английским	96
Как по-английски “Батюшки!”?	105
Колыбель висит над бездной	110
Времена группы Simple. Советы учителя	115
Глава 4	117
Лететь, без усталости скользить...	117
Остров радости	120
Глава 5	123
“Итак, она звалась Татьяной...”	123
Божественная Валерия	127
Фея времен года	130
Глава 6	133
Путевые заметки	133
“А если был июнь и день рождения...”	140
“Поговорим о странностях любви”	151
Глава 7	170
О штампах с любовью	170
Весной средь бела дня	176
Музыка. Musica	180
Фермата	183
Мы жили по соседству	187
Dahin, dahin[41]...	190
Человек играющий	196

Глава 8	198
А наутро	198
Жилплощадь	200
Спать пора	204
Рай под подушкой	205
Давай как будто	207
О мире, Мцыри и воздушном шаре	209
Ах, лето красное	211
Коллекция	213
Пестрый кушак от белой шубы	216
Что у нас время?	217

Лариса Миллер

А у нас во дворе

© Лариса Миллер, 2014

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Издательство CORPUS®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Да-да, конечно: время мчится шустро,
Но до сих пор загадочная люстра
В театре давнем гаснет не спеша,
И замирает детская душа.

Да-да, конечно: зыбкость, скоротечность.
Но занавес ползет по сцене вечность,
И я со сцены не спускаю глаз
Горящих. Я в театре в первый раз.

Героя звать Снежок. Он – негритенок.
А янки негров мучают с пеленок.
Бинокля я не выпущу из рук.
Идет счастливой памяти настройка.
Ах, жизнь, ты ненадежная постройка:
То пропадает видимость, то звук.

Глава 1

Большая Полянка

Дом 10, квартира 2

Девочка посыпает солью обледеневшие ступени маленькой прибалтийской гостиницы и поет. Она катается на одной ножке там, где еще не посыпано. Русые волосы рассыпаются, закрывая лицо, когда она наклоняется над ведром.

“Алена, тебе не холодно в одном свитере?” – ее мать, дежурная по этажу, кричит в форточку. Какое там холодно. Ей в самый раз. Скользя и напевая, она занимается прекрасным делом: создает устойчивость, точку опоры. Запустила тонкую руку в ведро, достала пригоршню соли, посыпала ступеньку – вот и почва под ногами. Мои дети с азартом скользят по еще не посыпанному льду. Алена спешит туда же, разбрасывая соль. Они перебегают на новое место. Она за ними.

Все визжат и падают, сшибая друг друга.

В детстве все – опора, любая мелочь: старый застиранный бабушкин фартук, который она, кажется, и на ночь не снимает; оранжевый абажур с длинной, грязной бахромой; кнопка звонка, до которого дотянешься, только трижды подпрыгнув. Все это – та же соль, создающая устойчивость.

Родина моя – Большая Полянка. Наверное, никогда не забуду свое исходное положение в пространстве: Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя – купола, “Ударник”, Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша. У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел торопливой подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озирался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевенный магазин – костыли, палки, культивки, хриплые голоса, орущие дети. А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бранил. Магазин назывался “инвалидный”. В него стекались инвалиды со всей округи. Но я была уверена, что он звался “инвалидным” потому, что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота – все мне было нипочем, потому что я как зачарованная глядела на гипсовых детей.

Мне казалось непостижимым, что такие нарядные и красивые, они – калеки, инвалиды, как те, что, стояли рядом со мной на костылях и культивках. Не дико ли, что я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных раскрашенных кукол и утешалась лишь тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки давала все, что могла вообразить, – виноградную кисть, яблоко, кулек любимых конфет-“подушечек”.

Хорошо было сосать “подушечку” и не спеша проходными дворами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот он: два окна на первом этаже, котельная под окнами. Едва я входила в квартиру, передо мной вырастала толстая, неряшливая соседка с вечным полотенцем вокруг головы. “Ларочка, не хлопай дверью. Ты же пионерка, а у меня мигрень”, – плачущим голосом говорила она.

Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было столь узким, что казалось лишенным фаса. Как ни погляди – профиль: запавший глаз, темное подглазье, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье, кашель и кряхтенье. Мне казалось, что я

с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на пирке и называли “бациллоносителем”.

Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня любила и, едва заслышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка, тридцатилетнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой, была прикована к инвалидному креслу. Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой плывущий взгляд и принималась расспрашивать, шепелявя и брызгая слюной: “Ну как ты учишься? Хорошо? Правда хорошо? Ты умная, ты хорошая девочка”.

От Верочки пахло молоком, как от младенца, и затхлостью, как от ветоши.

Идиотка Верочка, туберкулезный отец ее, заплыванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне – исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей, и образовался бы, наверное, пробел, зиянье. Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становятся приметами устойчивого, незыблемого мира.

Долгий зимний вечер. Золоченные бронзовые часы на буфете отбивают каждые полчаса. Сколько себя помню, помню и эти часы с фигуркой женщины, склоненной над книгой: изящная головка с пучком бронзовых волос на затылке, бронзовые складки длинного платья, бронзовые страницы книги. Бабушка штопает, а я пытаюсь нарисовать мертвую царевну в хрустальном гробу. Мне никак не удастся положить ее в гроб, от огорчения пощипывает в носу и хочется плакать.

Недели за две до Нового года мы с бабушкой начинали делать игрушки для елки. Бабушка варила клей, доставала рулоны цветной бумаги, приготавливала ножницы, и мы принимались за дело. Я была нерасторопна и медлительна. Бабушка, потеряв терпение, отнимала у меня клей и ножницы и сама принималась за дело. Мне же давалось какое-нибудь незамысловатое поручение: складывать готовые игрушки в коробку, выбрасывать обрезки. Но все равно мне было хорошо. Единственное, что иногда заставляло меня внутренне сжиматься, – это страх, что бабушка рассердится на меня за мою непонятливость. Она сердилась бурно, начинала кричать и швырять все, что попадало под руку. “Фашистская девчонка, – кричала она, и губы ее прыгали. – Ух-х-х, фашистская девчонка”. Особенно часто такое случалось, когда я оставляла что-нибудь на тарелке несъеденным или когда не могла решить задачку. Но если мы проводили вечер мирно, я была счастлива.

За новогодними игрушками бабушка забывала время. Часы, пошипев, отбивали девять, потом десять вечера. Глаза мои слипались. Дедушка дремал на диване, прикрыв лицо газетой, которая слегка поднималась и опускалась от его дыхания. Мне хотелось, чтобы вечер никогда не кончался. Но предстояло тоже только хорошее. Новый год, особенный, загадочный и счастливый праздник. Мама и бабушка подновят мой прошлогодний костюм: нашьют новую вату на корону, наклеят блестки на старый бархатный мамин халат, и я снова буду Снегурочкой. Я буду танцевать под елкой какой-нибудь импровизированный танец, когда раздастся пугающе громкий стук в дверь и появится Дед Мороз в длиннополом одеянии с ватным воротником и в шапке, закрывающей пол-лица. “Шолом алейхем, дорогие, с Новым годом, – скажет он. – Шолом алейхем, внученька, дай мне бусинку”.

“Дай мне бусинку”, – говорил дедушка, когда хотел поцеловать меня. Он наклонялся ко мне и целовал осторожно, бережно, будто боялся кольнуть своими усами.

Нарочито громкий дедушкин голос и весь его преображенный вид заставляли, замерев, ждать чуда.

А еще были праздники, которые мама устраивала для нас двоих. Вдруг среди недели почти круглосуточной работы у нее случался свободный день, короткая передышка, которая называлась “отгул”. Для меня это звучало как “прогул”, да и означало прогул, потому что в такой день мама разрешала мне не ходить в школу. Мы уже накануне строили планы на завтра. Наступало завтра. Сквозь сон я слышала, как шелкал дверной замок. Значит, мама ушла на

рынок. Ранний поход на рынок сопровождал все наши праздники. В такой нерабочий день мама, встав пораньше, накидывала пальто и бежала на рынок. Возвращалась она с чем-нибудь особенным в зависимости от сезона: с баночкой варенца, подернутого коричневой пленкой, с пучком редиски, с букетом сирени или мимозы. Начинался разбор сумок, поиски вазы для цветов, мытье овощей. Я любила мыть редиску. Мне нравилось катать ее между пальцами под струей воды и смотреть, как она становится красной и яркой. Завтрак – миска свежего салата. На пианино – свежий букет. И это только начало дня. А дальше радостные торопливые сборы. Предстоял поход в кино или театр на утренний спектакль. Мама любила безудержное веселье: если кино, то два фильма в день. Если театр, то потом кино или гости. Коловращение, зрелище, шум. К нам приходило много людей. Летом они входили прямо через окно: спрыгнут с низкого подоконника – и в комнате. Накурено. Несколько пепельниц на полу, возле чьих-то ног. Кто-то наигрывает на пианино “цыганочку”, а мама, рыжеволосая, в легком пестром платье, плывет по комнате, раскинув руки и подергивая плечами. Иногда она склоняется к кому-нибудь из сидящих и, заглядывая в глаза, притоптывает на месте. Смех, шуточные поцелуи.

Бабушкины приемы были совсем иными. Собирались родственники. Некоторых я встречала только по семейным праздникам. Не помню их имен и голосов, но помню, как они держат вилки и обсасывают косточки. Бабушка готовилась к торжественному дню с воодушевлением и самоотдачей. В назначенный час на столе появлялось блюдо с фаршированной рыбой. В отдельных мисочках красный хрен, а в глубокой миске – голубцы, перевязанные ниточкой. Эта нитка не давала мне покоя. “Зачем она?” – каждый раз спрашивала я. “Голубцу крылышки перевязать, чтобы не улетел”, – говорили мне. Я долго и задумчиво обсасывала солоноватую ниточку и, не решаясь выбросить, прятала в карман. Но иногда мир кренился.

Однажды во двор прибежал кто-то, крича: “Мальчишка под трамвай попал!” Все бросились на улицу, и я пошла, дерзнув нарушить обещание не уходить со двора. На рельсах лежал мальчик. Он был неподвижен, но кисть его руки слабо шевелилась. Я не могла отвести взгляд от этой смуглой, покрытой цыпками кисти.

Через дорогу стоял деревянный флигелек. И там, на втором этаже, на подоконнике распахнутого окна сидела мать мальчика. Она раскачивалась и громко выла. Мне казалось странным, что она не бежит вниз к сыну. Она куталась во что-то большое, черное, раскачивалась и выла. И этот вой и шевелящаяся детская рука не давали мне уснуть в ту ночь и преследовали еще долго.

В детстве мне казалось, что смерть коричневого цвета. Коричневой была рука попавшего под трамвай мальчика. Смуглым был соседский мальчик, утонувший летом в реке. Он успел хорошо загореть за два летних месяца и лежал в гробу темный от загара.

И темным, сморщенным было лицо старой докторши, умершей в эвакуации. Мы с бабушкой шли за гробом, который медленно тащили лошади вверх по булыжной мостовой. Это мое первое воспоминание о смерти. Бабушка говорила, что докторша выходила меня, умирающую от диспепсии, и добывала для меня неведомо как плохонькие яблоки, редкостные по тем временам. Я не помню докторшу живой, но отчетливо помню ее в гробу: сморщенное смуглое лицо, а на голове белоснежный кружевной чепец. Из-за яблок, которые так часто поминала бабушка, лицо докторши казалось мне крохотным печеным яблоком.

Представление о смерти как о чем-то коричневом разрушилось позже, когда покончила с собой женщина из нашего дома. Я часто видела эту гордую высокую женщину в причудливой фетровой шляпе на голове. Муж ее, низенький полный еврей, всегда спешил, но, проходя мимо меня, непременно шутил и звал в гости. Говорили, что он военный хирург. Он действительно ходил в военной форме, которая вовсе не шла ему, низкому и толстому. И вдруг он исчез. Однажды я слышала, как мама шепотом говорила, что его посадили. Я представляла, что сажают только бандитов и воров. И никак не могла связать с ним это слово.

А однажды все в нашем доме заволновались, забегали, запричитали. И тут я впервые услышала: “Покончила с собой”. Жена хирурга покончила с собой. Эта смерть была далекой, ненаблюдаемой. Смерть витала где-то там, на самом верхнем этаже, куда я никогда не поднималась. Умерла высокая, гордая, непонятная мне женщина. Она не утонула, не попала под трамвай, не состарилась, не заболела. Она покончила с собой. Слова странные, непостижимые, наглухо закрытые от меня, как шторы на окнах той квартиры, где жила разоренная семья.

В день похорон, мы, дети, стояли внизу и, задрав головы, смотрели наверх, на зашторенные окна. И мне казалось, что время от времени за шторами мелькал какой-то белый колеблющийся свет, будто переносили с места на место свечу.

С той поры смерть перестала быть чем-то доступным моему сознанию и утратила цвет. Я знала, что умирают, но умирают где-то на другом этаже, в соседнем доме, за воротами. Я еще не знала, что умирают свои, родные, те, кто совсем близко, кто определяет жизнь. Этот новый опыт пришел позже, но ничему не научил: не стало ни легче, ни привычней от того, что это случилось и раз и другой. С годами понятие о смерти стало объемнее: смерть – это не только остановившееся дыхание. Это любая утрата, любой распад, любая необратимость, в которую трудно поверить. И лишь иногда возникает рецидив детской веры в поправимость, в обратимость всего на свете; в то, что любое единство, любая цельность, нарушенные однажды, могут восстановиться вновь. Будто частицы целого навсегда сохраняют память о бывшем единстве и готовы воссоединиться при счастливом стечении обстоятельств. Но где оно, это счастливое стечение? Можно жизнь прожить, а его не будет. И, чтобы убедиться, что все поправимо, надо жить вечно.

И лишь в детстве все восстановимо. Так велика потребность жить и радоваться жизни и столько для этого причин, что их и искать не надо. Вот снят замок с двери котельной. Значит, в котельной дядя Петя, истопник. И мы спешим вниз по крутой плохо освещенной лестнице, чтобы посмотреть, как дядя Петя, лениво матерясь, подбрасывает в котел уголь. А весной он, так же тихо матерясь, будет подравнивать сирень в саду, потому что он еще и садовник. Когда-то в молодости эти кусты сажала моя бабушка. Об этом мне много раз говорили дома. Дядя Петя переходил с приставной лестницей от куста к кусту, а мы, дети, деловито мельтеша, подбирали срезанные ветки. И пахло свежесрезанной сиренью и дешевым дяди-Петиним табаком.

...Апрельский день. Апрельский ли? Но то была Пасха. Помню небо, высокое, текучее. Да и не было неба. Была только зыблемая голубизна и невесомость. Куда не ступишь, всюду родники и проточные воды. В такой день кажется, что застой невозможен ни в чем: ни в природе, ни в делах, ни в мыслях. Все проточно. Я ничего этого не могла осознать тогда. Но помню небо и воды. Помню, что было зябко, и я старалась засунуть руки в слишком мелкие карманы нового бежевого пальто. Вернее, не нового, а перешитого из маминого, но надетого впервые. “Перелицованное”, “демисезонное” – эти два слова я так часто слышала дома на исходе зимы, что у меня навсегда связалось с ними предвкушение весны, талого снега, капли, ломоты в глазах от чересчур синего, чересчур светлого. Это, наверно, еще оттого, что при перелицовке на линялом лицевом фоне изначальный первозданный цвет кажется особенно ярким. И бывшая изнанка, сохранившая цвет, становится лицом. Первозданный цвет был повсюду: если не перелицовывали, то спускали рукава, удлиняли подол. Всюду мелькали полосы яркого, чистого, изначального цвета. И все это означало – весна. За что я помню этот апрельский день, сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли стайками и поодиночке, некоторые с внучатами. В руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых бумажные цветы. И эти старушки казались неслучайной принадлежностью струящегося лазоревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрадохками наготове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятшек, идущих в церковь, чтобы потом передать списки в школу. Это была их внеклассная пионерская работа в пасхальный день.

Не за горами 1 Мая. Скоро будут муку давать. И вдоль домов поползут огромные очереди, напоминающие многоглазое, многорукое, многоногое доисторическое чудовище. И тогда мы, дети, будем нарасхват. Мы прогуляем школу, и нас будут брать напрокат, чтобы получить лишний паек муки. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чей длиннее. Чернильный номер на ладони, гудящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна – неужели мало для счастья?

Вечером мы шли с бабушкой на остановку троллейбуса в надежде встретить маму. Она уходила в свой Радиокomitee на заре и приходила поздно ночью. Так работали в те времена. Один троллейбус, второй, третий. Вот и она. Мы никогда не были уверены, что дождемся ее, и так радовались ее появлению, что этой радости хватало до конца дня.

А ночью мама выстукивала на машинке свои бесконечные “почтовые ящики” для вещания на Скандинавию. Так назывались передачи, в которых советский журналист снисходительно и терпеливо рассказывал наивным зарубежным друзьям о преимуществах советской жизни.

Стук машинки – ночной звук моего детства. Иногда стук на время прекращался: мама курила и размышляла.

Сигаретный дым – ночной запах моего детства. Под утро мама ложилась рядом со мной. А когда я просыпалась, ее уже не было дома. На столе стояла чашка с недопитым чаем, а на блюде лежал розовый от помады окуроч.

Но самое сладкое время наступало перед сном, когда я вела воображаемую жизнь. В этой жизни все кончалось так, как я хотела. Я спускала с дивана руку и держала ее опущенной, пока она не замерзала. Моя замерзшая рука – это кто-то несчастный, заблудившийся в лесу. А другая рука – это я сама. Другая рука шарил по подушке, по складкам одеяла. Это я блуждала по лесу в поисках пропавшего. И наконец – о радость! – одна рука находила другую. Встреча. Несчастный спасен. Я укладываю его под одеяло. Грейся. Грейся.

Однажды в такой предсонный час я услышала мамин голос: “Женя, приезжай”. Так в нашей жизни появился Женя. Между мной и мамой возник некто высокий, худой, бледное прыщеватое лицо, очки; прямые, немного сальные волосы. Он то и дело встряхивал головой, чтобы убрать их с лица. Мама говорила, что он философ. Я не знала, что такое “философ”, и долго связывала это слово с бледностью, прыщами и очками. Женя иногда мне рассказывал что-то про огненную колесницу и кормил гоголь-моголем. Правда, гоголь-моголь он делал нечасто: то не было яиц, то сахара. Но когда все было, Женя растирал желток с таким рвением, что лоб его покрывался испариной, а волосы прилипали ко лбу. И тогда страх, что капли пота попадут в чашку, отравлял мне все удовольствие от блюда.

Поздним вечером к маме с Женей приходили гости. Женя садился за пианино и наигрывал песенки собственного сочинения. Вернее, музыка была Женина, а слова мамы. Она пела, а он бойко играл, слегка подпрыгивая и оттопыривая большой палец. “В старом почтовом вагоне сердце мое увезли”. Что-то в этом роде.

Как-то раз я проснулась от зловещего шепота Жени:

“А ну, марш в постель”. Проснулась и увидела, что стою возле маминей кровати, босая, в ночной рубашке. Мне стало страшно: как я попала сюда из другой комнаты? Тогда я поняла, что стала бродить ночами. Это случилось, наверное, с появлением Жени, от тоски по маме, когда меня переселили спать в другую комнату. И кончились мои хождения, когда Женя исчез. Мы жили скудно. Однажды мама увидела, как Женя тащит из буфета сахар, который она откладывала для меня, и выгнала его. Та ли была причина или другая, но Женя исчез. Накренившийся мир снова пришел в исходное положение.

Моя первая дружба. Галка Зайцева, белобрысая курносая подружка. Она живет за стеной, и мы постоянно перестукиваемся и бегаем друг к другу в гости. Однажды мы с ней решили поставить к Новому году спектакль по пьесе Маршака “Двенадцать месяцев”. Набрали во дворе

“актеров” и распределили роли. Как-то само собой получилось, что я оказалась режиссером, поскольку идея была моя, да и книжка тоже. Каждый выбрал себе роль по вкусу. Мне очень хотелось быть падчерицей, которая ищет в лесу подснежники, но я уступила эту роль Галке. Я режиссер, и мне неудобно брать себе лучшую роль. Буду принцессой, капризной и взбалмошной. Поздний вечер. Сажу за столом и переписываю роли для всех актеров. Вдруг три звонка и голос в коридоре: “Где ваша Лара?” Дверь в комнату распахивается, и в сопровождении бабушки влетает разгневанная тетя Шура, Галкина мать. “Ты что это? – набросилась она на меня. – Ты что это из моей девки падчерицу сделала, а? Она, значит, падчерица, а ты принцесса? На каком основании?! Знаем мы вас. Небось себя в обиду не дадите”. Она повернулась к бабушке: “А вы куда смотрите? Сами воспитателей учите, а внучка ваша над моей девкой измывается. Больше ее ноги здесь не будет. Принцесса”. Бабушка пыталась что-то ответить, но тетя Шура, не слушая, выбежала за дверь так же стремительно, как вбежала. Спектакль не состоялся, но дружба не расстроилась. Собираясь гулять, я по-прежнему стучала Галке в стенку, и она стучала в ответ или кричала в форточку:

“Иду. Одуюсь”. Но чем старше, тем труднее утешаться, тем меньше событий и дел, в которые можно уткнуться, как в подушку. Уже не столь упоительны стали предутренние часы.

Не давали покоя события дневной жизни.

“Отойди от нас. Ты еврейка”, – сказала мне самая старшая из дворовых подружек. “А что это такое?” – спросила я. “Евреи – это те, у кого черные волосы. Евреи нехорошие. Помнишь, ты меня пихнула, когда у меня нога болела?” Я не помнила, но мозг лихорадочно работал: “Еврейка, черные волосы, пихнула”. Надо пойти домой и спросить.

“Не слушай ее, – говорила бабушка. – Она глупая девчонка”. Но как не слушать, когда за мной бегают по двору и кричат: “Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит. Веревочка лопнула и жида прихлопнула”.

Вот когда я впервые поняла, что у меня нет защиты. Мне казалось, что, будь у меня отец, пусть даже такой больной, вечно кашляющий, как у соседки Верочки, все было бы иначе. А что могут сделать с ватагой орущих ребят мама, бабушка и тихоголосый дед. Да их самих легко обидеть.

“Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит...” Вот когда я впервые почувствовала себя не такой, как все. Могла ли я думать, что отныне всю жизнь быть мне чужаком и никуда от этого не деться? Нет.

Тогда мне казалось: вот выйду завтра во двор и увижу раскаяние на лицах ребят. И Людка Ведеева, самая старшая из подружек, подойдет и скажет... я не могла вообразить, что она скажет, но сердце замирало и слезы выступали на глазах.

А наутро все повторялось снова, и почва ускользала из-под ног. Ускользание почвы. Иногда это ощущение сладостно и желанно. Однажды мальчик, с которым я играла во дворе, сказал, что хочет пить, и позвал к себе. Я впервые попала внутрь чужого дома, на который привыкла смотреть только снаружи. Со двора, знакомого до каждой царапины на стене, вдруг вошла в незнакомую комнату. Секунда отделяла привычное от непривычного, уличный шум от тишины, солнечный свет от комнатных сумерек. Привычное открывалось мне с новой точки. И вдруг все покачнулось и поплыло перед глазами: и тюлевые занавески на окнах, и тикающий будильник, и графин на столе.

Такое же головокружение испытала я на даче в Расторгуеве, когда заблудилась и попала в сырой овраг, голубой от незабудок. Я собирала их, стоя на коленях во влажном мху. Собирала, забыв о времени. Но, очнувшись, испугалась, что не найду дорогу домой, и побежала куда глаза глядят. Через несколько шагов я увидела знакомую крышу и поняла, что была рядом с домом. И с этой новой точки мой дом выглядел странным, нереальным. И все как бы слегка качнулось и сместилось, как занавеска на сквозняке.

И когда такое случается, исчезают стертые, скучные связи. Все распадается. Не рушится, а распадается на отдельные самоценные миги, которые могут сцепиться снова, но в каком-то ином непредсказуемом порядке. А пока ты вне игры и смотришь на все, даже на свою жизнь, как бы со стороны. Но не как отверженный, изгнанный, а в полном согласии с окружающим, раздробившимся на отдельные миги, но сохранившим красоту и цельность.

* * *

Московское детство: Полянка, Ордынка,
Стакан варенца с Павелецкого рынка —
Стакан варенца с незабвенною пенкой,
Хронический кашель соседа за стеной,
Подружка моя – белобрысая Галка.
Мне жалко тех улиц и города жалко,
Той полудеревни, домашней, давнишней:
Котельных ее, палисадников с вишней,
Сирени в саду, и трамвая-“букашки”,
И синих чернил, и простой промокашки,
И вздохов своих по соседскому Юрке,
И маминых бот, и ее чернобурки,
И муфты, и шляпы из тонкого фетра,
Что вечно слетала от сильного ветра.

* * *

И висело белье, полощась на ветру.
И висело белье, колыхаясь от ветра.
О, какое печальное сладкое ретро!
Как из памяти эту картинку сотру?
Синька, бак для белья, и доска, и крахмал,
У бабули в руках бельевые прищепки,
И белы облака удивительной лепки,
И ребенок, стоящий поблизости, мал.
И ребенок тот – я. И белей облаков
Простыня, и рубашка – небесного цвета.
И всему, что полощется, – многая лета,
Цепкой памяти детской, щадящих веков.

* * *

– Да ничего особенного там
И не было. Убожество и хлам
В твоей замоскворецкой коммуналке —

Клопиные следы и коврик жалкий,
И вата между рамами зимой.

– Да-да. Все так. Но я хочу домой
В свое гнездо, к тем окнам, к тем соседям,
К той детворе. Давай туда поедem.
Там во дворе – волшебная сирень.
Там у соседки – сильная мигрень.
Мигрень – какое сказочное слово
И как звучит загадочно и ново!

Там город мой, в котором я росла,
Который я, к несчастью, не спасла,
Там город мой, домашний и зеленый,
Людьми, которых нету, населенный,
Тот город, что моим когда-то был,
А стал чужим. И сам себя забыл.

А у нас во дворе

Мы с Галкой Зайцевой играли в дочки-матери в нашем дворе на Большой Полянке. Гнездышко для дочек – моей целлулоидной Мальвины и Галкиного пупса Машки – свили в одном конце двора, а “молоко” для них носили из другого, где всю весну не просыхала глубокая необъятных размеров лужа. Пока наши “дети” спали после обеда, я в очередной раз отправилась за “молоком”. Возвращаясь с двумя полными ведерками, споткнулась о какой-то булыжник и упала. Попыталась подняться, но, почувствовав острую боль в колене, осталась лежать. Вот полегчает, тогда встану. Пустые ведерки валялись рядом, а я лежала и ждала, когда пройдет колено. И вдруг во двор въехала большая черная машина и двинулась прямо на меня. Видя, что она приближается, я еще раз попыталась подняться, но не смогла. То ли действительно так болело колено, то ли страх помешал. Поняв, что мне не встать, я приготовилась к концу. Гибель под колесами протяжно гудящего черного чудовища казалась неминуемой. Я вжалась в землю и застыла. На секунду приоткрыв глаза, я, как в тумане, различила лица дворничихи тети Маруси, истопника дяди Пети, Галкиной мамы, портнихи Зины из квартиры напротив, Димки и Марика из бокового флигеля... Все они смотрели на меня долгим и скорбным взглядом, прощай, мол, девочка. Жаль твоих близких, но что поделаешь – от судьбы не уйдешь. Зажмурившись, я еще сильнее вжалась в землю и вдруг почувствовала, как чьи-то руки подняли меня и понесли. Я открыла глаза и увидела ЕЕ – ту, которая была постоянным предметом моей зависти и восхищения. Во-первых, потому что ей было четырнадцать, а мне шесть. Во-вторых, потому что она была сестрой Юрки Гаврилова, который учился в Суворовском училище и давно мне нравился. В-третьих, потому что ее звали как меня, но при этом она была высокой, стройной и, в отличие от меня, не косолапила. И вот девочка, к которой я и подойти не смела, несет меня на руках. Что же это делается? Только что была на волосок от гибели и вдруг оказалась на вершине блаженства. А может, я уже умерла и попала в рай, про который рассказывала тетя Маруся, когда приходила греть мне обед.

Лариса со мной на руках вошла в наш подъезд, позвонила в дверь и вручила меня ничего не понимающей бабушке. “Она упала и ушибла колено. Его надо промыть”, – взрослым голосом сказала Лариса. Бабушка стала усиленно ее благодарить и, о счастье, пригласила в комнату. Пока Лариса пила чай с конфетами, бабушка возилась с моей коленкой. “Что ты дрожишь?” – спросила она. “Ей больно”, – все тем же взрослым голосом объяснила Лариса. Меня действительно била дрожь, но не столько от боли, сколько от недавнего ужаса и сменившего его восторга.

Почти год я рассказывала об этом событии всем, кого считала достойным своего рассказа. Потенциальных слушателей становилось все меньше, посвященных все больше, а событие не тускнело. Однажды, когда в нашем дворе появилась новенькая, я поняла, что должна срочно с ней поделиться. Тем более что она поселилась в одном подъезде с моей спасительницей. “Ты знаешь Ларису Гаврилову?” – начала я издалека. “Конечно”, – ответила девочка. “А знаешь, что она спасла мне жизнь? – я сделала выразительную паузу и, понизив голос, на одном дыхании произнесла: – Она выхватила меня из-под колес машины”. Девочка потрясенно молчала. Теперь можно было изложить все по порядку. Но в этот момент вмешалась соседка, которая, луща семечки, сидела на той же скамейке: “Лариска-то? Да она клептоманка”. “Кто?” – не поняла я. “Клептоманка”, – повторила соседка. “А что это значит?” – “Это значит, что она у вас что-нибудь украла. Вы ничего не хватились после ее ухода?” Я тупо смотрела на соседку. “Клептомания – это болезнь, – продолжала она, – человек ворует даже то, что ему совсем не нужно. Он просто не может не воровать. Так что, когда она в следующий раз спасет тебе жизнь и принесет домой, ты все же следи за ней повнимательней. И своим скажи, чтоб следили”. Увидев, что я чуть не плачу, соседка сжалилась: “Да ты не расстраивайся. Она хорошая, про-

сто больная. И мать у нее больная. Но не kleптоманией. У матери падучая. Упадёт на пол и бьётся, бьётся, пока приступ не пройдёт. Лариска с ней маётся, бедная. Несчастливая семья. Отца на фронте убили, мать по больницам. Хорошо хоть Юрка мало дома бывает. Ладный такой, кудрявый. Может, хоть он здоровым вырастет”.

Я долго не могла уснуть в ту ночь. “Клептоманка, воровка, падучая”, – вертелось у меня в голове.

Несколько дней спустя я осторожно спросила маму: “А правда, если бы не Лариска, меня бы не было в живых? Правда она спасла меня?” “Ну конечно”, – ответила мама. “Правда машина бы меня раздавила?” – не унималась я.

“Ну нет, не думаю. Зачем ей было тебя давить?” – “Но ведь она ехала прямо на меня”, – настаивала я, пытаюсь спасти то, от чего не в силах была отказаться. “Но водитель ехал медленно, он тебя отлично видел. Просто думал, что ты дурачишься, и гудел тебе, чтоб ты встала”. – “Но ведь вокруг были люди, и никто не подошел ко мне. Только Лариса”. – “Да, конечно, она добрая девочка, – согласилась мама, – но люди могли просто не видеть, что происходит, не придать этому значения”. Я задохнулась от обиды: “Как это не видеть? Они все смотрели на меня, а машина ехала, и колеса уже почти касались моих волос”. “Ну что ты так переживаешь? – удивилась мама. – Все кончилось хорошо. Скоро Новый год. Хочешь, позовем Ларису? Дед Мороз ей тоже принесет подарки”. “А что такое kleптомания?” – не отвечая на мамин вопрос, спросила я. “Это когда...” – и мама повторила то же самое, что сказала соседка. Больше я свою историю никому не рассказывала.

Прошло несколько лет, в течение которых я лишь изредка видела, как Лариса пересекает наш двор. Она стала еще стройней и выше. Однажды весной я неожиданно столкнулась с ней лицом к лицу. Она была не одна. Рядом шел, вернее неловко прыгал на костылях, темноволосый молодой человек. Правая нога его была в гипсе. Лариса медленно шла рядом с ним, и в ее повернутом к нему лице было нечто такое, что мешало мне с ней поздороваться. Я уже почти прошла мимо, когда она неожиданно окликнула меня: “Здравствуй, Лариса!” Я радостно оглянулась и ответила: “Здравствуй, Лариса!” А про себя добавила: “Которая спасла мне жизнь, выхватив прямо из-под колес машины”.

* * *

А круг, на котором я плавала, быстро спустил.
Мне лет было мало. Я плавать совсем не умела,
А мама не видела, мама на солнышке млела,
А я все барахталась и выбивалась из сил,
Пока не нащупала пальчиком правой ноги
Спасительный камень в одежке из скользкого ила.
...Никак не пойму я, что в жизни случайностью было,
Что Божьим ответом на сдавленный крик: “Помоги!”

Кинотеатр очень юного зрителя

“Ты только, пожалуйста, не задавай вопросов, пока не кончится фильм, – каждый раз умоляла меня мама, – я тебе все потом объясню”. Меня хватало минут на десять, после чего я принималась дергать ее за рукав и шептать: “Это русские или немцы? Наши или не наши? Кто здесь плохой?” Однажды, увидев на экране человека с усиками и в пенсне, я громко зашептала:

“Это враг? Скажи, это враг?” Мама испуганно оглянулась и, больно сжав мне руку, прошипела: “Замолчи!” Ее ярость была настолько неожиданна и необъяснима, что я немедленно потеряла интерес к фильму и сидела, шмыгая носом и смахивая со щек то и дело набегавшие слезы. Но мама смотрела прямо перед собой и вовсе не пыталась меня утешить. Только дома она объяснила мне, что тот, кого я приняла за врага, был сам Молотов и что она могла иметь из-за меня крупные неприятности: “Я тебе запрещаю задавать мне вопросы в кинотеатре, запрещаю. Поняла?” Поняла.

Оставшись один на один с экраном, я сперва растерялась, а потом решила начать новую жизнь, то есть попытаться мыслить самостоятельно. До сих пор помню мое первое независимое умозаключение. Боюсь ошибиться в названии фильма, но кадр был такой: важные дяди заседали в большом кабинете. Единственный, кого я узнала немедленно, – это Сталина, появление которого на экране сопровождалось бурей аплодисментов. Остальные личности были мне неизвестны и непонятны. Во время беседы самый толстый из дядь подошел к горящему камину и встал к нему спиной, но, внезапно почувствовав сильный жар, не то отскочил, не то вскрикнул. Короче, сделал что-то, вызвавшее смех в зале. “Он плохой, – обрадовалась я своему открытию, – с хорошими такое не случается”. Едва дождавшись конца фильма, я поделилась своей догадкой с мамой, и она подтвердила мою правоту. Толстяка звали Черчилль, и, хотя он не был немцем, он не был и “нашим”. Начался новый этап в моей зрительской биографии – этап самостоятельных выводов.

Но едва я ступила на этот путь, как жизнь подставила подножку. На экраны вышла французская комедия с маловразумительным названием, которое сперва прозвучало для меня как “Скандал в кошмаре”. Иностранные фильмы, как правило трофейные, редко появлялись на наших экранах в те годы. Зритель валил на них валом. Мы тоже пошли, причем на какой-то очень поздний сеанс. Детей, конечно, не пускали, и мама провела меня под полкой своего пальто. С этим фильмом все было странно: и название (которое даже в правильном варианте – “Скандал в Клошмерле” – не стало понятней), и ночной сеанс, и мой контрабандный проход. Мне даже кажется, что картина шла не в обычном большом зале нашего домашнего кинотеатра “Ударник”, а в маленьком зале на первом этаже. Когда погас свет, началось то, к чему я вовсе не была готова: замелькали кадры, забегали, засуетились, затараторили многочисленные персонажи с непривычными именами. Не выдержав, я подергала маму за рукав, но она так смеялась, что даже не заметила моих приставаний. В зале стоял непрерывный хохот, в котором я при всем желании не могла принять участия. Чувствуя себя несчастной и покинутой, я принялась пристально следить за маминым лицом, надеясь хоть раз успеть вовремя хихикнуть. Не ведая толком, о чем фильм, я понимала одно: когда все кончится, я не буду знать, что спросить. Мои обычные вопросы не годятся. По дороге домой я задала единственно возможный вопрос: “Про что кино?” “Про открытие общественной уборной”, – сказали мне. Я в недоумении пожала плечами.

Нет уж, лучше ходить на наши картины, в которых я хоть как-то научилась разбираться. А однажды настолько осмелела, что даже попыталась высказать свое критическое отношение и на вопрос бабушки, как мне новый фильм, ответила небрежным: “Так себе”. “Что-о-о? – воскликнула она. – Люди старались, работали, тратили силы, время, чтоб ты, как буржуйская

девчонка, привередничала и фыркала?!” Подобная реакция надолго отбила у меня охоту мыслить критически.

Мама тоже предпочитала хвалить все увиденное. Она следовала этому принципу до конца своей жизни и, покупая во время международных кинофестивалей сразу несколько абонементов, смотрела все подряд. На мои недоуменные вопросы отвечала: “Надо учиться во всем находить хорошее. Даже в слабой картине можно при желании найти что-то интересное: увидеть, как живут люди, что носят, где отдыхают. Сходишь в кино – и как будто в другой стране побывал”. Но это уже о временах не столь отдаленных. А тогда, много лет назад, Москву огласил незабываемый клич Тарзана. Этот фильм был так же прост и ясен, как диалог главных действующих лиц: “Джейн – Тарзан”. – “Тарзан – Джейн”. Мне даже удалось путем собственных наблюдений прийти к выводу, что ни к чему волноваться и зажмуриваться, когда герои идут по краю пропасти, поскольку летят в нее только рабы и черные, что, впрочем, одно и то же.

Не помню, раньше или позже “Тарзана”, но был в моем детстве фильм, совершенно меня околдовавший. Шел он не в “Ударнике”, а в клубе “Красные текстильщики” и назывался “Индийская гробница”. Загадочная красота героев, их странная пластика, экзотические танцы, роскошные дворцы, белые слоны – все было настолько необычно, что вопросов не возникало. Тем более что я привыкла задавать их только маме, а на “Индийскую гробницу” ходила с бабушкой и дедушкой. Выйдя после сеанса на улицу, мы медленно шли по заснеженной Москве. Я напевала, а дедушка насвистывал мелодию из фильма, которую помню до сих пор.

Но с одной картиной моего детства у меня установились особые, сложные и очень личные отношения. “Первоклассница” – как много в этом звуке для сердца моего слилось... Когда я впервые увидела этот фильм (а видела я его много-много раз) и вернулась домой возбужденная и полная впечатлений, мне рассказали историю, которая меня потрясла. Оказывается, Агния Барто, у которой мы с мамой часто бывали, посоветовала создателям фильма пригласить меня на главную роль. Кто-то из съемочной группы приезжал к нам для переговоров, но бабушка сказала свое категорическое нет. “Не дам калечить ребенка! Не позволю ломать ей жизнь!” Калечить и ломать – эти два слова не выходили у меня из головы. Каждый раз, когда я смотрела “Первоклассницу”, я заново переживала свою трагедию: меня покалечили, мою жизнь сломали. Почти полностью позабыв фильм, я и сегодня отлично помню лицо той, которая снялась вместо меня. Звали ее Наташа Защипина. Сидя в темном кинозале, я постоянно испытывала синдром Царевны-лягушки и с трудом подавляла в себе желание сообщить всем и каждому: “Это я, я должна была играть в этом фильме. Это моя роль!” Однажды придя в гости к своему другу Юрке, я поделилась с ним своими переживаниями.

“Наташа Защипина? – переспросил он небрежно. – Я ее отлично знаю. Она живет в моем дворе. Я даже вчера ее видел, и она рассказала мне свою историю”. “Какую историю?” – спросила я, не веря своим ушам. “Ну, про то, как она была в плену, как ее освободили”. Я потеряла дар речи. Это уж слишком. Мало того что она сыграла мою роль, она еще была в плену, у нее имелось какое-то прошлое. “Врет”, – вдруг догадалась я. “Врет!” – сказала я громко. Но, взглянув на взбивавшую в это время клюквенный мусс Юркину маму и увидев, что она едва сдерживает смех, я поняла, что врет Юрка, а вовсе не Наташа Защипина.

Нет, мне не суждено было стать актрисой. Я осталась зрителем, но зрителем чутким, преданным, благодарным, равнодушным. А это тоже совсем неплохая роль.

Не плачь! Ведь это понарошку.
Нам крутят старую киношку,
И в этом глупеньком кино
Живет какая-то Нино,
И кто-то любит эту крошку.
Решив убить себя всерьез,

Герой, едва из-под колес,
Вновь обретает голос сладкий...
Но ты дрожишь, как в лихорадке,
И задыхаешься от слез.

Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...

Наблюдать умирание ремесел Все равно что себя хоронить.
Арсений Тарковский

В начале 1950-х к нам домой регулярно ходил высокий, грузный, цыганского вида человек с мощными усами и золотым зубом. Держался он с достоинством, носил просторное пальто и широкополую шляпу. “Наш придворный сапожник”, – называли его домашние. Присев на стул и широко расставив ноги, цыган помещал между ними саквояж, насквозь пропахший кожей, клеем и гуталином, щелкал металлическими запорами и извлекал на свет наши помолодевшие и сияющие башмаки. Нет, не башмаки, а хрустальные туфельки – так осторожно и бережно он ставил их перед нами.

Но главное, чудесный башмачник иногда приносил собственные изделия, творения своих рук. Я не была избалованным ребенком, но однажды потеряла голову. Передо мной явились коричневые лодочки с бантиком и изящным каблучком. Помня, что скромность – мое главное достоинство (высоко ценимое мамой), я молчала, не отрывая взгляда от туфель. Кончилось тем, что мастер сделал для меня другую пару, поменьше, и я носилась с ней как с писаной торбой. Больше носилась, чем носила: ставила возле себя, когда делала уроки, и держала рядом на стуле, ложась спать. Едва нога вырастала, появлялась новая пара – копия первой. Последнюю сносила в 1956-м году.

“Придворный сапожник” был волшебником. Он и платок из кармана вынимал, как фокусник: тянул, тянул, а тот не кончался. Да и можно ли было обычным платком вытереть широкоую смуглую лысину и необъятный лоб?

Знали мы и другого сапожника, жившего на противоположной стороне улицы на первом этаже невысокого, типично замоскворецкого дома. В огромном кожаном фартуке он сидел возле окна (летом нараспашку открытого) и, мурлыча себе под нос, постукивал молотком, орудовал шилом, что-то смазывал или латал валенки. А мы, дети, стояли у окна и смотрели. “Свет только не загораживайте”, – просил он. К нему шла вся наша улица: “Петрович, выручай”. И выручал.

Там же неподалеку жила мамина портниха Нина Иосифовна – вход со двора, второй этаж. Окна ее квартиры смотрели в торец соседнего дома, поэтому приходилось постоянно жечь свет (наверное, расплата за то, что жила не в коммуналке, а в своей, хоть и крошечной, квартире). Там все было интересно: ножная швейная машинка, шпильки, булавки, разноцветные лоскутки, которые мне разрешалось собирать, модные журналы на глянцево́й бумаге. Интересно было смотреть, как, набрав в рот булавок и валяясь у мамы в ногах, она закалывает на ней что-то шуршащее и блестящее, а потом, прищурившись, смотрит на все это в длинное, висевшее в коридоре зеркало.

Особой достопримечательностью квартиры был ее муж, Николай Иванович. Когда мы приходили, он здоровался и тут же убегал в свой ярко освещенный угол работать – переписывать ноты. Заказов у него было полно, он всегда спешил, но все делал тщательно и в срок. Я заглядывала ему через плечо, наблюдая, как на пяти линейках с феерической скоростью возникают черные и белые гирлянды нот, диезы, бемоли, точки, палочки. Нина Иосифовна шила исключительно серьезные вещи – костюм, вечернее платье – и только из дорогих тканей, поэтому мама редко к ней обращалась, но сшитое ею носила подолгу.

Если же требовалось нечто легкомысленное, недорогое, летнее, приглашалась Жешка. Ей было около шестидесяти, но никто не звал ее иначе. Шить у Жешки значило на время поселить ее у себя. Не имея ничего своего – ни семьи, ни детей, ни жилья, – она всегда у кого-то гостила, вовсе не жалуясь на судьбу, а, напротив, считая себя счастливой обладательницей лег-

кого характера, тонкого вкуса и, главное, восхитительной фигуры. Скрестив стройные ножки и распарывая мамин старый халат, она без умолку рассказывала свои вечные истории про давнюю скоротечную карьеру балерины кордебалета, про вздыхателя-скульптора, сто лет назад вылепившего ее ножки, про новую приятельницу – “красотку, от которой дохнут мужики”. Но коньком ее был старый как мир и вечно юный сюжет про очередного поклонника, который шел за ней по улице как замороженный, пока наконец не забежал вперед и не заглянул ей в лицо. А глянув, отшатнулся – и “давай бог ноги”.

Тут Жешка принималась хохотать до слез, до колик. Она была фантастически некрасива, но и это превратила в лишний повод для веселья. Неделию спустя мы, слегка обалдевшие от Жешкиной болтовни, восхищенно смотрели в зеркало на мамин наряд – открытый, воздушный, с изюминкой. “Фик-фок на один бок”, – говорила мама.

И кто бы мог подумать, что он перешит из старого.

А за Малым Каменным мостом возле кинотеатра “Ударник” находилась наша “придворная парикмахерская”, куда мама часто брала меня с собой за компанию и для забавы. Я и правда забавляла весь зал, читая стихи и распевая песни. Особенным успехом пользовались песни Вертинского, которые всегда бисировала. А публика там была требовательная. Парикмахеры походили на лордов: сдержанные, корректные, целовали дамам ручки. Один из них, седовласый и статный, был, конечно, первым лордом и лучшим мастером. Все они независимо от габаритов, как бабочки вокруг цветка, порхали в безукоризненно белых халатах вокруг своих дам, орудуя щипцами с легкостью необычайной: нагревая, остужая, вертя их в воздухе, прикладывая на мгновение к губам, чтоб, доведя до нужной кондиции, соорудить нечто феерическое на дамской головке. Огромные зеркала, просторные залы, широкие окна, где на подоконниках почему-то стояли потрескавшиеся от времени мраморные бюсты не то древнеримских богинь, не то матрон. Не парикмахерская, а дворцовая зала.

Свой парикмахер, свой сапожник, своя портниха... А ведь мы с мамой едва дотягивали до зарплаты, особенно пока жили вдвоем. Но, когда дотягивали, шли “пировать”, покупали в Столешниковом (непременно в Столешниковом!) два пирожных “картошка”, а в магазине “Сыр” на улице Горького – сто граммов сыра. Боже, какой там стоял сырный дух! Казалось, сами продавцы и даже вывеска на магазине сделаны из масла и свежих сливок.

Вообще Москва конца 1940-х и 1950-х – это миллион соблазнов, город, созданный для нашей с мамой гульбы. Один только сад “Эрмитаж” чего стоил. Мы иногда проводили там целый воскресный день – гуляя, читая, дремля на скамеечке, – а вечером шли на Райкина. Густые заросли делали сад загадочным, но любая тенистая аллея непременно выводила к маленькому кафе или палатке с чем-нибудь вкусным. Днем было тихо и немногочисленно, зато вечером вспыхивали разноцветные лампочки, на дорожках появлялась нарядная, благоухающая публика, а на эстраде – духовой оркестр. В летнем и зимнем театрах начинались представления, в кинотеатре – фильм, и не знаешь, куда бежать.

Недалеко от Эрмитажа в одном из переулков жил скорняк, к которому, впервые услышав от мамы это странное слово, я мечтала попасть. К моему разочарованию, скорняком оказалась обыкновенная пожилая женщина, единственной особенностью которой было синее пятнышко на губе. Но и тут ничего интересного. “Укололась булавкой”, – объяснила мама. Зато квартира превзошла мои ожидания. Не квартира, а берлога, где тихой и темной жизнью жили меха и шкуры. Они валялись на широком диване, лежали, распростертые, на столе, висели, сколотые булавками, на деревянном женском торсе, который легко поворачивался на одной ноге. Но настоящим логовом был необъятный зеркальный шкаф, где на многочисленных полках лежали черные, рыжие, серебристые шкурки, а на распялках висели готовые и полуготовые шубы и полушубки. Казалось, раздвинь их, и попадешь в бесконечный лес шуб, откуда нет возврата. Много лет спустя, читая своим детям сказку Льюиса “Ведьма, колдунья и платяной шкаф”, я вспомнила этот глубокий таинственный шкаф. “Но что могла делать у скорняка мама? –

подумала я, пока писала эти строки. – У нее ведь не было в те годы никакой шубы”. И вдруг ясно увидела пальто с каракулевым воротником и такой же шапочкой – мамина бессменная зимняя экипировка в течение многих лет.

“Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты такой?” – считалочка моего детства, которое прошло в послевоенной, неустроенной и все же удивительно домашней Москве. И обжитой ее делали люди, среди которых протекала бытовая, повседневная жизнь. Я была слишком мала, чтоб оценить их труд, но в самой их повадке, несуетной и артистичной, в красивых и уверенных движениях чувствовалось достоинство, основательность, добротность и какая-то укорененность. Даже Жешка, которая, казалось бы, шила, как и жила, на фу-фу, имела свой стиль, свой неповторимый волшебный почерк.

Мастером был и часовщик, о котором я знала только понаслышке. К нему еще с довоенных времен дедушка возил все семейные часы, от ручных до настенных. После смерти часовщика в начале 1970-х дедушка отдал наши старинные бронзовые часы в мастерскую, откуда привез их мертвыми. Из той же гильдии мастеров доктор Беленький – детский врач, навещавший меня на первом году жизни. По рассказам мамы, он знал про младенцев все, разрешал им на себя писать, откручивать себе нос и, несмотря на внушительные размеры, имел мягкие, необыкновенно чуткие руки, которыми простукивал и прощупывал чуть ли не всю новорожденную Москву.

Король, королевич, сапожник, портной... И правда, каждый из них – король в собственном микрогосударстве, живущем по законам чести. Надувательство, мошенничество, халтура – это не оттуда. Каждый из них – наследник “проклятого прошлого”, реликт, чудом сохранивший свои свойства после многократных государственных акций по ликвидации личности.

Сегодня эти люди вымерли окончательно, а без них даже самый густонаселенный мир – пустыня. Нет, я не собираюсь перебивать косточки нашему времени – занятие скучное и неблагодарное. Просто, живя в пустыне и испытывая естественную жажду, пытаюсь утолить ее единственно доступным мне способом, припадая к старым, давно пересохшим источникам. А вдруг напоят.

Кривоколенный, ты нетленный.
Кривоколенный, ты – душа
Моей истерзанной вселенной,
Где всем надеждам – два гроша.
Кривоколенный, что за имя,
Какой московский говорок,
Вот дом и дворик, а меж ними
Сиротской бедности порог.
Кривоколенный – все излуки
Судьбы в названии твоём,
Которое – какие звуки! —
Не произносим, а поём.

На лоне природы

Бабушка, закончившая два педвуза (чем очень гордилась), всегда считала, что и с познавательной, и с медицинской точки зрения городскому ребенку необходимо как можно чаще бывать на лоне природы. И в первое послевоенное лето мы сняли дачу на станции Удельная. Бабушка пасла меня, а наша хозяйка – своих коз, чьим молоком меня усердно отпаивали. Когда я с отвращением подносила ко рту кружку, активно участвующая в процессе бабушка складывала трубочкой губы и шумно втягивала в себя воздух, будто пила. Если рядом оказывалась хозяйка, бабушка в очередной раз показывала ей мои торчащие ребра и рассказывала, как в эвакуации я погибала от диспепсии и дистрофии и как она меня выхаживала. Удельная и козье молоко были в моем сознании неразлучны, хотя мне очень хотелось, чтоб Удельная осталась, а козье молоко испарилось навеки. И чудо совершилось. Как-то раз, когда дедушка приехал вечером на дачу, бабушка подала ему на ужин кофе с молоком. Едва он допил стакан, она веселым и звонким голосом сказала: “Ну вот, выпил и не поморщился, а говоришь, что козье молоко терпеть не можешь”. Дедушка покраснел, уставился на нее неподвижным взглядом, потом вскочил и, опрокинув табуретку, выбежал из комнаты. Бабушка бросилась за ним, я за бабушкой. Мы нашли дедушку за калиткой. Его рвало. Я смотрела на него с ужасом и восторгом, потому что понимала, что после всего случившегося бабушке вряд ли удастся влить в меня хоть одну каплю столь полезного для рахитичных дистрофиков напитка.

Неотъемлемой частью моего раннего детства была Малаховка, где жил с семьей дедушкин давний друг дядя Яша. Хотя его дом стоял на бойком и совсем не дачном месте, поездки в Малаховку все же считались выездом на природу. Для меня – московского дворового ребенка, чьим любимым занятием было смотреть, как заливают асфальт, грызть кусочки черного блестящего вара и нюхать гашеный карбид, – пучок ранней ярко-зеленой травы в Малаховке становился событием. А уж встреча Нового года в заваленном снегом поселке – рождественской сказкой.

Однажды дедушка вернулся домой раньше обычного и сообщил мне, что дядя Яша умер и мы едем в Малаховку с ним прощаться. Всю дорогу он молчал, качал головой, вздыхал и кричал, а когда мы подошли к знакомому крыльцу, вдруг рухнул на колени и громко завыл. Он выл и причитал на том языке, на который они с бабушкой переходили, когда не хотели, чтоб я понимала. Я смотрела на дедушку и не знала, как быть. Зачем он так раскачивается, всхлипывает и надрывно причитает? Зачем касается лбом ступенек? Почему никто из вышедших нам навстречу не бросается его поднимать? От страха я тихонько хныкала и грызла ногти. Вскоре дедушка поднялся и, слегка покачиваясь, пошел в комнату. Подойти к гробу я не решилась и дядю Яшу почти не видела. Больше, чем смерть, которую я и осознать тогда не могла, меня потряс странный дедушкин поступок. И лишь когда я подросла и дедушка рассказал мне о своем нищенском витебском детстве, о том, как возле его умершего отца, следуя давней традиции, целый день выли плакальщики, я поняла, что случилось тогда на ступеньках малаховского дома.

Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна-единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь. Так, Удельная – это кружка ненавистного козьего молока; Малаховка, в которой я часто бывала и позже и даже снимала дачу, когда у меня родился сын, – это навеки та Малаховка, где на крыльце дяди Яшиного дома качается и причитает дедушка.

Дедушке не везло с друзьями: многие из них рано умерли, а про некоторых у нас дома говорили шепотом и лишь тогда, когда думали, что я сплю. Вопросов про случайно подслушанное я, естественно, не задавала. “Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой”, – донеслось до меня однажды. Я прислушалась. Речь шла о жене дедушкиного друга,

старого большевика, о котором спустя годы мы узнали, что его расстреляли перед самой войной. У нас бывала их дочь Еничка, забегавшая поболтать с мамой. Однажды ранней весной она пригласила нас с мамой не то в Перхушково, не то в Полушкино – куда-то, где у них была дача. Мы долго ехали на дымящем, сипящем, пронзительно свистящем паровичке. Сперва я не отрываясь глядела в окно, а нагледевшись, отправилась путешествовать по вагону. Добравшись до нужной станции, мы спустились по шатучим неудобным ступенькам и оказались в большой луже. Долго шли по талому снегу, по тонкому льду. Место казалось пустынным, безлюдным, и не верилось, что мы недавно из Москвы. Наконец остановились возле недостроенного забора. “Вот наша дача”, – сказала Еничка. Мы пересекли огромный участок и подошли к дому без окон и дверей. Возле крыльца лежало гигантское серое обструганное дерево. “Милости прошу, – сказала хозяйка, – я покажу вам дом. Вот здесь мы думали устроить папин кабинет, здесь спальню, здесь кухню...” – ее голос странно звенел. Бродя по брошенному дому, слушая Еничку, глядя на ее длинные, красиво уложенные вокруг головы косы, я вспоминала произнесенные шепотом слова: “Она задушила себя собственной косой”. Меня тянуло на улицу и, когда экскурсия завершилась, я с облегчением покинула зияющий пустотами дом и пошла бродить по участку. Меня почему-то загипнотизировало огромное сырое бревно, лежащее возле крыльца. Я его гладила, нюхала, садилась на него верхом. От него, как и от всего, что меня окружало, пахло свежестью, какой я не знала прежде. Когда я слышу “Перхушково-Полушкино”, я всегда вспоминаю эту небывалую весеннюю свежесть, пугающе длинные косы Енички, похожий на привидение дом, талый снег, тонкое кружево льда, на которое так приятно наступать медленно и осторожно.

Неожиданных выездов на природу было в моем детстве не так уж много, и каждый запомнился надолго. Помню длинный воскресный день, проведенный в Химках, где жила мамина близкая подруга Верушка. С ней у меня навсегда связаны загадочные слова “Блокнот агитатора”, где она работала редактором, мистические буквы ГЛАВПУРКАКА, по-видимому, означающие место, где обретался этот самый “Блокнот”, и часто мелькающее в разговорах Верушки и мамы короткое слово “штром”. Потом оказалось, что такова фамилия Верушкиного друга, который жил в Ленинграде и лишь наездами бывал в Москве. Когда приезжал Штром, Верушка исчезала, а появившись снова, забиралась в угол дивана и долго-долго шепталась с мамой, время от времени прикладывая к глазам сложенный треугольником носовой платок. А глаза у нее были светлоголубые и бесконечно добрые. Мне от этих глаз всегда становилось хорошо и уютно. А еще от того, что она называла меня точно так же, как в своих письмах с фронта папа – Ларчонок. “Ларчонок, – сказала она однажды, – приезжай с мамой ко мне в Химки”. И мы приехали. Химки оказались далеко, и ехать пришлось долго. Химки – это деревянные дома, палисадники, цветы, огороды, лавочки, куры, козы. Вокруг Верушкиного дома – сплошные кусты сирени. Наконец-то я увидела, откуда берутся те небывалой величины букеты, которые она привозила в мамин день рождения. Букет сперва проплывал мимо наших окон на Полянке, потом вливался в коридор и уж потом в комнату. Только тогда можно было наконец разглядеть Верушку, ее сияющие голубые глаза. Когда мы появились у нее в Химках, она как раз кончала гладить оборки на платье, которое специально для меня сшила. Надев его, я сказала: “Оно парнё”. “Почему парнё?” – удивилась Верушка. “Потому что теплое, как парнё молоко”. Платье пахло утюгом, дом и сад – сиренью, а вечером пряно и горько пах табак, который рос под самыми окнами. Химки, сирень, душистый табак, Верушкины голубые глаза, платье с оборками. Счастье.

* * *

Я сказала себе, что я счастлива. Так и случилось:

Счастье, где б ни была я, меня находить научилось
Я сказала себе: все в порядке, все в полном порядке.
И любые невзгоды бегут от меня без оглядки.
Я сказала себе, что стихи прибегут ко мне сами,
И пришла ко мне Муза и смотрит большими глазами.
И осталось сказать себе: я с каждым годом моложе
И красивей. Надеюсь, и это получится тоже.

Сплошные праздники

“Те, у кого в четверти тройки, возьмите портфели и построитесь, – сказала учительница Лидия Сергеевна. – А теперь марш за мной в раздевалку. Вы пойдете домой. Остальным тихо выйти в коридор и занять места. Через пять минут начнется кукольное представление “Али-Баба и сорок разбойников”. Мы, троечницы второго класса “Б” (в те годы девочки и мальчики учились в разных школах), повесив головы, побрели за учительницей. Выйдя в коридор, я старалась не смотреть в сторону сцены, но не могла удержаться и сквозь слезы увидела зеленые шторы с блестками и длинные ряды скамеек, на которых подпрыгивали от счастья и нетерпения хорошистки и отличницы. Портфель оттягивал руку: в нем лежал табель, где в графе “арифметика” стояла тройка. Единственная тройка в четверти, лишившая меня спектакля, счастливого возвращения домой и безмятежных зимних каникул. Оставалась одна неделя до нового 1949 года. Я вышла из школы и, ни с кем не прощаясь, пошла домой. Во дворе встретила маму, которая в честь моих каникул пораньше ушла с работы. Увидев мою физиономию, она стала меня тормозить и допрашивать. Я достала табель, показала тройку и все рассказала. На следующий день мама, придя с работы, подозвала меня к столу и, поставив на стол сумку, спросила: “Что в сумке, догадайся?” В сумке лежали билеты – целый ворох театральных и пестрых елочных. Начиналась новогодняя вакханалия, в которую были втянуты все: бабушка, дедушка, мама и даже мамины подруги. С мамой я ходила на оперетту, с дедушкой – на оперу, с бабушкой – на драму и на все елочные представления.

“С Новым годом, край любимый, наша славная страна!” – вещали золотые буквы на билете, приглашающем на елку в Дом пионеров. На том же билете красовался молодой 1949 год в тулупе и шапке-ушанке, который бежал на лыжах навстречу Деду Морозу с заплечным мешком, а из мешка торчала книжка Гайдара “Тимур и его команда”. Билеты можно было изучать бесконечно.

Взгляни на этот праздничный билет
При электрическом и ярком свете.
И если ты теперь потушишь свет,
Огнями вспыхнет елка на билете.

Эти стихи были напечатаны на обратной стороне билета в Колонный зал Дома Союзов. А на лицевой розовощекий, ясноглазый пионер в красном галстуке, белой рубашке и синих штанах с ляточками держал пылающую звезду. Алый стяг, алая звезда, алые щеки – светло, ярко, празднично.

Праздник начинался с утра. Я выходила во двор с пригласительным билетом в руках и показывала его дворовым ребятам. Они приносили свои и спорили, чей лучше. Однажды я вынесла во двор свой самый нарядный билет на елку в ЦДРИ. Он был с секретом. Стоило его раскрыть, как вырастала пушистая елка в гирляндах, выбегали звери из чащи, выезжал Дед Мороз на санях, в которых сидела Снегурочка. И надо всем этим в звездном небе парил лик Сталина. Билет пошел по рукам. “Ну-ка, дай посмотреть”, – сказал сосед Юрка Гаврилов, к которому я была равнодушна с того самого дня, как он приехал из Суворовского училища домой на каникулы. Я с готовностью протянула ему билет. Юрку обступили ребята. Они долго вертели билет и шептались.

“Поди сюда, – наконец позвал Юрка, который стоял возле моего подъезда. – Дотронься языком до ручки”. “Зачем?” – удивилась я. “Дотронься и узнаешь”. Я колебалась. “Дотронься, не пожалеешь, – уговаривал Юрка, – она сладкая. Все уже попробовали”. Мне очень хотелось ему угодить, и я коснулась языком ледяной металлической дверной ручки. Был сильный мороз,

и язык мгновенно примерз к металлу. Юрка и ребята, гогоча, бросились врассыпную. Я с трудом оторвала язык от ручки, на которой остались следы крови, и пошла домой, начисто забыв о билете и о елке. А когда наступил вечер и бабушка стала меня торопить, я поняла, что елки не будет – Юрка убежал с билетом. Сказав, что билет потеряла, я легла спать, накрылась с головой одеялом и заплакала. Плакала долго, вытирая нос наволочкой, и наконец уснула.

А назавтра снова елка. И не где-нибудь, а в Доме Союзов. В те годы на елку пускали с взрослыми. И было так сладко, держась за бабушкину руку, входить в огромный темный зал, в котором тихо звучала музыка и летали снежные хлопья. Я садилась на свое место и озираясь. Зачарованные волшебной метелью зрители разговаривали шепотом. И вдруг – яркий свет, громкий голос ведущего, представление начинается. Мой любимый номер – танец бабочки. На сцену выпархивает танцовщица в чем-то однотонно-белом и воздушном. Она танцует, кружится. Поворот – и наряд становится голубым, поворот – пестрым, потом шоколадным, желтым. Лучи прожектора неотступно следуют за бабочкой, меняя ее крылья. И каждое преобразование сопровождается всеобщим “ах”. Но вот лучи гаснут, и на сцене снова танцовщица в однотонном белом наряде. Был еще один номер, которого я всегда ждала с нетерпением: борьба двух нанайцев. Два крошечных человечка, сцепившись, пытались всеми правдами и неправдами уложить друг друга на лопатки. Они стремительно передвигались по сцене, падали, поднимались, забивались в угол, катались по полу. В зале стоял гул: дети хлопали в ладоши, подпрыгивали, давали советы. И вдруг один из нанайцев взлетал в воздух, перед зрителями в последний раз мелькали его валенки и шубка, и он исчезал. Вместо нанайцев появлялся расстрепанный и вспотевший молодой человек, на руках и ногах которого красовались знакомые валенки. Зал на секунду замирал и разражался громом аплодисментов. И сколько бы раз ни показывали этот номер, эффект был тот же: гул болельщиков, потрясенное молчание, гром аплодисментов.

После концерта все бежали к гигантской елке, чтобы присутствовать на торжественной церемонии зажигания огней. Громовой голос Деда Мороза: “Раз, два, три – гори”, – удар его посоха, и елка сияет. Дружное ура, всеобщий хоровод и, наконец, вопрос Деда Мороза: “Кто почитает стихи?” Ну конечно же я. Я знаю столько стихов, что могу читать бесконечно. Выхожу и читаю: “У москвички две косички, у узбечки – двадцать пять”. Или “Счастливая родина есть у ребят, и лучше той родины нет”. Или “Потому что в поздний час Сталин думает о нас”. Дед Мороз берет меня на руки и дарит гостинец с елки. Дальше – танцы. Я всегда была снежинкой в белой юбке и белом кокошнике и пыталась танцевать что-то неизменно воздушное. На одной из елок ко мне подошел принц в узком трико и золоченой куртке. На его голове красовалась маленькая блестящая корона. Он пригласил меня на танец и не отходил весь вечер. Мы вместе пошли получать подарки, и, когда мой бумажный пакет порвался и по полу покатались мандарины и посыпались конфеты и пряники, он бросился собирать. В раздевалке мой принц аккуратно положил на столик возле зеркала все, что подобрал с пола, – вафли, мандарины, печенье – и пошел одеваться. Я чувствовала себя Золушкой на балу и от волнения и спешки не могла попасть в рукава кофты. Скорей, скорей, он ждет. Все. Я готова. Где же он? Оглянувшись, я увидела возле себя высокую стройную девочку. Лицо ее казалось мне знакомым. “Меня зовут Таня”, – сказала она, протянув мне руку. “Это твой принц”, – засмеялась высокая молодая женщина, очень похожая на Таню, – Танина мама. Мы пошли к выходу. Бабушка беседовала с Таниной мамой, а Таня пыталась говорить со мной, но я почти не слышала и отвечала невпопад. У троллейбусной остановки мы простились. По дороге домой я почему-то все время повторяла про себя стихи, напечатанные на пригласительном билете:

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет.

Все всегда сбывается.

Очень часто мои зимние каникулы затягивались благодаря болезни. В конце каникул у меня обычно заболело горло или ухо или разбухали железки, поднималась температура, начинался жар, и я с удовольствием укладывалась в постель. Однажды я обнаружила, что стою на столе и, показывая рукой на стенку, шепчу: “Красный бант, на стене красный бант”. Мама и бабушка испуганно жмутся друг к другу. “Соглашайся, – шепчет бабушка, – когда ребенок бредит, надо соглашаться”. Что было дальше, не помню. Потом узнала, что болела скарлатиной. Детская болезнь – это блаженство. Это жар и легкое головокружение. Это обеспокоенная и заботливая мама, которая не уйдет на работу и будет варить кисель и ставить горчичники. Болеть значит лежать в постели в теплых носках и ходить в туалете в валенках. Болеть – значит, мне будут читать, а когда спадет температура, на постели появятся книги, карандаши и альбом для рисования. Болеть значит пить сладкую микстуру от кашля, которую выпишет районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале 1950-х. Как я потом узнала, ее посадили из-за несчастной фамилии, хотя она никакого отношения не имела к “врагу народа”.

Когда я заболела, я пыталась вспомнить все, что видела за время зимних каникул, и в голове моей была каша. Я отлично помнила “Двенадцать месяцев” и “Синюю птицу”, потому что видела их сто раз и готова была смотреть еще столько же. В “Синей птице” мне больше всего нравились потустороннее царство и Насморк, который в образе молодой женщины с распухшим красным носом бегал по сцене и непрерывно чихал. А в “Двенадцати месяцах” я любила сказочника в полосатых брючках. Он выходил перед каждым действием и, забавно подпрыгивая, приговаривал нечто вроде “бимс-бамс-буры, буры-базилюры”. Еще я помнила пьесу “Снежок”, которую смотрела с бабушкой в ТЮЗе. Снежком звали бедного негритенка, угнетенного и забитого. Его мучили и притесняли белые янки в ненавистной Америке. Как мне хотелось спасти мальчика, выкрасть его, привезти в Москву, поселить у себя, обогреть и утешить! По дороге домой мы с бабушкой строили многочисленные планы по спасению мальчика и посылали проклятья Америке.

Но что же еще я смотрела? Ведь я ходила в театр почти каждый день. Отлично помню, как мы с дедушкой случайно сели не в свой ряд и как дедушка, к моему ужасу, легко и быстро перешагнул через спинку одного и другого кресла и оказался в нужном ряду на наших законных местах. Помню, как он предложил мне последовать его примеру и как я, ни на кого не глядя, пошла по рядам, от смущения наступая людям на ноги. Но что мы с ним смотрели, так я и не вспомнила. Я пыталась восстановить все с самого начала и вдруг отчетливо увидела школьный коридор, зеленые шторы с блестками и большой плакат, где витиеватым почерком было написано: “Али-Баба и сорок разбойников” – самый интересный, самый желанный и самый недоступный спектакль, запретный плод моего детства.

* * *

Нет ни унынья, ни тщеты.
Есть банты, шарики, цветы.
Жизнь – детский утренник, поверьте,
Весть долгожданная в конверте,
Мгновений пестрых конфетти.
Ну что ж, и я во сне кричу,
Но помнить сон свой не хочу.
Тьму напугав, включу фонарик.

А утром, взяв за нитку шарик,
Опять на праздник полечу.

Мертвый час

Что за страсть такая – вспоминать, вспоминать? Летний день. Мой самый первый день в детском саду на даче в Расторгуеве. Нас укладывают спать на улице. Расставлены и застелены раскладушки. “Быстро лечь. Считаю до трех. Раз, два...” – командует воспитательница. Залезаю под одеяло и ложусь на казенную подушку с полустертым фиолетовым штампом: “Детсад ф-ки “Парижская коммуна”. Тоска. Тоска. Мама далеко, в Москве. Кругом все чужие. И этот ненавистный “мертвый час” – дневной сон среди бела дня при ярком солнце. Мимо ходят взрослые, негромко переговариваясь друг с другом. Приехала новенькая. Она опоздала. Ее накормили обедом и разрешили не спать. У нее неправдоподобно писклявый голос. Она говорит со своей мамой, которая дает ей последние наставления, называя “птенчиком”. Я с завистью слушаю писк “птенчика” и смотрю вверх на тонкие верхушки деревьев, которые покачиваются и скрипят. И постепенно к чувству тоски примешивается что-то еще: ощущение новизны, голубизны неба, белизны берез, запах травы, леса, чистого белья; головокружение от плывущих облаков, колеблемой листвы, качающихся вершин; чувство сиротства, заброшенности в текущем, впервые обнаруженном пространстве, где ты один на один с небом, деревом, ветром; чувство покинутости всеми и причастности неизвестно к чему. Господи, сколько надо потратить слов, которые я и не знала тогда, в свои шесть лет, чтобы в результате так и не смочь передать и малой доли того, что чувствовала.

Расторгуевское лето 1946-го богато такими “открытиями”. Дождливое утро. Гулять нельзя. Нас усадили за длинный стол на терраске, раздали карандаши и белую бумагу. Дождь стучит в окно, все старательно рисуют, сопя и хлюпая носами. Воспитательница, сидя в углу, точит запасные карандаши. Карандашная стружка пахнет лесом, грифель истончается, растет цветная горка свежезаточенных карандашей. Я умела рисовать лишь несколько вещей: солнце, похожее на ромашку, избушку с традиционной треугольной крышей, человекообразное существо с косой, ягоду, дерево, гриб. Но, несмотря на скудость сюжетов, я извела много бумаги, наплотив уйму разноцветных миров, а аппетит все рос и рос. На какое-то время рисование стало моей страстью. То и дело, найдя лист бумаги и карандаш, я принималась рисовать, желая испытать созидательный раж того дождливого утра. Но “то” не повторялось. Может быть, недовоспитавало рисующих соседей, может быть, растущей горки карандашей, может быть, дождя за окном. Но навсегда осталось томление по сосредоточенной тишине, рождающей миры.

Всматриваюсь в давние мгновения, как в старые снимки. Вот один из них: дети в трусах и майках сидят кружочком на траве, а в центре женщина в белом халате. Это Кира Ивановна, наш музыкальный работник. Она обладала чудесным прибором, который всегда приносила с собой на занятие и ставила возле себя на табуретку. В начале урока она, ударив по прибору специальным молоточком, извлекала из него звук, который немедленно подхватывала.

“Ля-а-а”, – пела Кира Ивановна, делая нам знак рукой повторять за ней, “Ля-а-а”, – старательно басили и пищали мы. Кира Ивановна снова ударяла по камертону и еще настойчивее тянула свое “ля”. Затем она подходила к каждому и, присев на корточки, приближала ухо к самым ребячьим губам. “Ля-а-а”, – шептали робкие. “Ля-а-а”, – кричали смелые. Она обходила всех и, казалось, вытягивала из нас душу вместе с этим звуком. Наконец, то ли отчаявшись, то ли удовлетворившись, она приступала к занятию.

Однажды Кира Ивановна сказала, что к родительскому дню нам нужно подготовить большой концерт: песни, пляски, игры. “Учим новую игру, – объявила она, – “Цапля и лягушки”. Ну-ка, покажите, как прыгают лягушки на болоте. Так. Молодцы. А теперь идет цапля. Лягушки, прочь по домам. Валя, пройдишь как цапля”. Валя Баранова, миниатюрная, длинноногая, пошла, разведя руки в стороны и высоко поднимая колени. “Так. Тяни носочек. Умница. Вот ты и будешь цаплей. Наденешь крахмальную юбочку, как у балерины. Кто скажет, как

называется такая юбка?” “Пачка”, – первая отвечает Валя, которая занимается балетом и все про это знает. Я смотрю на Валю с завистью и восторгом. Как бы я хотела быть на ее месте. Я всегда мечтала стать балериной и приставала к маме, чтоб меня учили танцам. Мама куда-то меня водила и кому-то показывала. Не помню куда и кому, но помню, что пожилой мужчина постучал по моим коленкам и сказал: “Да что это за Кашей Бессмертный? Вы сперва ее откормите, а уж через годик приводите”. Но через год меня записали в соседнюю музыкальную школу и решили, что этого хватит. И вот концерт, цапля, пачка... Я ни о чем больше не могу думать. Убегаю в укромное место и репетирую: хожу, разведя руки в стороны, высоко поднимая колени и оттянув носок. Близится родительский день. Валя уже примерила пачку. Что делать? “Бабуля, – шепчу я бабушке, которая работала в том же саду завпедом и иногда заходила в нашу группу, – бабуля, попроси Киру Ивановну, чтоб было две цапли на болоте”. “Какие цапли? На каком болоте?” – не понимает бабушка. Торопливо и сбивчиво объясняю ей, в чем дело, но бабушка категорически отказывается по благу устраивать внучку цаплей. Однако через два дня она пришла в группу с чем-то воздушным в руках. То была юбка, которую она спешно для меня сшила. Зажав во рту булавки, бабушка давала мне невнятные команды, что-то подкалывая и подправляя. Я все выполняла как во сне, не помня себя от счастья. “Зашиваю, – сказала бабушка. – Держи палец на лбу, а то пришью память”.

Настал родительский день. Вокруг большого поля стоят длинные ряды скамеек. Те, кому не хватило места на скамейках, сидят прямо на траве. Ко мне приехала мама и привезла гостинцы. Но я ничего не вижу вокруг себя. Я жду своего выхода. Вот заиграл аккордеон и запрыгали лягушки. “Цапли!” – кричит ведущий. С двух сторон на поле выходим мы с Валею. Господи, какое длинное поле. Иду, иду, а оно не кончается. Машу руками, высоко поднимая ноги, которые меня не слушаются, а оно все тянется и тянется. Наконец – ура! – поле кончилось. Меня подхватывает мама, целует и сует в рот конфету. А через некоторое время в группу принесли фотографии нашего концерта: медведи, зайцы, бабочки, Кира Ивановна. А вот цапли. Но неужели это я? Рот приоткрыт, руки деревянные, плечи подняты до самых ушей. А главное, ноги с загнутыми внутрь носками. Косолапая цапля! Смотрю на снимок и не могу поверить своим глазам. А мне-то казалось, что я балерина. Зачем же мама так целовала меня? Это было мое самое первое в жизни сильное разочарование. “Нечего голосить, ты не первая и не последняя”, – говорила нянечка молоденькой роженице в роддоме. Не последняя – это правда. Но разве не первая? Первая!

Каждый из нас великий исследователь, первопроходец, открыватель земель и морей. И неважно, что море, открытое мной, уже имело имя, что в нем плескались купальщики, его бороздили корабли. Оно – мое. Я открыла его в первое послевоенное лето в городе Сочи, куда мы с мамой приехали навестить моего дядю, он лежал там в госпитале. Только что кончилась война. Теплый летний вечер. Мама – загорелая, в свободной черной пижаме, с цветком магнолии в волосах. Дендрарий – пальмы, цветы, кипарисы. Однажды, гуляя в дендрарии, мы услышали нерусскую речь, произносимую тонким детским голосом, музыку, смех. Что это? Пошли на звук и вышли на поляну, где под открытым небом шел мультфильм про олененка, которого учили ходить. Его непослушные ноги разъезжались, и он падал. Может быть, это был Бемби? На скамейках перед экраном сидели зрители, в основном раненые из госпиталя, их друзья и родные. В темноте белели бинты, вспыхивали огоньки сигарет, мелькали светлячки, пахло табаком и магнолией, в южном небе горели звезды, а где-то, неведомо где, во тьме, в глубине плескалось море. Мой самый первый, неповторимый юг – страна, которой больше нет ни в одной точке планеты.

На смену маме приехала бабушка. По утрам мы с ней ходили на пляж. Она была одержима идеей научить меня плавать. Однажды, когда я безмятежно вошла в море, она резво вбежала следом за мной и, обхватив меня поперек живота, потащила все глубже и глубже. Я стала захлебываться и отбиваться. “Дурачина ты, простофиля”, – кричала я, не зная иных

ругательств, кроме тех, которые встречала в сказках Пушкина. Но моя энергичная и еще молодая бабушка не отпускала меня, приговаривая: “Плыви. Я держу. Плыви”. Вода попадала мне в рот, я барахталась, рвалась прочь и, наконец поняв, что погибаю, закричала: “Братцы! Спасите!” И “братцы” ринулись спасать. Им это было непросто. На берегу в основном находились госпитальные больные. Откликнувшись на мой призыв, они, кое-как, хромя, прыгая на одной ноге, опираясь на костыли, двинулись к морю. Растерянная и смущенная бабушка выпустила меня из цепких объятий и, взяв за руку, повела на берег, сопровождаемая недружелюбными и подозрительными взглядами. Так я и не научилась плавать в то лето.

...Приходилось открывать не только моря и земли, но и душу, чужую и собственную, ее тайники и темноты. Снова Расторгуево. Лето. Но теперь я уже первоклассница. И потому живу не с детьми, а с бабушкой, в доме для персонала. Я часто ходила в младшую группу помогать взрослым укладывать детей. Там я чувствовала себя Гулливером среди лилипутов. Особенно во время “мертвого часа”, когда воспитательница отлучалась и я оставалась полновластной хозяйкой. “Всем закрыть глаза”, – говорила я металлическим голосом. Дети повиновались и лежали не шелохнувшись. Только веки слегка вздрагивали. И лишь одна девочка, испанка по имени Кармен, смотрела на меня широко раскрытыми черными глазами. “Кармен, закрой глаза. Считаю до трех”, – приказала я. Но глаза не закрылись. “Не будешь спать, поставлю возле кровати”. Кармен смотрела на меня. Я подошла и вынула из постели легкое тельце в трусиках и майке. У маленькой испанки была наголо обритая, искушенная комарами и смазанная зеленкой голова. Девочка стояла покорно и тихо. Я уложила ее в постель и потребовала: “Закрой глаза”. Кармен смотрела на меня. “Ах так?! – не унималась я. – Тогда пойдем. Я выброшу тебя за забор”. Я схватила малышку на руки и понесла вон из спальни, пройдя между рядами окаменевших, насмерть перепуганных детей. Подтащив девочку к забору, за которым лежала куча угля, я начала раскачивать ее, делая вид, что вот-вот брошу за забор. “Раз, два, три”, – считала я. Девочка молчала, только слегка прижималась ко мне, глядя печальными черными глазами. “Что ты делаешь?” – услышала я перепуганный крик воспитательницы. “Она не хочет спать, – оправдывалась я. – Не слушается. Глаза не закрывает”. “Вот еще командирша на мою голову. Заставь дурака богу молиться...” – сердилась воспитательница, выхватив девочку из моих рук.

Больше на меня никогда не оставляли детей, но я часто приходила в группу, чтоб увидеть Кармен. “Эй, Карман, – кричали дети, – иди, тебя ищут”. Кармен тихо подходила ко мне и молча смотрела. Я протягивала ей яблоко или конфету, но она стояла не шелохнувшись. Тогда я сама вкладывала ей в руку свой гостинец. Я пыталась говорить с ней, но, не зная, что спросить, задавала одни и те же дурацкие вопросы: “Как тебя зовут?” “Кармен”, – еле слышно отвечала девочка. “А у тебя мама-папа есть?” “Есть”, – шептала она. Я ни разу не видела Кармен смеющейся, плачущей, оживленной. Она осталась загадкой для меня. Да и я сама была для себя загадкой: что я хотела от нее? Зачем я ее мучила? Сколько раз со стыдом и недоумением вспоминала я тот давний “мертвый час”. Помню, что, вернувшись с дачи, надеялась найти Кармен в Москве. И даже приходила в дом, где жили рабочие обувной фабрики “Парижская коммуна”, среди которых было несколько испанских семей. Смутно помню тот дом и те семьи. Даже по сравнению с другими коммуналками их жилье казалось мне сырым и убогим. Но Кармен среди них не было.

* * *

Болела моя детская душа:
Я утопила в море голыша,
Случайно утопила в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.

Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Голыш – нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

Родительский день

В родительский день на завтрак давали два вареных яйца и селедочный форшмак. И то и другое после войны являлось деликатесом. А главное, увертюрой к празднику. Удовольствие портило лишь то, что мой наголо обритый сосед по столу поедал все это вместе с густыми соплями, которые постоянно текли у него из носа. И еще то, что он обожал разбивать яйца о мой лоб. Причем делал это настолько виртуозно, что я не успевала увернуться. А если учесть, что яйца не всегда были сварены вкрутую, то возникали проблемы. Еще одна особенность праздничного меню – пирог с джемом на ужин. Но это уже происходило после праздника, когда кусок, какой бы он ни был сладкий, не лез в горло.

Впрочем, начнем с начала. А начинался этот день не утром, а много раньше, когда становилась известна дата желанного события. С этого момента я жила ожиданием. Причем активным – готовила маме подарки. Во-первых, узнавала у всех, у кого могла – у воспитательницы, у нянечки, у детей, – слова песен, которые часто пелись на прогулках и по вечерам. А песни эти были совсем не детские: “Куда ведешь, тропинка милая”, “Ах, Самара-городок”, “Каким ты был, таким остался”. Я знала, что мама их любит, но не знает слов, и представляла, как она удивится, когда я спою эти песни от начала до конца.

Еще я сушила цветы и травы для гербария, который собиралась ей вручить. А ближе к делу плела венки и собирала землянику, которую нанизывала на травинку.

Последняя ночь перед родительским днем казалась досадной помехой. Я даже встала ночью “на ведро” (чего обычно не делала) и в темноте наткнулась на спящую на полу на матрасе нянечку. “Вот статуя чертова”, – зашипела она, дернув меня за подол рубашки. Проснувшись ни свет ни заря, я мучилась оттого, что не могла вскочить и побежать за калитку встречать маму. Наконец – ура! – подъем, зарядка и, главное, – выдача казенных платьев, которые полагалось надевать в особо торжественных случаях. Что получали мальчишки, не помню. Мне хватало переживаний по поводу собственного наряда. Боже, как я любила эти платья – слегка подкрахмаленные, с высокой кокеткой, с крылышками вместо рукавов, с давно вылинявшими цветами на неопределенном фоне. Фасон, узор – все у них было одинаковое. На то они и казенные. Но вот цвет можно было выбрать. “Красный? Лиловый?” – мучилась я. И тут кто-то из мальчишек крикнул: “Дурак красное любит”. Вопрос был решен – надела лиловое. Оно стояло на мне колоколом, казалось слишком коротким и чересчур широким. Но мне нравилось все: и цветы, и крылышки, и запах свежести (наверное, сушили на дворе). А главное, что казенное платье – это праздник.

После завтрака началось ожидание. Сладостное и мучительное. “К тебе едут!” – слышалось со всех сторон.

“Милка, к тебе едут!”, “Вовка, к тебе едут!” Почему-то в этом случае никогда не говорили “идут”, хотя от станции до нашего детского сада приходилось довольно долго идти пешком. Сперва я торчала возле забора и вздрагивала на каждое “едут”. А потом решила отойти и не ждать. И, едва отошла, услышала желанное: “Ларка, к тебе едут!” И тут же увидела золотисто-рыжую копну маминых волос, ее блестящие серьги и пестрое цыганское (так мы с мамой его называли) платье. Мама шла, слегка пригнувшись и прячась за кустами. Наверное, хотела сделать мне сюрприз. Но слишком она была яркой, чтоб остаться незамеченной. “Ларусик, обезьянка моя! – мама бросилась ко мне, и я повисла у нее на шее. – Осторожно, все подавишь, и ягоды, и пирожное...”

Остановись, мгновенье... И оно остановилось. Время перестало идти. Шли только мы с мамой. Шли, и шли, и пришли на опушку леса, где повесили не помню откуда взявшийся гамак. Усевшись в него, решили заняться вручением гостинцев. Кто начнет? “Эники-беники ели вареники”, – посчитала нас мама и оказалась первой. Она извлекла из сумки морс, ягоды, пирож-

ное “картошка”, коробочку клюквы в сахаре, переводные картинки, белоснежную панамку с еще не оторванным ценником и пахнущие новой кожей сандалии, которые я, слегка покрутив и понюхав, тут же и надела. Потом она велела мне зажмуриться и, взяв мою руку, закрепила на моем запястье... что это? Часы с циферблатом и двумя всамделишными стрелками, одна стояла на девяти, другая на двенадцати.

Я съела пирожное, выпила морс, вытянула ноги, чтоб постоянно видеть сандалии, отвела в сторону руку, чтоб любоваться часами. Чего еще желать. Но мама снова полезла в сумку и, понизив голос, с таинственным видом произнесла: “Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала...” Я смотрела на маму во все глаза, а она, продолжая декламировать, медленно вынимала из сумки небольшого формата томик. “Басни Крылова”, – прочла я крупные буквы на обложке. И хотя бумага в этой книжке оказалась серой и тонкой и картинок было не так уж много, я полюбила ее сразу и надолго.

Пришла моя очередь вручать подарки. Я водружаю на мамину голову свой увядший венок, кормлю ее усохшей земляникой, осторожно снимая ее с травинки, кладу ей на колени гербарий и внимательно слежу за ее лицом. Не разочарована ли она? Нет, улыбается, значит, довольна. А когда я запела песни, с гордостью выговаривая слова, случилось то, чего я больше всего желала: мама достала карандаш и бумагу и принялась записывать тексты под мою диктовку.

Но все было слишком хорошо, чтобы длиться вечно.

Мама взглянула на часы, сказала, что пора возвращаться. Я, посмотрев на свои, заявила, что вовсе не пора, поскольку стрелки не сдвинулись с места. “Нет, надо идти, – настаивала мама, – нельзя нарушать правила. Иначе в другой раз не отпустят на целый день”. Мы снимаем гамак, собираем пакеты, фантики, гостинцы и отправляемся в обратный путь. Знакомое поле, зеленый забор, наша калитка, от которой уже отходят многочисленные тетеньки: мамы, бабушки. Мужчин почти нет. Они были редкостью в то послевоенное время. Я крепко держалась за маму, и ей пришлось ласково, но настойчиво высвобождать свою руку.

Вот и все. Теперь она будет уходить, а я буду ей махать, пока она не скроется из виду. Я знаю, что она плачет и потому боится обернуться. Вот обернулась и, прижав обе ладони к губам, послала мне воздушный поцелуй.

“На ужин”, – крикнул кто-то. Заглатывая пирог с джемом, мой бритый сосед спросил: “Ну, чего тебе привезли?” Я вытянула ногу и покрутила стопой, обутой в сандалий. Он фыркнул и сделал попытку наступить мне на ногу: “Буза. У меня лучше”. Он достал откуда-то из-под стула черный пистолет и набор палочек с присосками. “В лоб хочешь?”

Становилось прохладно. Все потянулись на терраску. Я тоже могу туда пойти и заняться переводными картинками, но что-то не хочется. Хочется уйти в дальний угол участка и слушать паровозные гудки. А в девять отбой.

* * *

Я так ждала родительского дня
И чтобы мама забрала меня
Из группы. Мы в лесу гамак повесим.
Я буду петь. Я знаю много песен.
Читать стихи ей буду без конца.
Я маму жду. Я не уйду с крыльца.
Ей – с шишками еловыми корзинка,
Венок, букет и булки половинка.

Вон меж стволами золото волос.
Ах, мама, твой ребенок не подрос.
Так и бегу с подарком припасенным
Тебе навстречу в платьице казенном.

* * *

А мама собирается на бал.
И жемчуг бел, и цвет помады ал,
На стуле серебрится чернобурка —
Ее не любит мамина дочурка.
Берет не любит, что с распjalки снят,
И платье из панбархата до пят.
Ведь, значит, мама из дому уходит
И дочкин праздник из дому уводит.
Не надо было маму отпускать.
Ведь где, скажи, теперь ее искать?

Не ходи за ворота

Только в детстве вся жизнь состоит из самоценных мгновений, которые проживаешь без сверхзадачи, без умысла, а лишь потому, что выпало жить. В детстве жизнь – не борьба, не бегство, не погоня, не отшельничество, не близорукое копошение в сиюминутном. В детстве каждое мгновение – это комната, которую обживаешь просто, подробно и любовно. И оказывается, что, как ни краток миг, в нем есть и середина, и окраина, и закуток, и погреб.

Рефрен моего детства: не ходи за ворота. Я была пайнкой и слушалась почти всегда. Но и в пределах двора пространство казалось избыточным. Даже в собственном подъезде каждый этаж – новое измерение. Первый этаж – свой, обжитой, истоптанный. За дверью направо – рыжая бесхвостая брехунья Деська, которая истошно лаяла, когда хлопали двери. На втором этаже белее ступени, гуще краска на стенах. На третьем охватывала сладкая паника – куда забрела? Расстояние между ступенями казалось больше и шагать становилось труднее. А на четвертый этаж решалась только заглянуть, а ступить не решалась. Там я, кажется, и не была никогда. Обратно спускалась быстро, быстро, стараясь не топтать и все ожидая, что какая-нибудь дверь распахнется и раздастся вдогонку сердитый окрик: “Чего тебе тут надо?”

Когда меня стали пускать за ворота, я не знала, куда сперва бежать: в “инвалидный” за “подушечками”, в соседний двор, где дом ломали, или в керосиновую лавку. Дивный запах керосина. Я могла стоять часами, вдыхая этот запах и наблюдая, как продавец в необъятном жестком фартуке разливает через воронку керосин по бидонам. Булькает керосин, звякают крышки бидонов и монеты. Детство мое.

Родина моя.

Моя первая учительница Лидия Сергеевна. Кажется, она всегда носила синее шелковое платье в белый горошек. Лидия Сергеевна иногда приходила к маме рассказывать про свои сердечные дела. Они шептались, сидя с ногами на диване, и немедленно умолкали, если я оказывалась рядом. Однажды, когда я и мама пошли провожать ее до остановки, она поручила мне нести еще не проверенные классные работы. Я несла драгоценный груз, не дыша, и мечтала встретить кого-нибудь из класса, но, увы, не встретила. Мой первый класс... Толстая веснушчатая Наташа Витензон – обладательница красивого грудного голоса. Мы с ней участвовали в классном конкурсе на лучшего чтеца. “О Волга, колыбель моя”, – с чувством и нараспев читала Наташа. На ней была парадная школьная форма: белый фартук и крахмальный воротничок стоечкой. А из-под плиссированной юбки виднелись голые веснушчатые ножки, розовые резинки и пристегнутые к ним короткие чулки. Наташа получила первую премию и книжку, а я, прочитав басню Крылова “Кукушка и петух”, – вторую и открытку с изображением косца на поле и стихами: “Раззудись, плечо! Размахнись, рука!”

За дальней партой сидела тихая Наташа Вагуртова, которая однажды привела меня к себе домой и шепотом рассказала, как год назад ночью арестовали ее отца; как он, уходя, сказал матери: “Люба, помни, я ни в чем не виноват”; как мать после этого заболела; как у них отняли комнату и оставили угол за занавеской, где они жили втроем – мать, Наташа и ее старшая сестра. Когда мать пришла с работы, я ужаснулась, увидев ее худое изможденное лицо и безумные, вылезшие из орбит глаза. “Щитовидка”, – перехватив мой испуганный взгляд, шепнула Наташа незнакомое мне слово.

...А вот Галка Новикова, смешливая девчонка, у которой я часто бывала в крошечной комнате старого замоскворецкого дома, где она жила с целой кучей братьев и сестер. Все спали на полу вповалку и ели, сидя чуть ли не на головах друг у друга.

Галкина соседка по парте – чудная Мила Садовская. Она часто таскала у подружек всякую мелочь: ластик, промокашку, чистое перо. А когда ее уличали, вставала на колени и, театрально приложив руку к груди, умоляла простить ее, тараторя и захлебываясь словами.

Мой любимый класс, в котором я проучилась шесть лет и с которым мне пришлось проститься в 1952 году, когда мы переехали в другой район. Обрыв, и нет Полянки. Поселились в том же Замоскворечье, но прежняя жизнь кончилась. Началась другая, а я еще долго жила прежней. Проснешься и не понимаешь, где ты и как расположена относительно двери и окна.

Если бы кто-нибудь сказал тогда: “Привыкай к переменам. Эта – не самая страшная. Дальше будет хуже”, – разве бы я поверила? Да так никогда и не говорят, хотя это единственное, что можно сказать в утешение.

В жизни без хирургии не обходится. Жизнь то и дело производит ампутацию, отнимая привычное, дорогое, необходимое. На месте отнятого возникает пустота. Вернее, не пустота. На месте отнятого появляется боль, мука, память.

Память детства – дотошная и капризная. Важное, крупное, стабильное иногда забывается. Но веки вечные может жить мимолетная подробность исчезнувшего быта. Помню, как, однажды проснувшись, увидела перед собою что-то голубое. Протягиваю руки – шелк. Провожу рукой по шелку, он висит на чем-то твердом. Это стул, придвинутый вплотную к моему дивану. И на спинке стула – голубой шелк. На голубом фоне – корзиночки с цветами. Платье. Новое платье. У меня день рождения. Я совсем проснулась, приподнялась на локте и увидела улыбочатую рожицу негра. Деревянная игрушка – белозубый негр в синей нарисованной шапочке. К голове приделан грузик, и голова покачивается вправо-влево. Несколько лет он улыбался мне, покачивая головой. А потом что-то нарушилось, и голова стала застревать в одном положении. Помню, как трудно было запихнуть его куда-нибудь при переезде. Пришлось снимать голову и паковать ее отдельно от туловища.

Дотошная память детства. Память на имена. Помню, что девочку, которая спала рядом со мной в детском саду летом на даче, звали Галка Сидорова. Мне было шесть лет. Каждое лето я ездила на дачу с детским садом, в котором бабушка была на странной должности завпеда. Заведующей была крикливая крепкая сибирячка. А бабушка отвечала за педагогическую работу; в саду у нее одной было высшее образование. Яркая выраженная еврейская внешность, да еще ее вспыльчивость и активность усложняли нашу с ней жизнь. Сколько раз я готова была провалиться сквозь землю, когда заведующая с наслаждением орала на бабушку, а та, нервно хихикая, комкала подол платья. Платье задиралось все выше и выше, и становилось видно трико. Все переглядывались и смеялись, а я сидела пунцовая и боялась поднять глаза. Я вряд ли понимала причину дурного к нам отношения, но знала, что, если что-нибудь нарушу, мне будет хуже, чем другим детям. Оттого с первого дачного дня сжималась и ждала конца лета. Господи, как я хотела, чтобы все обошлось. Я ходила по струнке, и все же...

Особенно тяжело было ночами. На ночь для разных нужд ставили одно ведро на две спальни. Почему-то ведро всегда стояло в спальне мальчиков, и кто-нибудь из них непременно был начеку. Это ведро стало моим кошмаром. Я мучилась до утра, но и помыслить не могла о ведре. Однажды, помучившись, я уснула и во сне почувствовала, что стало легко и тепло. А когда проснулась, поняла, что лежу на мокром. Меня в жар бросило. Мозг начал лихорадочно искать выхода. В голову приходили самые нелепые мысли. Заметив, что проснулась моя соседка, я позвала ее: “Галя, давай поменяемся простынями, когда будем стелить постель. Мне знаешь как влетит, что моя мокрая, а тебе ничего не будет”. Галя, конечно, отказалась. Подошла нянечка и стала громко звать воспитательницу: “Алексеевна, Фрумина-то красавица описалась. Фрума всех учит, где ей своей внучкой заняться. Пусть теперь полюбуется”.

Мне помогли причесаться. Особенно старательно закрепили на голове атласный бант и посадили на самом виду посреди веранды. А за спиной на веревке развесили мою мокрую простыню. Так я сидела до обеда с пышным бантом в волосах, и все бегали на меня смотреть.

О этот ехидный прищур, с которым глядят на жалкого одиночку.

1953 год. Я вхожу в класс, а в дверях стоит девочка (и опять память услужливо подсказывает ее фамилию – Журавлева) и глядит на меня с тем самым прищуром. Я иду к своей

парте, каждой клеточкой чувствуя, что происходит нечто. Но что? Сажусь за парту и вижу, что в моем ряду пусто. Я в ряду одна, а в двух других сидят по трое за каждой партой. Каждого входившего в класс Журавлева спрашивала, указывая на меня: “Ты за нее или за нас?” Я была единственной еврейкой в классе. За меня никого не было. Все были против. Сидели плечом к плечу, возбужденные от собственного единодушия и сплоченности...

Начались уроки. Учителя сменяли друг друга, но ни один ни о чем не спросил. Все шло как обычно. И только классная руководительница с особым рвением рассказывала о государстве Израиль, и тогда все, дружно повернувшись, глядели на меня.

Потекли дни, и каждый раз после уроков я ждала, что меня изобьют. Я знала, что в классе договаривались об этом. И, когда меня подкараулили и обступили, я испытала облегчение: наконец-то. Девочки образовали круг и швыряли меня друг другу, как мяч, не давая опомниться. Особой боли я не чувствовала и страха тоже, а только тупую покорность и удивление, что это происходит со мной. Дома я ничего не сказала. Боялась, что меня начнут провожать и встречать, и весь класс увидит и поймет, что я трушу.

Все кончилось само собой: умер Сталин.

Однажды рано утром в нашу дверь забарабанили, и отчим с вытаращенными от страха глазами бросился отпирать. Едва он отпер, его сгреб в объятия грузный полуодетый сосед по квартире. “Оправдали врачей. Оправдали, – приговаривал он, тиская отчима. – Мы спасены, милый мой, дорогой”.

В этот день моя классная руководительница не пришла. У нее от огорчения началась краснуха. Все расселись по своим местам, и школьная жизнь пошла своим ходом.

Умер Сталин. Рассеянно и не спеша я делала уроки под звуки траурной музыки. Мой дед лежал с инфарктом. Его кормили с ложечки и подавали судно, но, услышав о смерти Сталина, он поднялся и стоял навтыжку, держась за спинку стула и постанывая. И никто не посмел ему перечить. “Почему?” – спрашивала я себя. Неужели и дедушка так потрясен? Ведь я слышала, как он, старый бундовец, нехорошо говорил о Сталине. Даже назвал его однажды главным виновником всех еврейских несчастий. Почему и для него это такое горе? Вот он стоит, слегка пошатываясь, и слезы катятся по впалым щекам.

Все жили так, будто настал конец света и не сегоднязавтра все рухнет. Полное затмение. И мне было немного стыдно за странное возбуждение и любопытство, которое я испытывала в те дни.

О жизнь, русалочьи глаза твои! Как хотелось равномерности, устойчивости, простого доверия к человеку, который рядом. Ведь я никогда не знала, чего ждать от близких: какие страшные у них бывали лица, как жестоки они бывали друг к другу. Сколько раз слово за слово – и разыгрывалась бурная сцена из-за пустяка. Вот моя мама с искаженным злобой лицом, хватая со стола нож, бросается к бабушке, выкрикивая бессвязные, страшные слова. Бабушка рвет на себе кофту, обнажая худую шею.

– Убью, – кричит мама.

– Ну убей, убей, – истерично и звонко отвечает бабушка.

Я забивалась в угол и, кусая руки, смотрела на них. Мир рушился. Казалось, прежняя жизнь кончилась навсегда, и тогда обычные картинки прежней жизни представлялись недосягаемым, несбыточным счастьем: вечернее чаепитие под оранжевым абажуром; мама что-то рассказывает бабушке, уютно устроившись в кресле и подвернув под себя ногу; бабушка смеется звонко, по-девчачьи, то откидываясь назад, то сгибаясь в три погибели: “Ох, не могу”, – стонет она. Постепенно смех ее переходит в кашель, и мама делает паузу и ждет, когда бабушка откашляется. Воскресное утро с неизменным ритуалом дедушкиного бритья, за которым я наблюдаю, лежа в кровати. “Как прекрасно это море”, – насвистывает дед, водя бритвой по ремню, привязанному к ручке зеркального шкафа. “Ж-жик, ж-жик, ж-жик” – такой домашний звук. Такая дорогая картинка: дедушка в нарукавниках, намыленные щеки, аккуратные,

экономные движения, деликатно оттопыренный во время бритья мизинец, а на столе на куске газеты – горки мыльной пены, посеревшей от сбритых волосков. Мама, лежа рядом со мной, читает мне вслух, гипнотизируя меня неожиданными модуляциями голоса и странной мимикой: она то шепчет, то выкрикивает слова, брови ее то сходятся к переносице, то взлетают. Я почти не понимаю слов, наблюдая за ее голосом и лицом. И все, что она читает, кажется заколдованным и таящим какой-то второй, недоступный мне смысл. И вот все рушится. “Убью, убью”, – кричит мама и, нелепо выгнув худенькое запястье, сжимает побелевшими пальцами нож. Где мне было знать, что она никогда не ударит этим ножом, что слова, которые она выкрикивает, не имеют прямого смысла, что передо мной две издерганные, больные женщины, пережившие войну? Проходили дни, шла обычная жизнь, а я еще долго заглядывала им в лица, спрашивая себя: “Да было ли все, что было, и помнят ли они?”

Сколько бы раз ни повторялись эти сцены, я не могла к ним привыкнуть. Так хотелось цельности, определенности – и чтоб можно было сказать о человеке: “Он не способен на такую низость. Он этого не сделает. Он так не скажет”.

И вот такой человек рядом. Каждый день с ним – подарок. Он рядом со мной уже много лет. Мне кажется, до него я жила так, будто стояла на скользком мшистом камне. Когда-то в детстве, живя на море, я очутилась далеко от берега на огромной черной камере. Камера спустила, и моей единственной опорой стал скользкий камень, покрытый мхом. Я стояла на цыпочках, высоко задрав подбородок, чтоб вода не затекала в рот. А мох шевелился и жил под моими ногами, и чудилось, что опора вот-вот исчезнет. Солнце слепило, от колеблющейся воды кружилась голова. Казалось, малейшее движение, даже звук, и я захлебнусь, потеряв равновесие. Меня спасли, но ощущение, что стою невесть на чем и вот-вот уйду под воду, осталось, пока не появился ты, ставший моим берегом, твердью, единственной незыблемостью на свете.

Ты был мне обещан давным-давно, в те времена, которые удерживает детская память. В эвакуации я дружила с белокурым мальчиком, который носил твое имя. Мы были неразлучны: нас купали в одной ванне, одной мочалкой и одним куском мыла. Мы откусывали от одного ломтя хлеба. Нас одевали в одинаковые серые с красной каймой платья. И, когда оказалось, что мальчику надо ехать в Сибирь к отцу, мы плакали, обнявшись. Нас оттащили друг от друга, и между нами вырос темный, голый стол. Мы еще были в одной комнате, но уже врозь. Нас разделяло нечто тяжелое, дубовое, непреодолимое. Мне казалось, этот стол и есть причина разлуки, препятствие, которое нельзя обойти.

Наверно, и вправду мы рождаемся с памятью о разлуках, радостях, любви и потерях, бывших до нас. Мы рождаемся с этим грузом, еще не имея собственного. И каждый раз собственный опыт есть как бы узнавание того, что неосознанно жило в нас до рождения. Иначе почему так потрясла меня, трехлетнюю, эта разлука? Иначе почему, еще не зная утрат, я все детство боялась за своих близких, особенно за деда? Когда садились в транспорт, я всегда стремилась пропустить его вперед, опасаясь, что он не успеет сесть и двери захлопнутся, прищемив ему ногу. Я никогда не жаловалась ему на дворовых ребят, потому что боялась, что он вступится за меня, и его обидят. Он был худенький, двигался легко и всегда занимал удивительно мало места. До сих пор не понимаю, откуда такая грация и деликатность у еврея-самоучки, выросшего в нищей многодетной семье, в которой он рано стал единственным добытчиком? Он говорил тихо, но с сильным еврейским акцентом, имел ярко выраженную еврейскую внешность и всегда привлекал к себе внимание. Я особенно боялась за него, когда началось “дело врачей”. Однажды он провожал меня к учительнице музыки. Мы шли по улице, и он тихо напевал.

Встречный мужчина грубо задел его плечом и просипел:

“Пой, пой, жидовский нос. Скоро не так запоешь”. Помню свой тогдашний ужас, потому что я, маленькая, не пережившая ни одного погрома и вряд ли знавшая о них тогда, без труда вообразила всеобщую ненависть и готовность к рукопашной. Что ж это такое, как не врожденная память о чужих кошмарах? Будто до нынешней жизни прожила другую жизнь и, может

быть, не одну, а несколько. Не оттого ли, слушая какой-нибудь русский романс, вдруг затоскуешь по старому усадебному быту, по разным его подробностям, которые, начни перечислять, покажутся литературой, а неназванные ощущаются остро, живо, как собственное прошлое?

Не оттого ли, когда слышу: “Пречистенка”, “Остоженка”, – сердце сжимается от тоски по старой Москве, хоть и не звались так московские улицы на моей памяти. И живи я тогда, не в Москве бы жить мне, а где-нибудь в черте оседлости.

А где-то на стыке моего и чужого опыта сохранилось воспоминание (воспоминание ли?) об эвакуации из Москвы: вокзал, толпа и папа в какой-то лохматой куртке держит меня высоко над головой, чтобы мама и бабушка, которых он потерял, увидели. Я плыву и плыву над людскими головами, и вдруг пронзительный бабушкин крик: “Ларочка-а-а!”. Что было дальше – не помню.

Память дискретна: вспышка и снова темно. Вспышка – и я вижу товарный вагон, печку-буржуйку, возле которой суетятся люди: бабушка чистит печеную картошку, перекладывая ее из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает мне. Я откусываю прямо из бабушкиных рук. Изображение снова гаснет, а когда вспыхивает, вижу, как бегаю по вечерней куйбышевской улице во время воздушной тревоги, пытаюсь поймать, сжать в ладонях мечущиеся лучи прожектора. Мне не удается, и я, скинув варежки, ловлю и ловлю их голыми руками.

Но могу ли я помнить все это, если мне было тогда полтора-два года? И все же граница между чужим и собственным опытом иногда столь подвижна и неопределима, что и не знаешь, где свой, где чужой.

Потому, вероятно, еще и не зная утрат, я всегда жила так, будто знала их в какой-то прежней жизни. И любую устойчивость, стабильность принимала не как должное, а как редкое везенье и поблажку. И чем дальше жила, чем больше в эту жизнь вращалась, тем становилась уязвимее.

С раннего детства жизнь одергивала меня, уча оглядке. Но мыслимо ли научиться недоверию, когда лишь доверие позволяет жить? Лишь веря, что воды не затопят нас, ветры не сдуют с лица земли, ближний не нанесет удар в спину, можно дышать, детей растить и спать ночами. А в детстве полон доверия к каждому, готов каждому открыться. И так хорошо, когда в двух шагах живет подружка и можно то и дело бегать друг к другу.

Мы сидим в моей комнате, жуем пряники. Я читаю подружке свой стишок про ненавистную всему классу учительницу рукоделия. Я только вчера его сочинила, и мне не терпелось поделиться:

Гром гремит, земля трясется,
Видно, Поленька несется
На высоких каблуках,
С рукоделием в руках.
Вызывает ученицу,
Ставит сразу единицу.
Единица не плоха,
Ученица – ха, ха, ха.

Наташа смеется. “Перепиши мне. Я сестре прочту”, – просит она. Я переписываю стихи, а она стоит за моей спиной, жуя пряник.

На следующий день в нашем классе – пионерский сбор. Я только недавно вступила в пионеры, и меня недавно выбрали звеньевой. Я была счастлива и то и дело гладила новенькую нашивку на рукаве формы. В середине сбора моя подружка Наташа, староста класса, подняла руку, аккуратно поставив локоть на парту.

– Что, Наташа? – обратилась к ней учительница.

– Миллер стишок написала про Полину Николаевну.

Пусть прочтет.

– Прочти, – обратилась ко мне учительница. Я молча глядела на Наташу.

Наташа смотрела прямо перед собой. Потом поднялась, вынула из кармана аккуратно свернутый листочек, который я накануне ей вручила, и сказала: “Если она не хочет, прочту я”.

Когда она прочла, девочки захихикали, да и учительница с трудом сдерживала улыбку. Наташа обвела всех спокойным взглядом. “Я думаю, всем ясно, – произнесла она, – что после этого Миллер не может оставаться звеньевой”.

Класс притих. Учительница в растерянности переводила взгляд с меня на Наташу. Наташа села и, порывшись в портфеле, достала пенал. Открыв пенал, она извлекла из него бритву и направилась к моей парте.

– Встань, – обратилась она ко мне, – надо срезать нашивку.

– Оставь, Наташа, она сделает это дома, – произнесла наконец учительница. Наташа вернулась на свое место, убрала бритву в пенал, пенал в портфель, опустила крышку парты и положила на парту локти. Сбор продолжался.

Мое лицо горело. Во рту было сухо. Я никак не могла осознать случившееся и найти этому определение. Простое слово “предательство” пришло не сразу.

Но жизнь продолжалась: дом, каникулы, школа. Вот выбегаю из школы, из темноты, из духоты на мартовский свет. Голове жарко. Снимаю теплую шапку и несу ее в руке. Течет с карнизов. Подставляю под струю макушку, ладонь, воротник, шапку. Ворсинки на шапке слипаются, и я приглаживаю их то в одну сторону, то в другую, то в разные. Мою под струей галоши и портфель. Портфель блестит, а брызги летят мне в глаза. Струя, падая на ладонь, на асфальт, на мех, звучит то звонко, то глухо. Дома оказывается, что намокли учебники и расплылись чернила в тетрадах. Раскладываю учебники на батарее и завожу новую тетрадь. Гладкая разлинованная страница пугает своей чистотой. Приникшая к ней промокашка вызывает трепет. Я снимаю промокашку и кладу ее под левый локоть. Трогаю кончик пера, чтобы убедиться, что он чистый и целый. Потом обмакиваю перо в чернила и вывожу первые слова на чистой странице: “Двадцатое марта”. Даю себе клятву писать без единой помарки, и рука дрожит от волнения.

Такой свет за окном! Заметно каждое пятнышко на окошке. Отчетливо виден слой пыли на чернильном приборе, в центре которого белая сова – ночник с зелеными глазами. Правда, глаза у нее сейчас тусклые и пыльные. Я обтираю их пальцем. Палец становится серым. Потом обтираю пальцем сову и весь мраморный чернильный прибор. Провожу пальцем по клеенке на письменном столе, а потом иду к пианино. Вот где можно разгуляться! Вожу пальцем по подсвечнику, а потом размашисто пишу на черной крышке пианино: “Двадцатое марта”. Поднимаю крышку и пишу с внутренней стороны. Пылинки пляшут в столбике света.

Я подкладываю под себя клавир “Евгения Онегина”, чтобы удобней было сидеть, начинаю заниматься музыкой. Подолбив надоевший этюд, поиграв его отдельно левой, отдельно правой рукой, начинаю просто перебирать клавиши. Потом достаю из-под себя клавир. Наигрываю первые такты, листаю дальше, останавливаюсь и, тыча пальцем в ноты, напеваю: “Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали...”

Мне нравится рыться в нотах. Ставлю перед собой какие-то рассыпающиеся странички. Они не стоят, обмякают и валятся мне в руки. Я придерживаю их левой рукой, а правой шарю по клавиатуре. На нотах карандашом написаны пальцы, обведена лига, что-то перечеркнуто. Кто-то уже бился над всем этим, путал пальцы, рвал лигу. Нотные странички на ладан дышат, а музыке как с гуся вода. Так чудно находить нужные клавиши, нажимать и вдруг обнаруживать, как звуки, сцепляясь друг с другом, рожают нечто, от чего дух захватывает. Тайные речи этих созвучий еще темны для меня, но трогают и томят. Тайна. Тайна. Преддверие. Будто, прильнув,

гляжу в чьи-то окна, и мне оттуда машут, улыбаются, зовут. Но захожу и снова оказываюсь снаружи, снова ряды окон, к которым прикипаю.

И снова машут, зовут. Захожу – и снова снаружи.

Кружу, кружу вокруг да около. Пытаюсь проникнуть внутрь, но не проникаю. Нажимаю клавиши. Они отвечают мне, но ответ уклончив.

Нарушаю белизну чистой страницы, но все сводится к упражнению на твердый и мягкий знак.

Иду сквозь звенящий, болтливый, весенний день. День болтлив, но сокровенного не выбалтывает.

И дома хранят тайну.

Вот старый одноэтажный дом, в котором живет моя учительница музыки. В одном из окон открыта форточка, и оттуда доносятся звуки музыки: медленная сбивчивая игра. Подхожу к окну и, загородившись от света, вглядываюсь в полумрак комнаты. Слышу голос моей учительницы: “Раз-и, два-и”. Вижу темный рояль. Стучу в окно, как было условлено. Не слышат. Стучу громче. Учительница кричит кому-то, и маленькая фигурка бежит отпирать. Спешу во двор, оттуда вход в дом. Вход с крыльцом и металлическим узорчатым навесом.

Крыльцо увито каким-то вьющимся растением: голые прутья обвивают металлический узор. Толстые стволы старых деревьев загораживают окна, будто находятся в сговоре с этим домом.

Но и проникая внутрь этих домов, я не постигаю их загадочной жизни.

Вот мы в гостях у старой больной музыкантши, к которой наша учительница привела нас на прослушивание.

В тесном коридоре царит высоченное тусклое зеркало в витой раме. Мы оставляем шапки и варежки на подзеркальном столике и входим в полутемную комнату, всю середину которой занимает рояль. В комнате пахнет старыми книгами и лекарством. В кресле сидит старуха в длинной юбке и валенках. Она не может передвигаться из-за болезни ног. Рядом с ней круглый стол с лекарствами, книжками и баночкой монпансье.

Мы играем, и старуха слушает нас напряженно и внимательно. Потом неожиданно звучным голосом делает замечания, просит сыграть снова и принимается энергично отбивать такт худой веснушчатой рукой.

Пока играют другие, я смотрю на картины, развешанные по стенам и гадаю, что за люди и улицы изображены на них. Вон молодая красавица на портрете – вдруг это та старуха, которая слушает нас сейчас. А что там за скалы и море на дальней картине в углу комнаты?

Все загадочно. И ступеньки при входе в дом, и полутемная комната, и крыльцо, увитое ползучим растением, и больная старуха с сильным голосом, и весеннее таяние, и слепящее солнце, и пылинки в солнечном луче – что со всем этим делать?

“Этот сладостный недуг, это вечное стремление – обладать лучом и тенью и принять в ладони звук...”

Я прикасаюсь ко всему, но не могу постичь, не могу коснуться сердцевины, не могу разгадать загадку, которую вроде бы никто не загадывал мне.

Старый книжный шкаф моего детства. В нем множество книг. Некоторые без обложек. Листаю страницы, нюхаю их, гляжу на пометки, читаю и проваливаюсь в неведомый мир. Меня морочат непонятные страсти и судьбы. Читаю до рези в глазах, а потом, очнувшись, с трудом стряхиваю с себя чужую жизнь.

Две книжных полки шкафа отведены маленьким стихотворным томиком. Открываю их наугад. Выбираю что покороче и читаю, шевеля губами: “Все отнял у меня казнящий Бог...”

Отнял. Казнящий. Жутко. Но какие загадочные слова. Они не пугают, а завораживают.

...Открываю толстую тетрадь, беру карандаш и ластик. Долго грызу карандаш, ковыляю ластик, тычу в него грифелем, и какие-то смутные чувства переполняют меня. Наконец,

решившись, пишу первые слова: “В доме на Песчаной справляли новоселье...” Пишу долго, увлеченно, боясь кончить и мечтая о конце. Пишу простенький рассказ об одной семье. Там семейные ссоры, дни рождения, плохие отметки, примирение и счастливый конец. Кончив, испытываю чувство облегчения. Пробегаю глазами по строчкам. То ли я хотела написать, сама не знаю. Но зато как чисто написано – ни одного зачеркивания.

Все, что не нравилось, я стирала ластиком. Приятно зажать в ладонях всю толщу исписанных страниц: во сколько написала!

Но главное еще впереди: я понесу этот рассказ в самый заветный дом моего детства. Там живут друзья моего отца, оставшиеся нам с мамой “по наследству” еще с довоенных времен.

Я всегда вижу этот дом зимой: заваленный снегом переулок, погребенные под снегом деревянные домики. Длинная дощатая лестница, у подножья которой веник. Мы с мамой сметаем снег с обуви и идем наверх. Толкаем одну из дверей и попадаем в игрушечную переднюю, где на плитке жарится яичница с ломтиками черного хлеба. Эта передняя отделена от остальной части комнаты длинными шторами. Раздвигаем шторы и входим в комнату, посреди которой деревянный столб, выросший в пол и потолок. Кажется, что лишь усилием этого столба заставили крышу дома приподняться и выделить место двум пожилым людям. И они так обрадовались обретенному пространству, что бросились холить и нежить каждый его сантиметр: набили полочек, расставили книги, развесили картины, поставили у стены пианино. Верх столба разрисовали замысловатым узором, а пониже набили полки для книг.

В этой комнате работают: пишут книжки про писателей и музыкантов. Я люблю хозяев этой комнаты. Люблю читать здесь свои рассказы. Мне нравится, как тетя Лиза всхлипывает от умиления, едва я начинаю читать, а дядя Леша тихонько побрякивает и барабанит пальцами по столу. “Ну-с, – говорит он, когда я заканчиваю, – молодец, Ларка. Шпарь дальше”.

Тетя Лиза обнимает мою голову и прижимает к груди.

Потом начинается то, что я люблю больше всего.

Мы с дядей Лешей забираемся в самый угол дивана. Я сажусь к нему на колени, и мы принимаемся сочинять сюжеты. Он начинает, я продолжаю. И наоборот. Он выдумывает невероятное и обрывает свой рассказ в самом интересном месте. “Ну-с, продолжай”, – говорит он мне.

А потом рядом с нами ставят низенький столик, и мы пьем чай.

На прощанье я обнимаю дядю Лешу за шею и говорю:

“Я вас люблю блаженски”.

А потом того дома не стало. Не стало и тех людей. И не тогда их не стало, когда они умерли, а гораздо раньше, когда они напечатали все свои труды и переселились в шикарную квартиру, став ее важными и чопорными хозяевами.

Но заветный дом жив. Я поднимаюсь по несуществующим ступенькам давно снесенного дома и прошу тетю Лизу: “Сыграйте, пожалуйста, вальс Грибоедова”. А потом дядя Леша снимает с пюпитра старинные ноты, на которых написано “Грибоедов. Два вальса”, делает на них надпись почерком Грибоедова: “Моей любимице на добрую память”.

...И снова март. И глаза ломит от света, и птицы поют. Я хожу с сыном по улицам своего детства. Вот и переулок, куда бегала на уроки музыки. В какое окно стучала? В это? Нет, кажется, в то. Как теперь определить? Окна наглухо забиты железными щитами и двери тоже. Видно, дом готовят к сносу. Заколоченные окна – укор мне. Я так и не разгадала их тайны. Но помню дыхание и запах этого дома, и как западали клавиши рояля моей учительницы, и как она трясла мою кисть и требовала: “Свободней руку, свободней”.

“Свободней руку”, – говорит молоденькая учительница музыки моему сыну. И он карабкается по тем же нотам, по каким когда-то карабкалась я. Срывается и карабкается снова.

* * *

Я малолетка. Я в Клину.
Я у Чайковского в плену.
Я тереблю промокший, мятый
Платочек. Плачу я над Пятой
Симфонией. Пластинку нам
Поставили. За дверью гам.
В музее людно. День воскресный.
А музыка с горы отвесной
Столкнула, снова вознесла.
Я плакала. Душа росла.

Анна Васильевна с Олимпа

В пятом классе мы начали изучать мифы Древней Греции. Храмы, битвы, боги, чьи имена я запоминала с необыкновенной легкостью, меня завораживали. Единственную трудность представляла хронология: XII в. до н. э., V в. до н. э. Я до рези в глазах вглядывалась в эти цифры, буквы, точки, но усвоить их не могла. Что значит ДО НАШЕЙ ЭРЫ? Я и нашу эру с трудом себе представляла. Воображение отказывалось мне помочь. Написали бы просто – ОЧЕНЬ ДАВНО. Разве этого недостаточно? Но и датам не удалось отбить у меня любовь к древнегреческим мифам. Тем более что преподавала их Анна Васильевна. Когда она – высокая, статная, с огромным пучком пепельных волос на затылке – впервые вошла в наш класс своей величественной походкой, мне показалось, что она спустилась с Олимпа. Что такое Олимп, я уже знала – сперва от мамы, а позже от Жени, который короткое время был маминым мужем. Кандидат философских наук, он очень красочно и бурно рассказывал мне про войну титанов и богов, про огненную колесницу Фаэтона, про веселого козлоногого Пана и его несчастную любовь к нимфе. Анна Васильевна говорила о том же, но совсем иначе – негромко, медленно, спокойно, как и следовало жительнице Олимпа. Когда она в своем неизменном длинном темно-вишневом платье и большой белой шали бесшумно двигалась между рядами и, не прерывая повествования, подходила к доске, чтоб записать имя очередного бога или героя, все глаза были устремлены на нее. Кронос, глотавший своих детей, Зевс, низвергнувший Кроноса, Гера, верховная богиня и жена Зевса, – обо всех она говорила так, что сомнений не оставалось: она была там. Но кем она там была – в том непредставимом веке до нашей эры? Герой? Вряд ли. Уж больно Гера мстительна и ревнива. В конце концов я придумала ей роль таинственной безымянной пришельницы с Олимпа, стоявшей выше всех верховных богов и безучастной к их играм, страстям и битвам. Единственное, что не соответствовало ее величественному облику, – это неожиданно приветливая и ласковая улыбка, которую каждый мечтал заслужить. Все свое домашнее время я тратила на историю, а на уроке изо всех сил тянула руку (чего делать не полагалось) или старалась перехватить взгляд учительницы.

Но однажды Анна Васильевна не пришла. Нам сказали, что она заболела, и заменили историю физкультурой. Не пришла она и на следующий урок, и через урок. Жизнь потеряла краски. Вызвав каким-то образом ее адрес, я отправилась к ней домой. Как я на это решилась, сама не знаю. Держа в руках бумажку с адресом, я отыскала нужный переулок (благо он оказался неподалеку), вошла во двор и, увидев там тетеньку, развешивающую на веревке белье, показала свою бумажку. Она молча кивнула в сторону деревянного флигеля, но, едва я стала подниматься по ступенькам, крикнула: “Вниз!” Неужели в подвал? На лестнице пахло кошачьей мочой, а в кухне – жареным луком. “Где тут Анна Васильевна?” – спросила я у тени, скользнувшей по темному коридору. “Сюда, пожалуйста”, – юным голосом ответила тень и повела меня за собой. Скоро мы оказались в узкой комнате, где царил полумрак. На кровати лежала женщина с разметанными по подушке волосами. “Кто пришел, Аня?”, – услышала я слабый голос Анны Васильевны. Я назвалась. “А-а-а, очень рада, проходи, садись. Яблоко хочешь? Анечка! Принеси яблоко”. Девушка метнулась к буфету. “Это моя дочь Анечка. А я вот слегла с пневмонией”. “С чем?” – спросила я, радуясь непонятному слову как возможности поддержать беседу. “С пневмонией, с воспалением легких”. – “А вы скоро придете?” – “Как только встану на ноги. А ты пока читай. Хочешь, дам тебе книжку про Троянскую войну?” “Спасибо, не надо, – зачем-то отказалась я. – У нас дома много книг про Древний мир. Мамин муж – философ. Он все знает”. – “А-а-а, ну тогда другое дело”. Анна Васильевна поглядела на дочь и улыбнулась. Видя, как ей трудно говорить, я стала прощаться. Анечка сунула мне в руку яблоко и повела по коридору.

“У мамы глаза болят, поэтому мы в комнате света не зажигаем”, – сказала она на прощанье.

Поднявшись все по той же вонючей и шатучей лестнице, я оказалась на свету. Домой шла медленно, припоминая все случившееся. Что, собственно, меня так поразило? Убогое жилище? Да мы все жили примерно одинаково: в коммуналках, среди чада и смрада, с мышами и крысами. Но Анна Васильевна – величественная гордая обительница Олимпа, самая верховная богиня. Могла ли я подумать, что и она живет в подвальной конуре?

Могла ли я представить, что именно оттуда она каждый раз приходила к нам, чтоб рассказать о подвигах Геракла, о Зевсе, Гере, Гебе...

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила, —

читала она на уроке своим глубоким грудным голосом. Не в силах расстаться с мыслью об эллинском происхождении Анны Васильевны, я решила сделать ее Персефой, живущей в царстве Аида, или по крайней мере Деметрой, спустившейся в Тартар, чтоб навестить дочь. Но, как я ни пыталась приучить себя к этой новой версии, ничего не получалось: грязный двор, сырой подвал, вонючий коридор, полутемное жилище никак не вязались со звучными греческими именами.

В конце четверти открылась дверь и вошла Анна Васильевна – спокойная, статная, все в том же темно-вишневом платье, с белой шалью на плечах. Она улыбнулась нам своей удивительной улыбкой и сказала, что мы начнем новую тему. И вновь замелькали имена: Приам, Парис, Гекуба.

* * *

Ах, как ребенку взрослые мешают:
То спать велят, то сладкого лишают:
Мол, брось жевать – испортишь аппетит
И зубкам вред. А время-то летит.
Ах, бывшее дитя, кому есть дело
Сегодня до того, что ты надело,
Как выспалось, что ело на обед?
Ты счастливо, что взрослых больше нет?

Глава 2

И всем, чем дышалось

Мама

Старинные часы на гардеробе. Те самые, из моего детства: склоненная над книгой бронзовая женщина, тонкая рука, подпирающая щеку. Все то же. Только циферблат без стрелок. Часы сломаны. Они стоят в квартире моей мамы, которая недавно умерла. Совсем недавно. Еще живет в комнатах ее запах. В прихожей стоят тапки, хранящие форму ее ступни с подагрической косточкой. Возле зеркала – золотистое колечко ее волос и расческа, которой она провела по волосам, уезжая в больницу. Рядом обручальное кольцо и часы, что так беспомощно болтались последнее время на ее исхудавшей, посиневшей от укулов руке. Тупо брожу по квартире. Со дня маминой смерти прошла всего неделя. В прошлую субботу папин голос из больницы. Слабый, дрожащий голос. Едва его услышав, я все поняла. Нет! Нет! Нет!

Да! От такой болезни не спасают, и не на что было надеяться. Но слаб человек, и малейшее улучшение рождает надежду. А улучшение было, и маму выписывали из больницы домой то на неделю, то на две. И мы сидели в ее уютной кухне и пили кофе, а по вечерам звонили друг другу по телефону. “Ну как ребятки? – спрашивала меня мама. – Так поздно не спят?..”

Я еще не жила в этом мире без мамы. Жила с ней, подле нее, отдаляясь, приближаясь, терзаясь несхожестью душ, тоскуя по детству, когда ни с кем не было так хорошо и празднично, как с ней. Делаю первые шаги в мире, где ее нет. Она приходит только ночью, садится возле меня, и мы вместе смотрим старые снимки. “А это помнишь когда было?” – “Помню. После ноябрьской демонстрации. Малый Каменный мост”. – “Сколько тебе тут лет, девочка?” – “Девять, наверное”. Поднимаю голову, а ее уже нет.

Бегу, зову и просыпаюсь.

Суббота, еще суббота. Уже две недели со дня маминой смерти. Мы с сыном снова на Кутузовском проспекте в маминой квартире. Приехали навестить моего отчима. Сидим на кухне. Едим сваренный к нашему приходу обед. Папа старательно и серьезно нас кормит. Папа. Тридцать лет назад меня заставили называть этого человека “папа”. А теперь я держусь за драгоценное слово как за соломинку. Мы с ним держимся друг друга. Мы звоним друг другу, и он задает мне мамины вопросы: “Ну как ребятки? Еще не спят? Я купил тебе сыр и баночку меда. И рижский хлеб, который любит Павлик. Может, заедешь в конце недели?” Мы сидим на кухне, а рядом на полу рулоны обоев, которые папа снял с антресолей. “Возьми их себе, деточка, – говорит он. – Мы собирались в июне делать ремонт. Возьми их. Тебе пригодятся. Мы за ними долго стояли. Разбери фотографии, книги, ноты. Возьми что тебе нужно”.

Разбираю книги. На многих дарственные надписи писателей, художников, актеров – всех тех, с кем мама встречалась, у кого брала интервью, работая в журнале “Красноармеец” в военные и первые послевоенные годы: “На память Изабелле о первых наших встречах. Вас. Качалов, 1944 г.”; “Белле Румер (мамина девичья фамилия) с любовью. Мих. Жаров, 1945 г.”. Вот тоненький “Василий Теркин”, “карманная” книжечка, выпущенная издательством “Молодая гвардия” в 1942 году. На титульном листе – надпись: “Изабелле Вениаминовне, замученной редакционными невзгодами, – с пожеланием всего лучшего. А. Твардовский. 14.7.1943”.

Вот сборник стихов Степана Щипачева с посвящением: “Милой Белочке. Пусть эта книга когда-нибудь и потом напомнит об этих днях, о нашей редакции и об авторе этого творения. Ст. Щипачев. 26.5.44”.

Миниатюрная рассыпающаяся книжка Анны Ахматовой, изданная в 1921 году. На титульном листе под строгим названием ANNO MCM XXI надпись: “И. В. Румер на память о встрече – Ахматова 22 апреля 1946 г. Москва”.

Скромное военное издание “Железного потока” с посвящением, сделанным старческим неровным почерком:

“Т-шу Румер Изабелле Вениаминовне, прекрасному редактору, перед настойчивостью ее никто не устоит. На память А. Серафимович. Москва 10.12.44”.

Английские народные баллады: “Дорогому “Красноармейцу” Изабелле от всей души”. С. Маршак 1942 г.”.

Журнал “Красноармеец”, в котором мама работала до 1946 года, – это огромный дом с колоннами, который все называли ЦДКА. Это большая круглая площадь Коммуны. Это газетный киоск возле троллейбусной остановки, где почему-то иногда продавали кукольную посуду, непреходящую мечту моего детства. Непреходящую не потому, что мечта не воплощалась, а потому, что маленькие алюминиевые вилки легко гнулись, ложки легко ломались, тарелки легко терялись. Все приходило в негодность, еще не успев надоесть, и я снова тянула маму к газетному ларьку. Она покупала мне новый набор, и мы шли к маме на работу, где я проводила целый день, когда меня некуда было деть и не с кем было оставить. Я доставала из маминой сумки целлулоидного голыша, строила для него дом из толстых подшивок журнала “Красноармеец” в красном кожаном переплете и кормила его из новой посуды.

Журнал “Красноармеец” – это черный кожаный диван, на котором маме иногда удавалось уложить меня днем поспать. Журнал “Красноармеец” – это мамин начальник Виктор Васильевич, болезненный, тихий, в гимнастерке и валенках. Виктор Васильевич и его вечная шутка: “Ну что, черноглазая, опять глаза не промыла?”

Журнал “Красноармеец” – это макет Сталинградской битвы на первом этаже. Объемный макет в человеческий рост, куда мне однажды разрешили войти. Скинув тапки, я шагнула за барьер, внутрь макета, и оказалась среди огня и дыма. Боязливо оглянулась и увидела у самых своих ног окровавленного солдата с гранатой в руке. Не помня себя от страха, я торопливо, боясь что-нибудь нарушить, засеменила прочь, к маме. “Красноармеец” – это странные таинственные разговоры о самоубийстве секретарши Леночки, которая повесилась в приемной своего начальника. Это страшная новость о том, что начальника посадили. Начальник этот был главнее Виктора Васильевича. Я всегда думала, что он начальник всего дома с колоннами и даже всей круглой площади. Звали его Василий Иванович. Его кабинет находился возле макета Сталинградской битвы. Большой кабинет и большая приемная. Но мы с мамой никогда не ждали в приемной. Мама весело открывала массивную черную дверь и, пропустив меня вперед, входила следом. А Василий Иванович вставал нам навстречу, широко улыбался, брал мамину тонкую руку в обе свои и усаживал маму в кресло. Я любила ходить к нему, особенно накануне Нового года, потому что тогда уж я непременно получала новенький, пахнущий типографской краской пригласительный билет на елку. Пригласительный билет с профилем Сталина и кремлевской башней на обложке. И вдруг Василий Иванович исчез. Мы с мамой больше никогда не подходили к его кабинету на первом этаже. Много лет спустя, придя домой из школы, я увидела за столом очень худого, лысоватого человека с ввалившимися щеками. Он встал мне навстречу и улыбнулся. Господи, да это же Василий Иванович. Неужели он? После его ухода я засыпала маму вопросами, припомнив загадочные рассказы о Леночке. Мама нехотя и скупно объяснила, что Леночку несколько раз вызывали в какое-то важное учреждение и расспрашивали о начальнике. Она возвращалась на работу измученная и в слезах. Когда начальника арестовали, она повесилась.

Маму уволили из “Красноармейца” вскоре после ареста Василия Ивановича. Что такое “уволители”, я плохо понимала. Но помню, как мама вернулась с работы непривычно рано и позвонила Верке, своей давней подруге: “Ты знаешь, я вышла на улицу, перекинула пальто

через руку, поглядела вокруг, и мне захотелось кричать”. Я с опаской смотрела на маму, которая почти не говорила со мной.

Как же так? Как же можно, чтоб маму выгнали из дома с колоннами, из нашего “Красноармейца” одну на улицу?

“Ты знаешь, говоря по-эзоповски, на этот дом надо бомбу сбросить”, – сказала я маме. Я помнила, что есть некий “эзоповский” язык, которым иногда пользовалась мама, разговаривая в моем присутствии с кем-нибудь из взрослых, и решила, что пришло мое время говорить на этом языке.

Много лет спустя, не помню почему, мы с мамой приехали в ЦДКА, и пожилая гардеробщица, увидев маму, всплеснула руками: “Белочка, да ты ли это?” Они расцеловались, поговорили. А когда мама отошла, гардеробщица сказала мне: “Какая она красавица была. Многие по ней вздыхали. Она и сейчас хорошая, но в те-то годы...”

Снимки, снимки, снимки. Вот мама молоденькая в гимнастерке, вот она в ушанке и шинели. Вот ее пропуск на беспрепятственный проход по Москве во время воздушной тревоги. Вот она с папой перед его уходом на фронт. Это их последняя фотография. Они улыбаются друг другу. На папе военная форма. На маме шерстяная кофточка, которую я помню до мельчайших подробностей: коричневая, с бежевым воротником и бежевыми манжетами. Кофта была длинная, уютная, и мама любила носить ее в морозы. Я даже помню ее на ощупь, потому что часто, уставая, тянула маму за бежевый манжет и ныла: “Пойдем домой”.

Мама часто таскала меня с собой. Иногда потому, что не знала, куда меня деть. Иногда просто так, “для веселья”.

Меня так и прозвали – “Белкин хвост”.

Куда и к кому только не ездила мама, спецкор “Красноармейца”, самого популярного и читаемого в те годы журнала: к Калинин, Вышинскому, Туполеву, Ал. Толстому, Эренбургу, Гр. Александрову, Л. Орловой, Целиковской, Руслановой, Мих. Жарову. Мы ездили к Папанину на дачу, где я впервые в жизни каталась на машине, большой, черной, неуклюжей. Мы ехали по ухабистой, грязной проселочной дороге. Папанин сидел за рулем, а мы с мамой подпрыгивали на заднем сиденье. Когда мы особенно высоко подпрыгнули, Папанин обернулся и весело спросил меня: “Ну, что, мартышка, совсем жопку отбила?” Черная машина и слово “жопка”, произнесенное знаменитым дядей, были самыми сильными впечатлениями этой поездки. Папанина я помню смутно, но хорошо помню, что он пригласил нас остаться на обед, который уже подавали в просторной столовой. Помню, что удивительно вкусно пахло едой и что мне очень хотелось есть. Помню свою досаду на маму, которая неизвестно почему отказалась остаться и увела меня, голодную, домой, накормив по дороге бутербродами. Помню смуглый мамин кулачок, которым она наподдала мне на улице за то, что я слишком настойчиво и громко требовала, чтоб мы остались обедать.

Обычно я вела себя тихо, но иногда подавала голос, и не всегда удачно. “Ваша фамилия Толстой, потому что вы толстый?” – спросила я большого, грузного Ал. Толстого. Толстой без улыбки посмотрел на меня и молча протянул мне конфету, а маме – сложенные трубочкой страницы, написанные для “Красноармейца”. Однако голос, поданный мною в проходной Кремля, помог мне пройти к Ворошилову вместе с мамой. Охранники сами догнали маму и попросили взять с собой громко плачущего ребенка. Так я оказалась в кабинете Ворошилова. “Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папи с винтовкой на посту!” – декламировала я, стоя на столе в кабинете Ворошилова. Я говорила “папи” с гордостью, так как знала от домашних, что папа мой погиб на фронте. Однажды поздно вечером я слышала сквозь сон, как мама рассказывала бабушке, что кто-то вошел в редакцию и сказал: “Белла, иди скорей. Тебя какой-то мужчина ждет внизу. Сказал – позовите Беллу. Скажите, что ее ждет Миллер”. Представь, хочу бежать вниз, а ноги не идут”, – говорила мама. “Спускаюсь по лестнице, а ноги

ватные. Понимаю, что бред, что Миши нет в живых, что это не Миша, а брат его, а все-таки думаю – а вдруг, а вдруг. Спускаюсь вниз, а там Аркадий.

Я так и упала на стул возле него без сил”.

С той поры и во мне поселилось это “вдруг”. А вдруг папа жив и я его случайно встречу где-нибудь в толпе, на улице, в транспорте. Я стала сочинять бесконечные истории о нашей случайной встрече.

...“Ларка, иди скорей. К вам Сталин приехал”, – кричали мне ребята с нашего двора. Бегу к дому. У подъезда машина. В подъезд входит высокий, прямой, моложавый старик в генеральской форме – Игнатъев, автор книги “Пятьдесят лет в строю”. Личная машина (редкость по тем временам), генеральская форма, военная выправка, высокий рост – конечно же Сталин. Про нашу маму всегда ходили легенды: к ней ездил Сталин, а сама она актриса – яркая, рыжая, курит, на рояле играет. “Умнице и чаровнице Белочке от молодого душой ее поклонника”, – размашистым почерком надписал Игнатъев свою книгу, подаренную маме.

Я любила ходить с мамой к Маршаку и к Агнии Барто, потому что там мне давали посмотреть грудку красивых детских книжек. Некоторые из них были совсем новые и вкусно пахли краской. Я их не столько читала, сколько нюхала. Однажды Агния Барто позвонила нам на Полянку и продиктовала маме свое новое стихотворение, которое начиналось словами: “У меня родился брат...” Стихотворение называлось “Имя”, и было оно о том, как брата называли Иосифом в честь вождя. Я выучила стихи наизусть и очень выразительно прочла их на школьном утреннике, посвященном дню рождения Сталина. Барто жила в Лаврушинском переулке, по соседству с нами, и мы с мамой ходили к ней пешком тихими замоскворецкими переулками.

Мы ходили пешком в Дом правительства – большой серый дом, расположенный между Большим и Малым Каменными мостами. Шли по Большой Полянке через мост мимо кино-театра “Ударник” в ворота. В этом доме жил Александр Серафимович Серафимович, с которым за годы работы в “Красноармейце” подружилась мама... Это был очень старый человек с рыжими веснушками на руках. Он всегда ходил в валенках, а дома возле ног его всегда лежала большая строгая собака, из-за которой я боялась быстро ходить и громко говорить. В кабинете Серафимовича были двери с матовыми стеклами. Мне нравилось, упершись лбом в стекло, пытаться разглядеть, что там делается за дверьми. Александр Серафимович что-то говорил мне слабым старческим голосом. Бодрая моложавая жена его Фекла Родионовна поила нас чаем с чем-нибудь вкусным. А потом мы с мамой брали узелок с чистым бельем и шли в ванную комнату купаться. В ванной комнате нашей коммунальной квартиры на Полянке лежал хлам и бегали крысы. А здесь все сверкало, аппетитно гудела колонка. Мама терла мне спину и приговаривала: “Одни косточки – настоящий Кашей Бессмертный”. А потом смывала с меня мыло со словами: “С Ларочки вода, с Ларочки худоба, чтоб здоровенькой была, чтоб маму любила”.

На прощанье Александр Серафимович дарил мне мои любимые коробочки из-под папирос. И самой любимой была коробочка с изображением цыган на крышке: пестрые фигурки поющих цыган, а впереди один из них в ослепительно-белой сорочке с гармошкой.

Однажды мама водила меня в цыганский театр “Ромэн” на пьесу, которая называлась, кажется, “Чудесная башмачница”. Я все ждала, что увижу нарядных цыган с папиросной коробки, а увидела старого башмачника, которого обижала молодая цыганка, его жена, и даже швыряла в него обувные колодки. Я плакала, жалела старика. А на следующий день мама привезла меня в какой-то дом и уже у самой двери сказала: “Мы пришли в гости к Ляле Черной, которая вчера играла жену башмачника”. “Как?! К той грубиянке, которая обижала старика? Нет, нет, ни за что. Я ее ненавижу”, – кричала я, вырываясь из маминых рук. Мама крепко держала меня и испуганно шептала: “Ларочка, золотце, подожди, не кричи. Это хорошая тетя. Она просто играла такую роль”. На шум вышла миловидная женщина в длинном нарядном халате. “Что случилось?” – обеспокоенно спросила она, видя, как я молча, но иступленно вырываюсь, пытаюсь убежать. Растерянная и смущенная, мама рассказала ей, в чем дело. Женщина рас-

смеялась и принесла мне целую горсть конфет. Но я не сдалась. Тогда она присела возле меня на корточки и стала шептать мне на ушко, как она ненавидит эту башмачницу, как не любит ее играть и как ее заставляют. Я слушала и оттаивала. Женщина незаметно расстегнула мне пальто, взяла за руку, провела в комнату, усадила на диван и поставила рядом блюдо с конфетами, которые я сосредоточенно ела, пока они с мамой беседовали...

Давно исчезли маршруты моего детства, но у памяти свои законы, которые позволяют нам с мамой снова сесть в старый звонкий трамвай с кондуктором и проделать долгий зимний путь в Лефортово к маминому будущему мужу. Мы садимся у окна: я спереди, она сзади. Дышим на заиндевшее стекло, отогревая кружочек для просмотра. И мама, наклонившись к самому уху, принимается за наше обычное занятие: рассказывает, вернее играет, очередной спектакль. Сегодня это “Пигмалион”. Мама играет все роли, меняя голос, выражение лица и, как я поняла позже, подправляя на ходу оригинал, чтоб получилось трогательнее, интереснее и понятней. “Вот ваши туфли, и вот”, – в бешенстве кричит Элиза. “Элиза, вы дура”, – холодно и невозмутимо отвечает Хиггинс. По дороге обратно из Лефортова домой Элиза и Хиггинс мирятся. Хеппи-энд. И мой нетерпеливый вопрос: “Что дальше?” Дальше “Школа злословия”, а потом в сотый раз мой любимый спектакль “Давным-давно”. “Пусть я зовусь юнцом безусым”, – поет мама. Я знала все реплики и песни и все же просила маму сыграть спектакль сначала до конца без пропусков и сокращений. Позже, увидев эти пьесы в театре, я ревниво и придирчиво следила за сюжетом и актерами. Мне казалось, что мама все делала лучше. Единственное, чего она не могла, – это изобразить постепенно гаснущую люстру и медленно раздвигающийся занавес. И за это волшебство я навеки полюбила театр. Когда я была маленькой, поездки с мамой были лакомством, праздником. Это потом мне стало в тягость всюду ездить с мамой, подчиняться ее воле, прерывая собственные занятия, бросая книги, друзей. А не поехать означало обидеть маму, увидеть, как она ушла, обиженно закусив нижнюю губу. Не поехать означало долго жить под гнетом ее обиды, под током высокого напряжения. Но в раннем детстве я была маминым хвостиком. А зимой и маминой грелкой вдобавок. Она сажала меня к себе на колени, и я грела ее пушистой белой шубой. Мы долго ехали с Большой Полянки мимо кинотеатра “Ударник”, мимо Дома правительства, мимо библиотеки Ленина. И, сидя у мамы на коленях, я громко по складам читала вывески: “Па-мир-ка-хер-ская, бли-бли-о-те-ка”.

Несколько лет спустя я совершила свое первое самостоятельное путешествие по тому же маршруту от дома до Пушкинской площади, где был расположен Радиокomiteт, куда удалось устроиться маме по ходатайству Эренбурга. Мама долго готовила меня к этому путешествию, водила на остановку, с которой мне предстояло уехать, объясняла, где сойти и на какой скамейке в сквере сидеть и ждать ее. Но настал великий день, я пошла на ту остановку, на которой привыкла встречать маму после работы, села в троллейбус и долго ехала в противоположном направлении. А заметив это, стала тихо плакать. Сердобольная женщина расспросила меня обо всем, взяла за руку, вывела из троллейбуса, перевела на другую сторону и посадила в нужный троллейбус. Я приехала к маме, но с большим опозданием. Она судорожно прижимала меня к себе, тормошила и плакала: “Ведь я тебе все объяснила, дрянцо ты этакое, шимпанзе беззубое. Золотце мое ненаглядное”.

...Мама, где ты? Куда ты делаешь? Как это может быть, что тебя нет?

“Девочка моя, золотце мое ненаглядное, – шепчешь ты, прижимая меня к себе, и тихо плачешь, отвернувшись от соседок по больничной палате. – Что тебе сказал врач?”

Что сказал врач? Врач сказал: “Ваша мать – умирающая больная. Ходите почаще”.

– Врач сказал, что проведут курс лечения, и тебе сразу станет легче, – говорю я вслух. – Только тебе надо набраться терпения. Лечение тяжелое. От него слабость и тошнота.

– Да, такая слабость, что голову поднять нет сил. И волосы лезут страшно.

Ну ничего. Пусть лезут. Лишь бы мама у меня осталась.

“Тяжело дышать”, – говоришь ты. Серое лицо, бескровные губы – ты ли это?

Ты – золотистые волосы, яркие глаза. Тебе так шли длинные серьги, пестрые платья. Ты любила праздники, новогоднюю ночь, бенгальские огни, музыку, танцы. Ты любила в новогоднюю ночь ездить из гостей в гости, неожиданно появляться в длинном вечернем платье с конфетти в волосах, произносить шуточный тост, танцевать игривый танец и, сопровождая себя на рояле, петь любимую песенку: “Нашел я чудный кабачок, кабачок. Вино там стоит пятачок, пятачок”.

Ты была нарасхват. Все приходило в движение, когда ты появлялась. “Белла, станцую? Беллочка, твоё здоровье!” – несло со всех сторон.

Взгляды, взгляды, взгляды. На тебя всегда смотрели в транспорте, на улице, в театре. Была ли ты красивой? Не знаю. Когда как. Ты часто была измученной, усталой.

“Расчешись. На кого ты похожа!” – просила тебя бабушка. “Оставь, мама. У меня нет сил”. Ты часто рассказывала, как во время очередной чистки на партсобрании в Радиокomiteте кто-то сказал: “Посмотрите, в каком виде коммунистка Фаддеева приходит на работу. Почему она так взлохмачена? Пора присмотреться к этой лохматости”. Ты и на радио работала с утра до вечера, стуча на машинке, правя написанное, отвечая на вопросы радиослушателей, приглашая кого-то на запись. “Ну что вы, Белла, это совсем не туда пошло. Совсем не туда, – твердила на ломаном русском языке твоя начальница финка Сайми, возвращая тебе твою статью. – Надо сократить”.

“Невольный сын эфира”, – говорила ты о себе. Помню, что я всегда удивлялась, почему сын и откуда ты взяла эти слова.

Вот маленький снимок, на котором мы с тобой сфотографированы после ноябрьской демонстрации на Малом Каменном мосту. На обороте карандашом написано:

“1949”. Рядом с нами твоя начальница и еще кто-то. Я любила ходить с тобой на демонстрации. Пестрая, разноязыкая колонна иностранцев, поющих песни на разных языках. “Ларочка, – говорил мне влюбленный в тебя высокий, стройный швед Сикстен, – хочешь, я тебе куплю палька, такая длинна-длинна палька, две палька кататься зимой?”

Все пели, и мы с тобой пели: “С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс “Осенний сон” играет гармонист...” Вот они – ноты моего детства, пожелтевшие разрозненные листки. Песни времен войны, изданные на серой бумаге в 1945 году. “Смерть немецким оккупантам” – напечатано на обложке сверху. “Стеклография ЦДКА” – напечатано снизу. “Американская солдатская песня” – посередине той страницы, где про “чудный кабачок”.

Вот ноты, казавшиеся мне столь таинственными в детстве: на обложке, – белое лицо, похожее на маску, трагически сдвинутые темные брови, белое жабо. Сверху белыми буквами на черном фоне: “Песни Вергинского”. “Ах, солнечным, солнечным маем, на пляже встречаясь тайком, с Лулу мы как дети играем, мы солнцем пьяны, как вином”, – поешь ты, сидя за нашим стареньким “Беккером”. Окно нараспашку. По комнате летает тополиный пух. За окном цветет сирень. Необычно теплый май. Твой день рождения. Комната полна гостей. От ветра качнулась занавеска. Нотный лист упал на твои смуглые худые пальцы. Кто-то подхватил его и поставил на пюпитр.

“Ну погоди, ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик пай. Ведь любовь наша только шуточка. Ее выдумал глупый май...”

Сегодня снова май. Скоро день твоего рождения. Всюду продают сирень – твои цветы.

Приходит Верочка-Верушка,
Чудная мамина подружка.
Она несет большой букет.
(Сегодня маме тридцать лет.)
Несет большой букет сирени,

А он подобен белой пене,
Такая пышная сирень.
Я с белым бантом набекрень
Бегу... Гори, гори, не гасни,
Тот миг... И розочку на масле
Пытаюсь сделать для гостей...
Из тех пределов нет вестей,
Из тех времен, где дед мой мудрый
Поет и сахарную пудру
Неспешно сыплет на пирог.
И сор цветочный на порог
Летит. И грудой белой пены
Сирень загородила стены.

Как я была богата. У меня были бабушка, дедушка. Сегодня есть отчим, которого я называю папой уже тридцать лет. Сегодня он больно ранен маминой смертью. Сегодня он одинок и растерян. Сегодня он спасается хлопотами по раздаче старых вещей. Сегодня он покупает продукты, волнуется за моих детей, занимается географией с моим старшим сыном и ждет нас в гости. Сегодня он единственный человек, которому я могу позвонить в черную минуту и сказать: “Папа, я не могу привыкнуть, что мамы нет, не могу смириться...”

“Ну что делать, деточка, – говорит он мне, плача. – Ну что делать? Я буду помогать тебе чем могу. Все сделаю, но я не могу вернуть тебе маму”. Живи долго, папа. Живи долго.

Май 1983 г.

* * *

А за окном твоей палаты
Случались дивные закаты,
Стояло дерево без кроны,
Летали галки и вороны.
Начало марта, хмарь, ненастье,
И ты мне говорила: “Счастье
Смотреть в окно на стаю эту”.
Вот счастье есть, а мамы нету.

* * *

Маме

Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Я то и дело к тебе возвращаюсь
Утром и вечером, днем, среди ночи,
Выбрав дорогу, какая короче.
Я говорю тебе что-то про внуков,

Глажу твою исхудавшую руку.
Ты говоришь, что ждала и скучала...
Наш разговор без конца и начала.

* * *

О память – роскошь и мученье,
Мое исполни порученье:
Внезапный соверши набег
Туда, где прошлогодний снег
Еще идет; туда, где мама
Еще жива; где я упрямо
Не верю, что она умрет,
Где у ворот больничных лед
Еще лежит; где до капли,
До горя целых две недели.

* * *

Маме

Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.

Папа Миша

Года в четыре мне очень нравилось играть с фотографией, на которой я, годовалая, сижу на руках у отца. Нравилось мять эту карточку, разглаживать, рисовать на ней цветными карандашами. Фотографию отбирали, но я снова находила ее и мучила.

Дома мне говорили: “Папа Миша пошел на фронт добровольцем. У него было слабое зрение. Он погиб, подорвавшись на mine”. “Папа Миша тебя очень любил, – говорила бабушка. – Он держал тебя бережно, как хрустальную вазу. У него были длинные, тонкие, музыкальные пальцы”.

Когда я стала старше, то пожалела, что исчеркала фотографию, на которой папа держит меня своими “длинными, тонкими, музыкальными пальцами”. Я так долго рассматривала его руки на снимке, что мне начинало казаться, будто пальцы вздрагивают. Интересно было изучать его лицо, коротко стриженные волосы, очки, улыбку, себя в каком-то комбинезоне с пуговками, вазу, зеркало, ковер – весь далекий неведомый фон младенческой, довоенной жизни, в которой папа Миша держал меня как хрустальную вазу и придумывал мне всякие имена: Ларчик-самоварчик, Лариска-матриска, Ларчонок.

Что еще у нас осталось от той жизни? Вот карточка, где мама с папой на Черном море. Это – до меня. Мама в широкополой соломенной шляпе, смуглая, в полосатом купальнике. Папа худой, очкастый. Оба лежат у самого берега и смеются: волны, брызги, морская пена. На карточке застыли потеки и капли светло-зеленой масляной краски. Наверное, следы довоенного ремонта на Большой Полянке, где жила моя семья.

Я подолгу изучала все отцовские фото. Вот маленькое фото на удостоверении газеты “Тагильский рабочий” со штампом 1934 года.

Вот фотография, где он снят в военной форме. Отец сидит, а мама стоит рядом. Они смотрят друг на друга и улыбаются.

Когда я повзрослела, наши книжные шкафы на Полянке стали таинственным миром, в котором я пропадала часами. На форзаце многих книг было написано “М. Миллер”.

Эти книги казались мне загадочными, как и все связанное со странными, хотя и привычными словами “папа Миша”. Загадочными были “Илиада” и “Одиссея” – толстые, громадные тома с фантастическими картинками; маленькие сборники стихов со странными названиями “Белая стая”, “Зеленый Вертоград”, “Иверни”. Причудливые наименования издательств – ОГИЗ, ГОСЛИТ, ГРИФ, АЛКОНОСТ – только добавляли таинственности книгам. Вот том в темном переплете. На обложке – ни слова. На форзаце сверху – гирлянда роз с шипами, а ниже написано шрифтом с буквой ять: Александр Блок, “Земля в снегу”, и совсем внизу – “Третий сборник стихов”, изд-во журнала “Золотое руно”. В середине страницы была стерта какая-то карандашная надпись. Я долго пыталась прочесть, что там было написано, и наконец разобрала: “Стихи на бумаге. Снегу больше, чем земли, а бумаги – чем стихов”. Кто сделал эту надпись и кто стер, я не знаю. Но надпись эта волновала меня в детстве едва ли не больше, чем сами стихи. Хотя и стихи я перечитывала по многу раз, особенно те, рядом с которыми были карандашные пометки: черточки, галочки, скобки. “Ты твердо знаешь, в книгах сказки, а в жизни только проза есть”, – читала я строки, отчеркнутые карандашом.

Однажды я увидела драгоценные книги, сложенные штабелями на полу: мама ждала букиниста, чтоб продать кое-что, готовясь к переезду с Полянки. Это было в 1952 году. Я в последний раз листала “Илиаду”, “Одиссею”, жутковатый альбом Босха, книгу, посвященную не помню какому юбилею Театра сатиры. Я любила ее за обложку, украшенную смеющимися лицами всей труппы. Несколько дней книги лежали на полу, и я присаживалась рядом с ними на корточки и листала, листала...

О папе мне мало рассказывали дома. Я знала, что он любил стихи, что был застенчив, худ и высок, носил очки, которые я пыталась сдернуть с него, когда он брал меня на руки. Он не позволял, и я громко кричала. Тогда, чтоб меня не расстраивать, он специально покупал дешевые чашки и, когда я пыталась сорвать с него очки, подсовывал мне чашку, которую я разбивала вдребезги, визжа от восторга.

Как странно было читать свое имя в его письмах с фронта: “Вот разобьем фашистов, и я вернусь к Ларчонку”.

Одно время мне казалось, что папа жив, и я настойчиво вглядывалась в лица прохожих, надеясь увидеть его в толпе. Странно, что мне так не хватало его. Почти ни у кого из девочек нашего класса не было отца. Моя семья была даже больше, чем у многих: мама, бабушка, дедушка. Существовали папины сестры и брат, с которыми мы, правда, виделись редко. И все-таки я ждала отца, искала в толпе, сочиняла истории о нем. Мне не хватало его всегда – и особенно остро, когда случались ссоры в семье, когда маму уволили с работы, когда мы ходили с ней по улицам и читали объявления о найме, когда меня дразнили во дворе...

Я любила бывать в доме отца на Арбате, где после войны жили его родные, в длинном доме с круглой башней – бывшем доме Моссельпрома. Я и сейчас показываю детям этот дом, в котором уже давно не живет никто из моих родственников. “Смотрите, вон дом папы Миши”, – говорю я им. Отец мне никогда не снился в детстве и впервые приснился лет пять назад. Мне очень многое хотелось сказать ему, но губы не слушались, потому что нам было отпущено мало времени: он был ранен в висок. Из раны тонкой струйкой шла кровь. Кто-то хлопотал возле него, пытаясь остановить кровь, но кровь шла и шла, и становилось ясно, что рана смертельна. Он был бледен, но безмерно счастлив нашей встрече. Он держал мою руку и спрашивал о чем-то слабым голосом. Я хотела ответить, но внезапно проснулась. Пробуждение было страшным, потому что не стало отца, которого я ждала всю жизнь, дождалась и снова потеряла, так и не успев ничего сказать ему. Этот сон долго не отпускал меня.

И вот, спустя тридцать шесть лет после смерти отца, в 1978 году я случайно встретила с человеком, который был с отцом на фронте и говорил с ним накануне его гибели. Это был Наум Мельман (Мельников), который до войны тоже учился в Литинституте. Он рассказал мне об отце то, чего я не знала. Он рассказал мне, что познакомился с отцом в Куйбышеве во время войны, что отец рвался на фронт, но его не брали из-за плохого зрения; что ему в конце концов в обход всех комиссий удалось попасть в армейскую газету, где работал Мельман. Отец был помощником ответственного секретаря и большую часть времени проводил в типографии. Работы было много. Когда же выпадала свободная минутка, он любил что-нибудь напевать себе под нос или читать вслух стихи. Стихов он знал великое множество и мог читать их часами. “Жил он стихами и музыкой, а точнее в стихах и музыке, а еще точнее – казалось, и стихи, и музыка писались для него одного”, – рассказывал мне Наум Дмитриевич.

И еще он жил мамой, которую любил безумно. Эта любовь стоила ему жизни. Однажды, узнав, что с фронта в Москву идет машина, отец и один из его приятелей решили съездить в Москву, чтоб повидаться с родными. Командировки в Москву были делом обычным для редакции. А в тот момент их отлучка могла пройти незамеченной, потому что в типографию попала бомба и газета временно не выходила. Отец, как человек безнадежно штатский, не видел в этой мальчишеской затее ничего страшного. Приехав в Москву, папа не сразу разыскал маму, которая, работая в журнале “Красноармеец”, часто ездила в командировки. Отец пробыл в Москве три или четыре дня. Из Москвы в Ядрин, где жили его родители и сестры, полетело счастливое письмо:

“Мои дорогие! Творятся чудеса – пишу вам из самой Москвы!.. А рядом со мной сидит как вы думаете кто? Беллочка!..” Это письмо я прочитала совсем недавно. Его передала мне незадолго до своей смерти сестра отца, с которой он очень дружил. У мамы же были сложные отношения с его родными, и поэтому я виделась с ними нечасто.

Так постепенно отец начал возвращаться ко мне. Он возвращался через рассказы Мельмана и других людей, с которыми учился в Литинституте, работал в Литгазете или служил в армии.

“Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях, – написал об отце один из его лучших друзей-сокурсников. – Перечитываю теперь книжки поэтов, которых когда-то читали вместе, и передо мною встает образ “первооткрывателя” – совсем еще юного Миши Миллера. Всегда думаю о нем с обожанием и признательностью... Живописью он увлекался самозабвенно”.

“Он был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть. Замечу при этом, вкус к поэзии у него был безупречный. А Пастернаку он готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно”, – так писал другой его приятель по институту.

А Наум Дмитриевич рассказывал мне: “В день моего рождения Миша подарил мне книгу стихов Пастернака в серо-голубом супере. Я не хотел брать, потому что это была единственная книга, которую он взял на фронт. “Бери, – настаивал он. – Из этой книги я все помню наизусть, а ты нет”.

Отец возвращался ко мне и через письма, которые дала мне моя тетя, через ее рассказы о любимом младшем брате Меличке. Она была смертельно больна, настоящее воспринимала туго, зато прошлое помнила до мельчайших деталей. И, когда она говорила об отце, казалось, что он жив и скоро вернется.

Спустя много лет я шла по его следу. Беседовала с теми, кто знал его в разные годы. Говорила и с Анатолием Михайловичем Медниковым – с ним отец пережил самое страшное время в своей жизни. С трудом, с болью вспоминал Анатолий Михайлович то, что произошло зимой 1942 года.

Об их самовольной отлучке в Москву узнал политработник газеты и потребовал трибунала. Это было время, когда вышел указ Сталина об усилении дисциплины в армии. Отца и его приятеля судили и приговорили к смертной казни. “Трибунал заседал в большой избе, – вспоминал Мельман. – Я вижу Мишу со спины, его бритый затылок. Он в шинели без хлястика и ремня. Хлястик срезали, ремень отобрали. И очки тоже. Помню его последнее слово. Он сказал только, что хотел бы честно посмотреть в глаза дочери”. После трибунала осужденных отвели в избу, которая служила тюрьмой, а через некоторое время отправили в Калужский централ. Там в камере смертников они провели девяносто дней. Камера помещалась на втором этаже и была заполнена самыми разными людьми. Каждую ночь кого-то уводили на расстрел, что часто сопровождалось истерикой и криком уходящих и остающихся.

На папу и его друга в камере смотрели с удивлением. Они занималась странным делом – читали друг другу лекции: папа своему приятелю – по литературе, музыке, кино, а тот ему – по математике и другим точным наукам. Они даже справили там день рождения папиного друга. И папа подарил ему половину своей дневной порции зерна, размоченного в воде, – единственной пищи, которая им полагалась.

Прошло три месяца, и наконец осужденных вызвали и повели на первый этаж. Они не знали, что их ждет. Сразу после приговора была послана апелляция на имя Калинина, но решение было неизвестно. С некоторых пор, чтобы избежать криков в общей камере, смертников стали уводить из нее заранее в специальную камеру на первом этаже. Конечно, заключенные знали, где эта камера. Знали об этом отец и его друг. Дорога казалась долгой. Сорок с лишним лет спустя Анатолий Михайлович рассказывал мне об этой бесконечной минуте срывающимся голосом: коридор, лестница, коридор. Все ближе и ближе ТА дверь. Заведут ли в нее или проведут мимо? Их провели мимо. Апелляцию удовлетворили: смертный приговор был заменен десятью годами с пребыванием на передовой.

Друзей отправили на фронт. Вернее, в лагерь под Йошкар-Олу, а оттуда с арестантской ротой на передовую. Их везли через Москву. Эшелон стоял в Москве несколько часов, и отцу снова, в последний раз, удалось увидеться с мамой. Это была их последняя встреча. Рассказал ли он ей, что пережил, я не знаю. И спросить не у кого. В письмах в Ядрин родителям и сестрам отец писал, что был ранен, лежал в госпитале и потому молчал. Письма, которые он писал маме с фронта, пропали. Одноделец отца говорил мне, что отец держался очень мужественно. И лишь в лагере, когда стал пухнуть с голода, стал нервничать, что его не возьмут на фронт. Но на фронт он попал и даже чудесным образом опять встретился с Мельманом. “Часть лета, всю осень, вплоть до ноября, Миша вместе с Толей (Медниковым) писали историю 326-й дивизии, – рассказывал Наум Дмитриевич. – Их любил комиссар и не считался с тем, что они осужденные. В ноябре история была написана, комиссара отозвали в Москву, а Мишу с приятелем отправили в резервную роту”. В первом же бою отец погиб. Это произошло 26 ноября 1942 года. Ему было двадцать восемь лет.

Теперь я понимаю, почему мне так скупо рассказывали дома об отце, избегали называть имена его фронтовых друзей. Мои близкие панически боялись проговориться, боялись выболтать то, что мне не следует знать. Боялись ради меня, ради моего будущего. И с детства я слышала только одно: “Папа Миша пошел на фронт добровольцем и погиб, подорвавшись на mine”. Сколько помню себя, столько помню эти слова. Много раз в детстве я представляла себе минное поле, почему-то непременно покрытое снегом, и отца, почти слепого, в очках, совсем одного, идущего через поле. И вдруг взрыв... Что дальше, я не умела вообразить. Тут я останавливалась и начинала представлять все сначала: белое поле, одинокая фигура отца, медленно идущего навстречу своей гибели. Его гибель – катастрофа моей жизни. Я потеряла родного человека, близкого мне не только по крови, но и по духу. Гадать, как бы сложилась моя жизнь, будь жив отец, дело пустое. Только случай помог мне узнать все, что я узнала, по-настоящему открыть его для себя. Случай или судьба. Я должна была пройти по следу, встретиться с теми, кто помнит отца, прочесть письма, которые не читала прежде, и через сорок три года – то “роковое” письмо, которое он написал после приговора и чудом передал из тюрьмы своим друзьям 24 февраля 1942 года. Все эти годы письмо хранилось у Даниила Данина¹. Текст этого письма Даниил Семенович приводит в записках об отце, написанных по моей просьбе в мае 1985 года.

Милая Лариса!

Вы хотите, чтобы я написал то, что помню о вашем отце. Попробую. Но странно подумать, что прошло 43 года с того дня, когда в заснеженной деревушке Дача – заовражной окраине Мецовска – мы безнадежно обнялись в минуту его насильственного ухода в неизвестность. Время стояло суровое – военная зима 1942-го. Наше наступление, начавшееся в декабре 1941-го под Москвой, остановилось. Его поступок – поездка в Москву на попутной – выглядел бы в иных обстоятельствах простительно мальчишеским порывом. Но тогда обернулся беспощадно наказуемым своеволием – “дезертирством на двое суток”. Я и сейчас слышу, как откидывались обеляющие слова “на двое суток” и оставалось только лишенное смысла, гибельное слово “дезертирство”. Все понимали, что это значит. И потому безнадежным было прощальное объятие. Не могу уже вспомнить, через кого и как он передал нам письмо, написанное плохо очиненным карандашом на листах бумажного срыва, – семь страничек отчаяния, душевной чистоты и веры в дружбу. На тусклом конверте без марки было написано: “Данину, Мельману, Аграновичу, Григорьеву”. Я приписал в нижнем правом углу конверта дату – “24 февраля 1942 г., Мецовск”. Потом стал обводить синими чернилами по карандашным линиям

¹ Данин Даниил Семенович (1914–2000) – сценарист, прозаик, литературный критик, популяризатор науки, автор книг “Добрый атом”, “Резерфорд”, “Нильс Бор” и других. – *Здесь и далее – прим. ред.*

текст, чтобы письмо в передрыгах сохранилось и почерк уцелел. Но, как вижу сейчас, успел обвести лишь три с половиной странички. Что-то помешало, а что – не помню... Допускаю, что, может быть, он сунул мне это письмо в минуту прощанья, и потому нет нужды догадываться, через кого и как он его передал нам. Адресованное четверым, оно осталось у меня, очевидно, как у старшего (мне было тогда 28 лет, Неме Мельману – 24, Жене Аграновичу и Григорьеву-Белецкому – около того)... Помню, я перечитывал это письмо после войны только однажды, когда мы с моей покойной женой – Софьей Дмитриевной Разумовской – ностальгически разбирали сохранившуюся переписку военных лет. В одной из шести трофейных немецких папочек “Зольдатен Брифе”, изобретенных для подшивки писем, приходивших на фронт, я тогда нашел и Мишин выцветший конверт. Удивительно, что время его сберегло! А сейчас, как обещал Вам, нашел его во второй раз, снова перечитал, и снова – с перехваченным горлом... Но будет, наверное, правильно, если я приберегу текст того письма к концу этих коротких воспоминаний, которым невозможно придать разумной связности: время подвергает память эрозии, и то, что исчезло, не восстановить, иначе оно не было бы исчезнувшим.

...Мы познакомились летом 1938-го в редакции “Литературной газеты”. Сретенка. Последний переулочек (это не по счету, а просто он так назывался). Старый доходный дом по левой стороне, если идти к Трубной. Была просторная квартира в бельэтаже, перепланированная на комнаты-клетушки. Они шли по периметру квартиры, каждая отбирая для себя одно или два окна, а вместе вырезая из квартирной площади небольшой прямоугольный зал посередине, дневного света лишенный. Там всегда горела незапомнившаяся люстра и настольная лампа освещала рабочее место молодого, чуть рыжевато-го человека в углу, у двери в клетушку отдела критики. Молодой человек тоже являл собою отдел – он был собственным заведующим и единственным сотрудником у самого себя. Короче – главенствовал над перепиской газеты с читателями и графоманами. Оттого-то меня, студента-физика, и привели к нему тем летом несчастливые обстоятельства жизни. Весною 1938-го на Челябинском тракторном был арестован мой отец-инженер. Мать вернулась в Москву. Когда я спросил ее, сколько получал отец, она назвала увесистую для студента-стипендиата сумму. Но в приступе самонадеянного благородства я сказал, что она будет иметь больше: “Возможные передачи и прочее...” Мне пришлось всерьез искать внештатную работу: не хотелось бросать университет, да и никто не принял бы меня в штат с репрессированными отцом и старшим братом (тоже инженером). Не помню, кто из литературных друзей – поэтов и критиков – надоумил меня попробовать силы на критическом разборе стихов начинающих. Если память не путает, это обещало рубль или трешку за ответ на графоманское письмо. Думаю, что покойный Женя Бернштейн, почти мой одноклассник, но уже известный к тому времени критик (Евгеньев), постоянно печатавшийся в “Литгазете” и со всеми знакомый, думаю, что, вероятнее всего, он порекомендовал меня, своего старого приятеля по бригаде Маяковского, “прекрасному и вдумчивому парню Мише Миллеру”. Эта формула – “прекрасный и вдумчивый парень” – запала мне в память, потому что ее не раз повторяла позднее Мишина соседка по редакции – “графиня Разумовская”, как он ее называл, – сидевшая за стеной в отделе критики.

При первой нашей встрече, – поденичника и работодателя, – полуосвещенный работодатель встал, оказался такого же роста и такой же худобы, как его будущий поденичник, приветливо сказал: “А-а, это Вы!” – и протянул мне руку над неустойчивой грудой приколотых к конвертам писем. Кто-то из нас, или мы оба, совершил или совершили неловкость: груда полетела на пол. Дальше мы говорили, сидя на корточках и собирая рукописи. Может быть, поэтому, когда мы выпрямились и уселись визави, появилось чувство, будто мы уже издавна знакомы и успели надежно испытать друг друга на верность. Мы еще оставались на “вы”, но уже перешли на имена. (И я до сих пор не знаю, как звали Мишу Миллера по отчеству.) Запомнились из того разговора две подробности. Одна милая, но маловажная. “Вот это – ваши золотые россыпи”, – сказал Миша, накрыв ладонью собранную грудку стихов. Другая подроб-

ность была существенней и нашими улыбками не сопровождалась. Дабы никого не подвести – ни рекомендателя, ни работодателя, – мне надо было в какой-то форме сказать, что мой отец сидит. И для смягчения этой моей недоброкачественности добавить, что дело его разбирается и, вероятно, он будет освобожден как ни в чем не виноватый... Я начал: “Миша, мне надо вас предупредить...” И тут он сразу прервал меня, понизив голос: “Я знаю, но анкету вам заполнять не нужно, только не распространяйтесь об этом...” Лишь те, кто сегодня числится в старших поколениях, могут по достоинству оценить тот его поступок. Потому что это был ПОСТУПОК, а не деталь разговора двух молодых людей.

Позднее, когда через три с половиной года судьба свела нас в редакции армейской газеты 10-й армии, в зимних Сухиничах и белом Мецковске, мы припоминали, как началась наша дружба. Я рассказывал ему, что отец мой на свободу так и не вышел, а умер в тюремной больнице, будучи заключенным “без дела”, то есть не успев дожидаться возбуждения дела против него, так что следователь переслал матери даже все отцовские документы и оставшиеся при нем деньги! Миша говорил тогда, и я был с ним согласен, что это освобождает меня от обязанности упоминать в анкетах об аресте отца: “Можешь просто писать – умер в Челябинске осенью 1938 года”. (Если бы Миша дожид до середины 1950-х годов, он узнал бы еще одну прихоть нашей жизни: та смерть заключенного “без дела” лишила моего отца права на посмертную реабилитацию – некого было реабилитировать, некого и не за что... Представляю, как Миша, в манере своей молчаливой вдумчивости, продержал бы минутную паузу, а потом протянул бы: “Да-а, любопытно”.) В Сухиничах или Мецковске я повинился перед ним: рассказал, что в день нашего делового знакомства все-таки хотел скрыть от него вторую половину моей тогдашней семейной недоброкачественности – арест старшего брата, который, к счастью, в январе 1939-го был действительно оправдан по суду и освобожден. Миша сказал: “Мог не скрывать... вот я тебе расскажу...” Последовал его рассказ о таких же бедах той эпохи – не помню, семейных или приятельских, но разыгравшихся вокруг него самого. Тогда подобные разговоры мыслимы были только при безусловном взаимном доверии. Мы испытывали его друг к другу, хотя той весной – неразлучной, домашней, детской – дружеской связи, какая заводится в школьные или студенческие годы, между нами просто не успело возникнуть перед войной. Такая связь возникает и на войне. Она и возникла зимой 1942-го. Да вот, к несчастью, длилась всего месяца два...

(Из наших общих друзей по 10-й армии она у меня длится по сей день только с живым и здравствующим Немой Мельниковым.)

...Вернусь к освещенному столу в Последнем переулке. Зная мои обстоятельства, Миша Миллер щедро подбрасывал в мою долю “золотых россыпей” все новые письма. Вынужденный работать быстро, пока продолжались летние каникулы, чтобы напичкать денег впрок, я приходил часто – за все новыми порциями стихотворного графоманства. Выкладывал из студенческого портфеля предыдущую партию уже казенных стихов. Миша старался перехватить ее у меня еще на весу, чтобы она приземлилась среди его бумаг на нужном месте. И так повелось, что при этом разыгрывалась короткая сценка.

– Не обнаружился ли новый Пушкин? – спрашивал он с притворной надеждой в голосе.

– Пока не обнаружился, – виновато отвечал я.

– А новый Лебедев-Кумач?

– Этого сколько угодно!

В другой раз Пушкин заменялся Маяковским, Блоком, Пастернаком, а Лебедев-Кумач – Жаровым, Демьяном Бедным, кем-нибудь из молодых, дружно нами отвергаемых звонарей или старомодностей. Работодатель был доволен поденичком – прежде всего из-за моего темпа: я ухитрялся за день умерщвлять столько надежд на поэтическую славу, что в ящиках Мишиного стола зримо таяли завалы неотвеченных писем. А это было Мише важно, потому что иные из заждавшихся признания стихотворцев писали жалобы куда угодно – вполне резон-

ные по существу, но опасные по адресу и доносительской демагогии. Но и я, разгребатель завалов, должен был быть осторожен: жалобы мог вызвать и своевременно отправленный ответ, если бывал он избыточно лихим по тону и допускал кривотолкование по аргументации. И поначалу я нередко слышал от Миши: “Послушайте, но так же нельзя – он покаутит нас обоих, надо писать тоньше!” Иногда возникал спор. Миша был спорщиком тихим, однако неумолимым и неодолимым. Когда я по неопытности зарывался, он безошибочно предлагал: “Пусть рассудит графиня Разумовская”. Мы приоткрывали соседствующую с его столом дверь отдела критики, и я тотчас лишался речи: он знал, что при Софье Дмитриевне Разумовской я влюбленно немел. А она, сверх того, неизменно принимала его сторону: “Слушайте Миши – он вдумчивей вас...” Или: “Господи, что вы тут написали! Снисходительный Миша вас просто портит! Попали бы вы в мои руки!” Миша улыбался и уже за своим столом утешающе говорил: “Ладно, все лишнее я вычеркну сам... а Туся прелесть, правда?” Мне казалось – с первой минуты, когда он нас познакомил, – что он сам немножко влюблен в эту женщину с ее легкой походкой, летящими волосами, чуть старомодной красотой и повадкой чеховской “четвертой сестры”. Он всегда улыбался при Тусе, поправлял громоздкие очки, вставал, когда она, скользя мимо его стола, бросала ему что-нибудь милоприветливое на ходу. Говорил, что безоговорочно доверяет ее вкусу, а она, в свой черед, точно то же говорила о нем. Не помню, чтобы он истинно душевно приятельствовал с кем-нибудь еще в тогдашней “Литгазете”...

Однажды в ответ на его улыбочиво-традиционное “Не обнаружился ли новый Пушкин?” я должен был весело признать: “Обнаружился!” Эту историю стоит рассказать, потому что и тут Миша совершил ПОСТУПОК... Летом 1938-го в редакцию стали приходить юмористическибездарные и столь же патетические стихи с припиленными к тетрадочным листкам фотографиями автора. Он подписывался “Я. Пушкин”. Такие же стихи с теми же фото-портретами он присылал в “Знамя” и “Комсомольскую правду”, где они попадали порою тоже ко мне (поскольку я и там занимался ремеслом “литконсультанта” в силу тех же обстоятельств). С маленьких снимков глядело лицо бритоголового дебила, на розыгрыши не способного. На всякий случай, чтобы не пасть жертвой розыгрыша кого-нибудь из друзей-поэтов, я – по совету Миши Миллера и Анатолия Тарасенкова (моего работодателя в “Знамени”) – стихов Я. Пушкина всерьез не разбирал, а только прохаживался по орфографии и нелепой рифмовке. Все звучало вполне безобидно, но, конечно, обидно. И вот стали приходить от обиженного не жалобы, а угрозы разоблачить меня как “засевшего там-то и там-то” врага народа. В ту пору это звучало вовсе не смешно. В конце концов Миша решил послать многоадресному жалобицику официальное уведомление, что консультант такой-то от работы с начинающими отстранен. (И Тарасенков в “Знамени” сделал то же самое.) Пришло ликующее письмо от Я. Пушкина – кажется, последнее. Помню, его ходила читать к Мишиному столу вся редакция. Бедняга признался, что он, действительно наделенный судьбою фамилией Пушкин, стал придумывать стихи год назад, в 1937-м, в честь столетия гибели своего однофамильца, дабы появился на свет наш, советский Пушкин! Миша спрашивал меня, не чувствую ли я себя Дантесом... В общем, история была анекдотическая и незабвенная. Но дежурная фраза Миши “Не обнаружился ли новый Пушкин?” приобрела не очень веселый смысл. И я теперь отвечал: “Слава богу, нет!” Вот то мое мнимое отстранение от работы было по всем тогдашним меркам еще одним ПОСТУПКОМ Миши Миллера. И мы не раз вспоминали его потом...

Миша легко и отзывчиво улыбался, но я совсем не помню его смеющимся или хохочущим. Отчего это было так – не знаю. Он излучал спокойную надежную порядочность. Все знали: он умный и очень цивилизованный. И нет у меня на памяти никого, кто думал или говорил бы о нем дурно. Ему должно было бы хорошо житься на свете. Но живо помню, как он становился неразговорчивым, погруженным в уныние, для посторонних необъяснимое. Вероятно, более

близкие его друзья знали причины. Но его замкнутая повадка в этих случаях была такова, что я не мог решиться, ну, скажем, беззаботно обнять его за плечи и произнести что-нибудь такое бодрящее и необязательное. Помню только, как однажды Туся Разумовская предупредила меня: “Не трогайте сегодня Мишу”. И тихо объяснила, что у него неудача со статьей, которую он попытался написать по ее же просьбе. О чем – вспомнить не могу. Но суть дела была чисто психологической и состояла в том, что он, написав обещанное и даже передав свой текст Софье Дмитриевне, вдруг взял его обратно, решительно и бесповоротно. “А что, действительно получилось плохо?” – примерно так спросил я. “Не знаю, – сказано С. Д., – он не позволил мне ее прочитать!” Меня, уже начавшего тогда печататься в “Литгазете”, это поразило. Оттого, наверное, и запомнилось... Может быть, так объяснялись и другие его “приступы унынья” (не знаю, как сказать лучше)? Может быть, ему, отлично понимавшему, что хорошо и что плохо в литературе, просто не давалось собственное творчество – “не давалось” с его же собственной точки зрения? Он не дожидался чужого суда, а сам вершил его над собой? Это очень похоже на правду... Позднее – в армейской газете 10-й армии – он писал легко и непринужденно. Как все мы – пуляково-газетные тексты. Но страницы фронтовой печати не плацдарм для самовыявления в литературе! Он это прекрасно сознавал и там “не держал себя за руку”.

Вот я вернулся к началу этого письма-воспоминания.

И теперь окончу его печально-обещанным. Он написал нам 24 февраля 1942-го:

Мои дорогие ребята!

Приближается час нашего расставания. Может он произойти неожиданно. И потому хочется заранее сказать вам какие-то теплые, хорошие слова.

Все, что произошло, страшно. Перенесу ли я все это, не знаю – боюсь, что нет. Слишком часто ударяет обухом по голове мысль о дочке, жене, матери. Какое горе на них обрушилось! Отец, муж, сын – дезертир, преступник! Как мне доказать, что это не так? Что мне делать? Пошлют на передовые – бесславно погибну, так и не искупив преступления своей кровью. Какой уж из меня герой! Посадят – тогда уж совсем смерть. Так хотелось бы работать, “служить у вас хотя б швейцаром”. Но ведь никакой работы не доверят! Одним словом – конец, страшно нелепый и неожиданный. Вот как бывает, дорогие!

Сколько бы мне ни оставалось жить, быть может, совсем немного, я всегда буду помнить вас, мои родные. Ведь вы единственные люди, которые понимают, верят – я не преступник, не авантюрист. Я несчастная жертва этого злосчастного кипнисовского бардака², будь он трижды проклят! Я всегда буду помнить такое ваше теплое участие в эти тяжкие для меня дни, я всегда буду помнить все хорошее, что было в нашей совместной двухмесячной жизни – поезд Куйбышев – Кузнецк, твои песни, Женя, Нижний Посад, приезд Дани и еще многое, многое.

Друзья мои, дорогие! Всем, кто помнит меня, объясните, что я не преступник, что все происшедшее – страшная моя ошибка. Если у меня будет хоть какой-нибудь адрес, давайте его всем, кто захочет мне написать... Это будет единственной моей радостью в жизни. Объясните всем – я стал жертвой нашей общей любви к Москве. Я не подумал, что именно во имя этой любви не должен был совершать свой мальчишеский преступный шаг. Теперь, наверное, никогда больше Москвы не увижу.

Но главное не это. Главное – дочь, жена, мать. У меня к вам три просьбы, ребята. Быть может, одна из них слишком серьезна. И все же умоляю вас: во имя дружбы выполните и ее.

1. Напишите коллективное письмо жене. Объясните обстановку в редакции, объясните, что я не преступник. Одним словом, найдите такие слова, чтобы хоть как-то смягчить ее горе. Надеюсь на тебя, Даня, в первую очередь. Письмо лучше послать с оказией. По почте не дойдет.

² Кипнис – фамилия главного редактора фронтовой газеты, в которой работал отец Ларисы Миллер.

2. Моя дочка остается без средств к жизни. Ребята, можете или нет, но вы должны это сделать – это и есть моя самая серьезная просьба – высылать ей по куйбышевскому адресу хотя бы триста рублей в месяц, сколько сможете. И еще одна просьба – делать это как бы от моего имени, иначе родители жены денег не примут.

3. Отвечайте на каждое письмо мне. Знакомым сообщите, что я переведен в другую часть, оттуда напишу. Родителям, сестре, брату напишите то же самое. Но если у меня другого адреса не будет, писать я не смогу, напишите им вторично, объяснив хотя бы вкратце, в чем дело. Иначе они с ума сойдут, не получая от меня писем. Если же у меня будет адрес, все письма обязательно перешлите. Поручаю это тебе, Немочка. В письме Белле напишите, что деньги я дочке буду посылать – сколько смогу. (Я имею в виду, конечно, ваши деньги.)

Вот три просьбы. Еще раз умоляю не забывать о них никогда.

Чем жить так, как мне предстоит, лучше совсем не жить.

Но все же попробую. Если окажется все бессмысленным, то выход будет один. В этом случае не осуждайте меня, а поймите. И вспоминайте, был такой Миллер, в общем, неплохой мальчик, любил жизнь, не всякую, а именно нашу, советскую, желал счастья своей стране и всегда старался чем мог помочь строительству этого счастья, любил книги, музыку, ненавидел войну и стал нелепой жертвой ее... Если не доживу до победы, а, наверное, не доживу, желаю вам дожить до нее и в какой-нибудь мирный день вспомнить и обо мне. И еще желаю не становиться жертвой своих мальчишеских желаний. В наше суровое время это не прощается.

Пишу какие-то розовые слова, а на душе дьявольщина, иногда кажется – мозг не выдержит.

Может случиться и это. Еще раз умоляю сделать все, о чем прошу. Не забывайте меня. Помогите и лично мне, если сможете. Уверен в вас. Крепко обнимаю, целую вас, Даня, Женя, Нема, Толя.

Ваш Миша.

Если окажетесь в М., обязат. повид. Беллу.

Вот перепечатал я это трагическое письмо с “петлей на шее”, и надо бы что-то прибавить. Но остальное вы уже знаете сами. Тяжело на душе не только от воспоминаний. У меня есть ощущение нечистой совести: в памяти не сохранилось ничего, что давало бы ответ на мучительный вопрос – как мы четверо исполнили просьбы Миши? И главную из них – как долго посылали мы деньги Вам, крошечной, и как это делалось? Редакцию вскоре разогнали – все по той же причине. Мы подали коллективный заступнический рапорт начальнику политотдела армии полковнику Пономареву (думаю, что я не путаю фамилии). И тогда впервые узнали, что коллективные рапорты в армии запрещены. Была политически осуждена вся обстановка в “кипнисовском бардаке”. Нас отправили в разные места. Нема Мельников попал в дивизию нашей армии. Мне пришлось уехать в резерв ПУРа³. Жене Аграновичу – не помню куда. Существовало, что уже в апреле – мае мы не были вместе. Каждый что-то делал, чтобы Мише помочь, но усилия эти были тщетны (смешно и наивно было бы полагать, что они сыграли хоть какую-нибудь роль в замене смертного приговора отправкой Миши и М. на передовую). Я связался с Маргаритой Алигер и просил ее все рассказать Фадееву (который хорошо знал Мишу), дабы А. А. что-нибудь предпринял. В 1949-м, когда меня исключали из партии за космополитизм, к мои винам была прибавлена “защита дезертира во время войны”. (Это сделал отнюдь не Фадеев, а критик Даниил Романенко, который весной 1942-го расследовал всю эту историю в нашей редакции по поручению Политуправления фронта и от кого-то узнал о моей попытке привлечь к заступничеству А. А.) Помню еще, что я виделся в Москве с Беллой –

³ ПУР – Политическое управление рабоче-крестьянской Красной армии.

раз или два. Все ей рассказал, но дружеские отношения у нас с ней почему-то не сложились. Мишиного письма я ей показывать не мог, потому что папочек “Зольдатен Брифе” – трофеей 1942 года – с собою в командировки не возил. (Кстати, такие папочки, взятые в разбитом немецком бронетранспортере под Сухиничами, были и у Миши.) И естественно, задавать вопроса о деньгах я не мог бы, а говорила ли она о них хоть что-нибудь – не помню. Боюсь, мы выполнили ту Мишину просьбу раза два-три, не больше, словом – пока были еще вместе. А может быть, и дольше, но как это происходило – уже не вспомнить.

Недавно я спросил об этом Нему Мельникова (в тот вечер, когда нашел и перечитал Мишино письмо). Ничего внятного и он припомнить не смог. Меня только утешает, что ощущения нечистой совести по этому поводу во время войны я не испытывал. Значит, что-то доступное нам мы все-таки делали... А если провинились, прощенья у Миши уже не попросишь. Прошу его у Вас.

Мая 85
Д. Данин

* * *

Отцу

Письмо, послание, прошение
От потерпевшего крушение.
Письмо, послание, призыв
От гибнущего к тем, кто жив.
Из заточенья, из неволи
Сигнал смятения и боли,
Мольба, отчаяние, крик...
Я устремилась напрямик
На голос тот. Но вышли сроки,
Оставив выцветшие строки
Про горе и малютку дочь...
Мне сорок пять. И чем помочь?

* * *

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжело виновато,
Что карало без вины,

Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

* * *

Я встретила погибшего отца,
Но сон не досмотрела до конца.
Случайный шорох помешал свиданью.
Прервал на полуслове, и с гортанью
Творилось что-то... тих и близорук,
Он мне внимал растерянно... И вдруг
Проснулась я, вцепившись в одеяло:
Отца нашла. Нашла и потеряла.

* * *

А тогда, на начальном этапе,
Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нем ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нем без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

И всем, чем дышалось...

Когда я думаю о каком-нибудь поэте, то в памяти моей (правда, весьма слабой на стихи) прежде всего возникают не строки, а звучание, не слова, а мелодия, ритм, наиболее характерные для поэта. При мысли о Пастернаке слышу вот что: “та-та-ТА-та-та ТА-та-та та-та-ТА-та-та ТА-та...” Слова вертятся в голове, но, лишь порывшись в сборнике, могу их воспроизвести:

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка⁴...

А иногда звучит совсем другое: “та-ТА-та-та та-та-та-ТА та-ТА-та-та та-ТА та-ТА-та...”. Что это? Беру в руки книгу и, полистав, читаю:

В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки⁵...

Пастернаковская музыка богата и разнообразна, но она всегда пастернаковская, и, слыша ее, чувствую, пользуясь словами другого поэта, “сердцебиение при звуке”⁶. И вовсе не потому, что Пастернак для меня самый-самый. У меня не было с его поэзией того романа, какой был в 1971-м с Заболоцким или позже с Г. Ивановым. Напротив, я никогда не могла читать его подряд, быстро уставая от бешеного напора и густой образности. И тем не менее он часть меня.

Кто-то сказал, что невозможно по-настоящему понять поэта, не пожив в его родных краях, не подышав тем воздухом, каким дышал он. Возможно, это преувеличение, но доля истины здесь есть. Пастернаковская поэзия, его московское аканье, его многочисленные гласные, похожие на распахнутые окна, в которые “врывается весна нахрапом” или бесшумно влетает тополиный пух, – это мое московское и подмосковное детство, моя ранняя юность с ее романтикой, захлебом и мгновенными перепадами настроения.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят⁷...

⁴ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Лето в городе”.

⁵ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Земля”.

⁶ Строка из стихотворения Арсения Тарковского “Как сорок лет тому назад...”.

⁷ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Лето в городе”.

Летом 1954 года мы снимали дачу в Переделкине неподалеку от писательского городка, и почти каждый день я приходила на тихую улицу Павленко, чтобы там, не опасаясь машин, учиться кататься на велосипеде. Я доезжала до трансформаторной будки, неуверенно разворачивалась и ехала обратно мимо дачи Пастернака до конца аллеи. И так много часов подряд. Что я знала тогда о поэте, чью улицу изучила до мельчайших подробностей? Да ничего существенного. Только то, что он известный, что в нашем книжном шкафу стоят его сборники, что катаюсь мимо его дачи. Причем с каждым разом все ловчей, быстрее, уверенней. И в конце концов я, как птенец из гнезда, вылетела с тихой и безопасной улицы Павленко на простор, чтоб, пытаясь опередить поезд, с ветерком промчаться по откосу на станцию и встретить маму.

В том же 1954-м, когда мы с мамой прогуливались под летним дождичком, нашу тропу пересек человек в плаще и резиновых сапогах. Мама быстро сжала мне руку, как она всегда делала, когда хотела незаметно привлечь к чему-то или кому-то мое внимание. “Корней Иванович!” – крикнул человек в плаще, подойдя к забору дачи Чуковского. “Пастернак”, – шепнула мама, когда мы отошли на несколько шагов. Вот, собственно, и все мои ранние впечатления, связанные с Пастернаком. Мало? Мало. Но и бесконечно много, если учесть восприимчивый полудетский возраст. Эти “мимолетности” очнулись во мне позже, когда я, сняв с нашей полки сборник, наконец-то прочла:

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всею далью беспредельной⁸...

Но, как выяснилось много лет спустя, в конце 1970-х, с поэзией Пастернака меня связывало нечто гораздо большее, чем полудетские впечатления. Оказывается, “сердцебиение при звуке” – это у меня от отца, которого я не знала. О любви отца к поэзии, и в особенности к Пастернаку, рассказывали мне все, с кем я о нем говорила. “Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях”, – писал мне его бывший сокурсник. “Миша был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть... А Пастернаку готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно”, – вспоминал другой его приятель.

Не потому ли у меня и не случился роман с Пастернаком, что отец “переболел” им еще до моего рождения, оставив мне лишь память об этой “высокой болезни”? Не потому ли я не помню стихов наизусть, что их слишком хорошо помнил отец? Настолько хорошо, что это мешало ему писать собственные, которые он никогда никому не показывал, а впоследствии уничтожил? Не завещал ли он мне, памятуя о своем горьком опыте, это странное свойство – забывая слова, помнить звук?

Поэзия Пастернака – это молодость моих родителей, безумная любовь отца к маме, любовь, толкнувшая его на гибельный шаг. Я написала об этом в воспоминаниях об отце. “Ты – благо гибельного шага”, – написал Пастернак в 1949-м, но я читаю эту строку так, будто она – об отце, о любви, стоившей ему жизни.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,

⁸ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Ветер”.

Ты всегда рассуждаешь по-детски⁹...

А это – о маме. О моей лукавой, взбалмошной, веселой, несчастной маме, которая любила, забравшись с ногами на диван, помечтать вслух, пофантазировать. Ну, хотя бы о том, как в один прекрасный день ей, отлученной в эпоху космополитизма от журналистской работы, вдруг каким-то чудом снова удастся оказаться в своей стихии. И если во время этих грез раздавался телефонный звонок, мама, сняв трубку, произносила коротко и по-деловому: “Редакция”. Конечно же, это была игра, театр для себя, без которого она не могла жить.

30 мая – день маминого рождения, праздник, который всегда отмечался пышно. Хотя бы потому, что комната была заставлена пышными букетами сирени. 30 мая – это гости, звонки, поздравления, музыка, застолье. Так было каждую весну. Так было и в 1960-м. Но на следующий день на столе, с которого еще не успели снять праздничную скатерть, появилась газета, извещавшая о смерти члена Литфонда Пастернака Б. Л. Все смешалось для меня: день рождения, день смерти, ощущение праздника, чувство утраты, поздравительные звонки и звонки, несущие скорбную весть. И все это на фоне сирени – густой, белой, темной, душистой.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой...
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия¹⁰.

Отец, его любовь и гибель, мамины фантазии, ее праздники, ее сирень... При чем здесь Пастернак? Да при всем. Потому-то и возникает у меня особое щемящее ностальгическое чувство, когда я попадаю в его ауру, в его звуковое поле. Именно звуковое, так как звук первичен. На этом настаивают сами поэты:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись¹¹...

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе¹²...

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе...

⁹ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Без названия”.

¹⁰ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Земля”.

¹¹ Отрывок из стихотворения Осипа Мандельштама *Silentium*.

¹² Отрывок из стихотворения Владимира Набокова “Слава”.

Так начинают жить стихом¹³.

“Тьма мелодий”, глубины памяти, колодец времени – все это поток жизни, неиссякаемой и вечной, как стихи.

¹³ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака “Так начинают. Года в два...”.

Глава 3

Роман с английским

Север, юг, восток и запад

Север

Лето 1954-го было особенным. Тем летом я написала свой первый рассказ, научилась кататься на велосипеде, впервые влюбилась и первый раз съездила в Ленинград. “Тебе четырнадцать, – сказала мама, – ты уже большенькая. Можно ехать в Ленинград”. И мы поехали. Бабушка списалась с нашей дальней родственницей Флорой, которая жила со своим взрослым сыном Игорем на Садовой, и та пригласила нас пожить у нее. Первые ленинградские впечатления – огромная коммуналка, серые чехлы на креслах и диванах Флориной комнаты и плотно зашторенные окна:

“Чтоб не выцвели обои”, – объяснила хозяйка. Маленькая, со следами красоты, хриплым голосом и неизменной сигаретой во рту, она обожала и постоянно ублажала своего высокого, стройного сына. Он был с ней груб, но она не обижалась, смотрела ему в рот и сдувала с него пылинки. “В Ленинграде нет девушки, достойной его. Он говорит, что женится на той, которая будет ему под локоток”, – чуть ли не ежедневно повторяла Флора. Она предоставила нам с мамой кровать, на которой мы все две недели спали валетом. Собственно, нам ничего больше не требовалось, потому что мы приходили только ночевать. Мама всегда брала с собой в сумку тапочки и надевала их, когда уставали ноги. Так и вижу, как она ходит в тапочках среди золота, хрусталя и мрамора петербургских дворцов. Вначале я стеснялась, ожидая насмешек, но потом привыкла. За две недели мы обошли все что могли. Мама накупила путеводителей и книжек и читала их мне по дороге. Большой Каприз, китайский дворец, грот, колоннада, ботик Петра Великого, часы “Павлин”, мальчик, вынимающий занозу, – все смешалось в моей голове. Дворцы и парки казались не музеем, а уснувшим царством, в которое мне посчастливилось попасть, чтоб рассмотреть его во всех подробностях: вот какие у них одежды, какая посуда, какие картины и часы. Я погрузилась в чужую эпоху, куда более романтическую и привлекательную, чем моя собственная. Но настоящее потрясение я испытала, когда на каком-то горбатом мостике мама вдруг остановила меня и сказала: “Вот тут ходил Пушкин”. Я посмотрела под ноги и почувствовала слабость в коленках. Тем более что мы постоянно экономили на еде, чтоб побольше увидеть. “Выбирай, один бутерброд с сыром и поездка в Петергоф или два бутерброда без Петергофа”, – говорила мама, когда мы заходили в столовую. Конечно же, я брала один, а второй ела глазами.

Наверное, больше всех дворцов меня поразила дом на Мойке – последняя квартира Пушкина. По-моему, музей тогда только открылся¹⁴. Народу было очень мало – человек пять, не больше. Девушка-экскурсовод повела нас по комнатам, рассказывая о Пушкине так, будто знала все из первых рук. Почти перед самой поездкой я закончила читать Тынянова, жалея, что книга обрывается так рано, в самом начале пушкинской жизни. И вот я попала в ее конец. Когда мы зашли в кабинет Пушкина и девушка заговорила о его последних часах, голос ее дрожал. У меня тоже комок стоял в горле. По-моему, плакали все. Никогда больше мне не встречался экскурсовод, который бы так переживал события более чем вековой давности. Осо-

¹⁴ На самом деле статус музея был закреплен за квартирой на Мойке, 12 в 1925 году.

бое чувство к этому дому осталось у меня на долгие годы. Я мечтала привезти туда своих детей. Когда мне показалось, что мой старший сын уже достаточно большой, я потащила его в Ленинград и привела в дом на Мойке. В маленьком вестибюле стояли толпы. Мы долго ждали, когда выйдет предыдущая группа и можно будет войти. Внутри было душно и тесно. Блеклый голос усталого экскурсовода наводил тоску. Я пыталась поставить сына так, чтоб он хоть что-нибудь увидел и услышал, но бесполезно. При переходе в следующую комнату мы оказались возле дверей, которые служительница тотчас же за нами закрыла: в предыдущий зал вошла другая группа. Я поняла, что, кроме духоты и толчеи, ничего не будет и пора выбираться на воздух. Вдруг я увидела, как мой сын побледнел и стал падать. В это же мгновение за нашей спиной распахнулись двери, и в комнату рухнула женщина из другой группы: ей тоже стало дурно от духоты. Служительница принесла воды, мы посидели у окна и пошли к выходу. Когда еще через несколько лет я приехала в Ленинград с младшим сыном, в дом на Мойку мы не попали: то ли был ремонт, то ли очереди в кассу. Но, помня обморок старшего, я не особенно туда стремилась.

В июне 1954-го, когда мы с мамой белыми днями и ночами бродили по городу, я тоже временами была близка к обмороку. Но прежде всего от избытка чувств и впечатлений. Все, что говорила мама, я понимала буквально: здесь бродил Пушкин, здесь жила Пиковая Дама, а здесь, через этот двор, проходил Раскольников – мама успела рассказать мне этот роман. Отъезд из Ленинграда стал для меня трагедией. Из такого мира вернуться к обычной жизни!

“Давай задержимся хотя бы на день”, – просила я. Это был единственный случай, когда я предала Москву, в которую всегда и отовсюду стремилась и с которой никогда не хотела расставаться надолго.

Юг

На юг ездили с большими чемоданами. Чтоб их закрыть, отчим нажимал коленкой на крышку, а мама, закусив губу, запирала замки. На вокзале брали носильщика и, приказав мне не отставать, почти бежали за ним по перрону, задевая прохожих сумками, которые не поместились на тележку. Экономя деньги, ездили обычно в плацкартном вагоне. Остановившись возле своего вагона, где в ожидании посадки уже стояла толпа, я с завистью поглядывала на соседний купейный или, как его тогда называли, купированный вагон, в который легко и весело ныряли пассажиры. Дорога на юг была долгой, но я любила ездить – лежать на животе на второй полке и смотреть в открытое окно, в которое врвался ветер и вышибал из глаз слезы. Правда, через некоторое время во рту начинало першить, в нос набивалась сажа, а в углы глаз – соринки. И все же весь первый день я валялась на верхней полке. Даже лень было слезать, когда приносили чай. Хотя чаепитие в поезде – кайф особый. Когда вторая полка теряла свою новизну, еда становилась главным развлечением. “Поди посмотри, не несут ли чай”, – говорили мне. И я с удовольствием бежала к титану, чтоб поглядеть, не греет ли проводница воду, не готовит ли стаканы с подстаканниками, не звенит ли ложечками, не высыпает ли на стол аппетитные кусочки рафинада в бумажной обертке. И если да, то из сумки извлекались вареные яички, спичечный коробок с солью, куриная ножка, огурец с помидором – обычный дорожный набор, который вызывал у меня зверский аппетит, отсутствовавший в обычное время. Мама знала это мое свойство и старалась побольше в меня впихнуть за время пути. Была еще одна дорожная радость – рынок во время стоянки, где, по мере того как продвигались на юг, появлялось все больше и больше соблазнов: горячая картошка на широких капустных листьях, малосольные огурчики с прилипшей к ним веточкой укропа, холодное кислое молоко, какие-то лепешки, а еще южнее – яблоки, сливы, дыни. Из поезда высыпали полосатые пижамы и длинные халаты, чтобы, шаркая тапочками и стуча каблучками, устремиться к ведрам, корзинам, кулькам. Щелканье кошельков, возбужденные голоса, беготня по перрону и наконец –

свисток паровоза, взмах флажка и... поехали. Пассажиры со снedy расхотились по вагонам, и начинался пир. Однажды наш сосед, увидев идущего вдоль поезда парня с дынями, протянул в окно деньги и крикнул: “Парень! Дыня! На три рубля!” Поймав трешку, молодой человек поднес к окну дыню, но поезд тронулся, и дыня начала медленно уплывать. Сосед тянул руки, парень – дыню, а поезд набирал скорость. Мы оплакивали дыню до ближайшей остановки, на которой купили другую и дружно съели. А между трапезой и сном играли в “испорченный телефон”, “балду”, “черный с белым не берите” и “виселицу” – это когда надо отгадать пропущенные буквы, пока тебя не успели “повесить”. Одна ножка, вторая, ручка правая, ручка левая, огуречиком туловище, тонкая шейка, круглая голова со всем подробностями. Твои мгновения сочтены, а буквы все не те да не те. Всю дорогу я заставляла маму меня вешать, а когда ей надоедало, уговаривала соседей. В поезде утомляли только жара и грязь. Весь вагон пах туалетом. Этот запах преследовал даже по приезде. Постоянным местом нашего отдыха были Гагры, которым мы изменили лишь однажды, купив путевку в Туапсе, где по ночам кричали шакалы, а в комнату залетала летучая мышь.

О, эти загадочные Гагры, где перед началом каждого сеанса в летнем кинотеатре ставили одну и ту же заигранную пластинку, которую к тому же еще и заедало. “Утомленное солнце нежно с мо... нежно с мо... нежно с мо...” – несло над поселком. Наша хозяйка Вера Николаевна, пожилая дама с короткой стрижкой, ярким браслетом на худом запястье и тяжелыми серьгами в ушах, всегда приятно улыбалась, и лицо ее блестело от крема. Говорили, что она родом из Ленинграда и много лет назад вместе с мужем-профессором обосновалась в Гаграх, чтобы поправить его здоровье. Когда муж умер, она вышла замуж за огромного, тучного менгрела по фамилии Киберия, который до обморока любил оперу Россини “Севильский цирюльник”. Каждый, кто снимал у них комнату, привозил ему пластинки с записью этой оперы. Когда Киберия был дома, он обычно сидел в круглой, увитой диким виноградом беседке, куда они с Верой Николаевной перебирались на лето, и слушал своего Россини. “Фигаро, Фигаро, браво, браво-симо”, – несло из беседки. Однажды Вера Николаевна послала меня к нему за сигаретами. Отодвинув висающую на двери пеструю ткань, я увидела, как возле проигрывателя, прикрыв глаза, сидит грузный волосатый Киберия в длинных синих трусах и голубой майке. Он подпевал пластинке, и лицо его выражало полное блаженство. Я тихонько взяла со стола сигареты и вышла. О, эти живописные Гагры: сарайчики, летние домики, терраски, беседки, настроенные Верой Николаевной с Киберией и до предела забитые отдыхающими. Да что сарайчики! Некоторые спали на раскладушке или пляжном топчане под банановым листом или каким-нибудь душистым кустарником, платя пятьдесят копеек в сутки. Мамин двоюродный брат, проживший месяц под открытым небом, однажды проснулся оттого, что его лизнула в лицо огромная бродячая собака. Он перевернулся на другой бок и, подставив ей затылок, продолжал спать. Все это хозяйство лепилось на склоне горы, и несколько раз в день приходилось ползти вверх по жаре: с моря, с рынка, с почты. Добравшись до дому, хотелось тут же бежать обратно, чтоб окунуться. Но вместо этого мы плюхались на койку и лежали, пока не переставало стучать в висках.

Раз в неделю мама будила меня рано утром, до жары, и мы спешили к автобусу, который, несмотря на ранний час, приходилось брать штурмом. Стиснутые со всех сторон, мы доезжали до конечной. “Рынок”, – кричал водитель, и, распаренные пассажиры вываливались из автобуса. А на рынке стоял гул и рябило в глазах от пестроты прилавков. Переходя от прилавка к прилавку, мама не просто делала покупки, а совершала некий обряд: шупала, пробовала, просила заменить, сомневалась, уходила, возвращалась. Я то и дело теряла ее и в панике бросалась искать. “Держи сумку, – говорила она. – Не спи. Держи как следует. Ты видишь, все сыплется мимо”. Постепенно я дурела от жары, толчеи, пестроты и гвалта. Расхваливая свой товар, кавказцы хватали нас за руки. Один даже выскочил из-за прилавка и потащил меня за собой, чтоб подарить яблоко величиной с дыню.

У входа на рынок сидели на корточках продавцы вина и сыра. Белые влажные кругляши сыра лежали на белоснежных тряпочках. Из огромных бутылей наливали в кружку виноградного вина на пробу: “Пей, дорогая, не бойся, и дочке дай. Это же чистый виноград”. Вино было терпким и сладким. Сделав глоток-второй, я не смогла остановиться и допила до конца. Продавец сыра, поглядев на меня с усмешкой, протянул ломтик сулугуни: “На, закуси. Сыр молодой, как ты”. Выйдя с рынка, мы всегда заходили к живущему поблизости знаменитому на все Гагры Исачку, который ловил, коптил и продавал ставриду. К сожалению, я очень смутно помню пропахший рыбой живописный дворик с развешанными для просушки сетями и разложенными повсюду полосочками стекла, с помощью которого Исачок коптил рыбу. Сам хозяин, смуглый, черноволосый, кудрявый, средних лет балагур и весельчак, всегда встречал нас в длинном фартуке и, снабдив рыбой, провожал до самых ворот, уверяя, что мы оближем пальчики и проглотим язык.

Когда у меня появился отчим, то есть с 1951 года, мы ездили в Гагры каждое лето. Но отчетливей всего я почему-то помню лето 1954-го, когда ходила в длинном ситцевом халате днем и шелковом платье с крылышками вечером, когда на меня оглядывались прохожие, а темпераментные кавказцы высовывались из машин, что-то выкрикивали и махали руками. Однажды, когда я ждала маму возле почты, мне под ноги упала коробочка, из которой выпали яркие клипсы. Подняв глаза, я увидела сидящего на подоконнике второго этажа молодого человека, который прижимал руку к сердцу и улыбался. Тем летом у меня были особенно длинные ресницы, особенно черные брови и особенно вьющиеся волосы. Это был мой второй расцвет. Последний случился на целине, в 1958-м, а первый – в раннем детстве, когда, по словам бабушки, у меня был такой румянец, что казался ненастоящим, и хотелось меня потрогать.

В 1954-м в многочисленных домиках Веры Николаевны жила целая стая девочек прилизительно моего возраста. Мы ходили на пляж огромным колхозом с двумя черными надувными камерами. Зайдя поглубже в море, мы ложились на камеру и во все горло распевали:

Двенадцать негрятят
Пошли купаться в море,
Двенадцать негрятят
Резвились на просторе,
Один из них утоп,
Ему купили гроб,
И вот вам результат —
Одиннадцать негрятят...

Пели до тех пор, пока не оставался один негритенок:

Но скучно одному,
Он взял себе жену,
И вот вам результат —
Двенадцать негрятят... —

кричали мы и, если были силы, заводили все сначала. Иногда на пляже появлялась наша хозяйка. Сбросив легкий халатик, она не спеша входила в воду и с достоинством окуналась. Плавала она медленно и долго, каким-то особым, ей одной известным стилем: дважды помахав кистью, она погружала ее в воду, затем такое же двойное помахивание другой, и так без конца. Куда бы она ни заплывала и сколько бы народу ни купалось, Веру Николаевну было видно отовсюду.

На нашей “Лысой горе” шла весьма сложная ночная жизнь. Иногда я просыпалась от топота, хохота и визга. К утру все стихало, и, когда мы с мамой бежали к морю, на “Лысой горе” крепко спали. Не все, конечно. “Праведники” вроде нашего семейства вставали рано и занимались обычными курортными делами: готовили завтрак, отправлялись на рынок или спешили захватить утренний ультрафиолет. Однажды мы узнали, что среди “праведников” завелась великая грешница – шестнадцатилетняя Ася, которая вечерами бегала на танцы и регулярно возвращалась домой в сопровождении местного парня с усиками. Однажды утром я увидела взбудораженную и заплаканную Асину маму, которая приглушенным голосом рассказывала Вере Николаевне: “Я вышла, чтоб загнать Аську спать, а он шагнул мне навстречу и говорит: “Мама”. Я чуть сознание не потеряла. Что значит “мама”? Какая я ему мама? Что эта шлюха натворила?” Я нарочно долго подметала кухню, чтоб побольше услышать.

Надо же, Аська, с которой мы вместе висели на камере и пели “Негритят”, тоже вела загадочную ночную жизнь. И это ставшее вдруг таинственным слово “мама”... Скоро Аську увезли домой в Калугу, и наши ряды поредели. Из оставшихся я больше всех любила Наташку и ее дедушку – профессора медицины из Тулы. Даже не знаю, кого больше. В главном доме Веры Николаевны было полно старинных, давным-давно привезенных из Ленинграда вещей: кресел, светильников, книг. Посреди полутемного зала стоял расстроенный рояль, на котором валялись ноты. Видимо, все это принадлежало ее покойному мужу. Однажды, когда я рылась в нотах, вошел Наташкин дедушка. “Ну, что ты нашла?” – спросил он. “Вот, какие-то старые ноты, не по-русски написано”. – “А, так это “Фауст” Гуно. Переложение для фортепиано. Можешь сыграть?” “Смотря что, – сказала я и, полистав, наткнулась на арию Зибеля. – Вот это могу”. Немного поковырявшись, я заиграла довольно гладко. Наташин дедушка, стоя за моей спиной, запел: “Расскажите вы ей, цветы мои”. Он пел смешным дребезжащим голосом, но очень чисто. Нам так понравилось музицировать, что мы стали приходить в эту комнату каждый день, и у нас даже появились слушатели. Но однажды мероприятие сорвалось: у меня поднялась температура. Убегая в аптеку, мама попросила Наташкиного дедушку навестить меня. Он зашел в комнату и присел на край кровати. Потрогав мой лоб и попросив показать горло, он стал осторожно водить шершавой ладонью по моим плечам и рукам.

“Хочешь, пощекочу тебе пятки?” – спросил он. “Зачем?” – удивилась я, не зная, как относиться к его странным ласкам и чувствуя какую-то неловкость. “Если испугаешься щекотки, значит, будешь влюбчива”. “Не надо”, – попросила я. Он провел ладонью по моим ногам: “У тебя на ногах музыкальные пальчики”. В это время вернулась мама. Наташкин дедушка отдернул руку и встал. “Она перегрелась, – сказал он. – Все пройдет”. Не умея объяснить, что произошло, я стала избегать его.

...А потом жизнь круто переменялась. В соседней с нами комнате появилось двое студентов. Я уже слышала о них от худенькой большеглазой Стеллы, которая со своей подружкой Риммой поселилась у Веры Николаевны еще до нас. “Вот приедет мой мальчик, и надену это платье, – говорила Стелла. – Приедет мой мальчик, и пойдем в ресторан. Приедет мой мальчик...” И мальчик приехал. Его звали Натан. Я увидела его, вернувшись днем с моря. У него были темные волосы и темные глаза. “Черный Принц”, – подумала я. Почему “принц”, сама не знаю. С того момента, как он появился, мне почему-то расхотелось спать днем и захотелось сидеть на нашей общей терраске и писать рассказ, начатый еще весной. Я выходила на террасу с тетрадкой, карандашом и ластиком и, усевшись за круглый стол, устремляла взор вдаль, на море. К сожалению, Натан редко заставлял меня в этой позе. Он жил той самой непостижимой ночной жизнью, которая проходила мимо меня, и режим его не совпадал с моим. Но однажды он оказался дома и появился на террасе как раз в тот момент, когда на меня нашло вдохновение. “Что ты пишешь?” – спросил он. “Рассказ”, – ответила я, продолжая писать. “Рассказ?” – изумился Натан. Я пожала плечами, что должно было означать: “Подумаешь, это мое обыч-

ное занятие”. “О чем же пишешь?” “О детском доме и об одной семье”, – ответила я, орудуя ластиком.

“О детском доме?” – еще пуще удивился Натан. Я была на седьмом небе. Пока все шло как нельзя лучше: его изумление и моя невозмутимость, его восхищение и моя скромность. Но, решившись наконец поднять глаза, я увидела, что он едва сдерживает смех. “Он смеется надо мной, – в ужасе подумала я. – Он все это время надо мной смеялся”. Я поднялась, чтобы немедленно уйти. “Прочти”, – попросил Натан. “Нет”, – отрезала я и ушла в комнату.

Я по-прежнему ходила по утрам на море, висела с девчонками на надувной камере, ездила с мамой на рынок, бегала с ней в кино, но одновременно с этой я вела еще и другую, невидимую миру жизнь: ложась спать, прислушивалась к голосам за стенкой; загорая на берегу, смотрела туда, где в обществе Стеллки и Риммы сидел Черный Принц; возвращаясь с рынка, бросала взгляд на соседнюю дверь. Почти не общаясь с ним, я успела изучить его привычки: знала, как он смеется, плавает, ходит. Иногда я неожиданно ловила на себе внимательный взгляд его черных глаз, и меня бросало в жар. Однажды, вернувшись с моря, я увидела замок на соседней двери. Неужели уехал?! Но оказалось, что все четверо – Натан с приятелем, Стеллка и Римма – отправились на несколько дней в Сухуми. Время остановилось. И как я жила до появления Черного Принца? Кино, парк, пляж – тоска смертная. Интересно, что такое “несколько дней” – пять? семь? десять? И вдруг замок исчез. Дверь приоткрыта, а за дверью – Натан. “Ты еще здесь? А я уж боялся, что, пока мы катались, ты уехала, так и не прочтя мне своего рассказа”. “Боялся”. Он сказал “боялся”. “Могу прочесть”, – выпалила я и, задохнувшись от собственной отваги, пошла за тетрадкой. Надо было спешить. Я могла читать, только пока рядом не было мамы. При ней деревенела. Принеся тетрадку, я села на плетеный столик (наверное, мне казалось, что так я выгляжу взрослее и непринужденней) и стала читать. Когда кончила, Натан поаплодировал. “Ну ты даешь. Лучше Льва Толстого. Мне тоже хочется похвастаться. Поедешь посмотреть, как я играю в волейбол? Это недалеко. Повезут на автобусе”. “Как? Одна?” – растерялась я. “Почему? Можно с родителями”. На следующий день мы ехали по узкой тенистой дороге. В открытые окна автобуса лезли ветки, и Натан, который сидел перед нами у того же окна, отводил их рукой и оглядывался, чтоб убедиться, что все в порядке. Игра проходила на волейбольной площадке какого-то санатория. Играли две любительские команды. Я ничего не смыслила в правилах игры, но тихо умирала от восторга, глядя, как Натан бьет по мячу, то почти падая на землю, то высоко подпрыгивая. Я чувствовала себя прекрасной дамой на рыцарском турнире: все эти прыжки и падения были в мою честь. По дороге назад мама попросила Натана позаниматься со мной извлечением корня. Уже шел сентябрь, занятия в школе начались, а мы только 14-го предполагали вернуться в Москву. “Помогите ей. Она ничего не смыслит в математике”, – объяснила мама.

“Зато пишет как Лев Толстой”, – засмеялся Натан. Теперь каждое утро он занимался со мной извлечением корня. Он даже задавал мне домашнее задание, которое я принималась выполнять сразу же после урока. Пожалуй, извлечение корня – единственная математика, которую я поняла.

А потом мы уезжали. Уехать из Гагр было мудрено: поезд стоял минуту, а садились толпы. Я смертельно боялась посадки. Но в этот раз меня занимало другое: где Натан? куда он исчез? почему не пришел прощаться? Я ничего не видела и не слышала вокруг себя. Мне совали в руки сумки, велели куда-то идти. Я послушно шла, останавливалась, отвечала, но в голове моей было одно – где Натан? Наконец появился поезд. Подхватив вещи, все побежали к своему вагону. Мы тоже. Над головами поплыли чемоданы, тюки, сумки, плакали дети, визжали женщины, ругались мужчины. И в это мгновение в толпе мелькнуло ЕГО лицо.

“Там остался ящик с фруктами”, – крикнул ему отчим. Натан схватил стоящий на перроне ящик и присоединился к нам. Он взял у мамы вещи и стал передавать отчиму. Потом помог протиснуться мне и маме, помахал рукой и исчез.

Не успев обрадоваться, я совсем упала духом. Теперь уж было ясно, что это все, больше я его не увижу. Мы стали устраиваться в вагоне, убирать вещи, и, когда наконец немного перевели дух, возле нас вырос Натан. “Откуда вы?” – удивилась мама. “А я еду в этом же поезде, только в общем вагоне”. – “Как? Почему? А где вся компания?” – “Они еще остались, а мне надоело. Сегодня пошел и купил билет в общий”. Он смотрел на меня и улыбался. “Это из-за меня, из-за меня”, – стучало в моей голове. “Давайте пить с нами чай”, – предложила мама. “Я пойду устроюсь, а позже приду”. Когда он пришел, вагон спал. Я лежала на верхней полке головой к проходу, чтоб не пропустить его. Он подошел ко мне и сказал: “Хочешь, научу читать мое имя? Оно с секретом”. Он вынул из кармана химический карандаш и, посплюнув его, написал на моей ладони: “Натан”. “Теперь не мой руку и каждое утро читай мое имя туда и обратно”. Это открытие меня поразило. “Знаешь, ты мне здорово нравишься, – тихо сказал Натан, подергав меня за косы. – Даже Стеллка взревновала и раньше уехала. Ты знаешь об этом?” Я не знала. Все, что он говорил, было так невероятно, что не укладывалось в голове. “А мы в Москве будем встречаться? В театры ходить? В кино?” – говорил Натан, продолжая слегка дергать меня то за одну, то за другую косу. Сон какой-то. Ведь он перешел на последний курс института, а я в восьмой класс. Ему двадцать один, а мне четырнадцать. Он говорит мне “ты”, а я ему “вы”. Но вот он стоит рядом и произносит удивительные слова. А на соседней полке храпит какой-то толстяк, внизу сопит ребенок, кто-то разговаривает во сне. “Ну ладно, спи. Я приду завтра”. Черный Принц пошел по проходу, огибая чьи-то ноги, обходя сумки, спотыкаясь о чужую обувь.

Едва я вернулась в Москву, он позвонил и пришел. Я сидела на столе и, болтая ногами, рассказывала ему о своем классе, в котором появились такие экзотические существа, как мальчики. (Это был первый год совместного обучения.) По сравнению с Черным Принцем все наши ребята казались мне недомерками и дурачками. Напоив Натана чаем, я пошла провожать его до метро. На мне была школьная форма, а на нем черный костюм и зеленая велюровая шляпа. Я оглядывалась по сторонам: вот бы встретить кого-нибудь из класса. Вечером я рассказала про Натана маме. Она засыпала меня вопросами, желая знать все. Немного помявшись, я рассказала, что, когда спрыгивала со стола, он подхватил меня и, немного подержав в воздухе, как бы нехотя опустил. Когда Натан позвонил снова, трубку взяла мама и попросила пока не приходить. “У нее совсем нет времени, – говорила мама. – Она ведь учится в двух школах, в музыкальной и простой”. Он попросил к телефону меня, и я скучным голосом повторила то же самое. “Это твое последнее слово?” – спросил он мрачно. Я повесила трубку, боясь разреваться. “Никуда он не денется”, – сказала мама, внимательно следившая за моим лицом.

Он появился через три года, когда я поступила в институт. Мы ходили в театры и кино, как он хотел когда-то. Он возил меня к своим родителям на Сиреневый бульвар, к своему другу на Волхонку. Новый год встречали вместе. Я пригласила подружку. Натан привел друзей – девушку и двух приятелей, которые много пили, острили, рассказывали лихие эпизоды своей бурной жизни. Девушка скинула туфли и положила ноги на колени Натану. “Было и прошло”, – пренебрежительно, грубо отрезал он и переложил ее ноги на колени своего приятеля. Потом повернулся ко мне. “Вот моя невеста. Единственное светлое пятно в моей жизни, – заплетаясь языком говорил он. – Я разрешу ей отрезать косы только после третьего ребенка”. Праздника не получилось. Болела голова и хотелось плакать.

Но это все потом. А сейчас он шел в свой общий вагон, а я, лежа на верхней полке, смотрела на фиолетовые буквы на ладони. Как ни читай, все Натан.

* * *

Если память жива, если память жива,

То на мамином платье светлы кружева,
И магнолия в рыжих ее волосах,
И минувшее время на хрупких часах.

Меж холмами и морем летят поезда,
В южном небе вечернем пылает звезда,
Возле пенистой кромки под самой звездой
Я стою рядом с мамой моей молодой.

Восток и запад. Целина 1958 года

Прежде чем отпустить восемнадцатилетнего заморыша на целину, мама решила его подкормить. Прослышав, что в Литве есть райский уголок по имени Паланга, мама побежала за билетами. Ночь в дороге – и мы в раю, в маленьком курортном городке местного значения. Кругом звучала нерусская речь. “Это литовский?” “Наверное”, – ответила мама. Нет. Это не только литовский. Слышу знакомые интонации, но слов не понимаю. Идиш. Конечно же, идиш, к которому прибегали бабушка с дедушкой, когда не хотели, чтоб я понимала. В городке звучали идиш и литовский. И лишь изредка русский. О Паланге в России тогда почти не знали. С трудом объяснившись с пожилой литовкой, мы сняли у нее комнату на двадцать дней и побежали к морю. Желтый песчаный пляж. “Дюны”, – сказала мама. Тихоетихое море, в котором почти никто не купался. Я разделась и вошла в воду. Вода – ледяная, дно – песчаное. Я долго-долго шла и наконец решилась лечь на живот и немного проплыть, ударяясь коленками о песок. Для меня, привыкшей к Черному морю, это было не купанье. Но зато можно было валяться в дюнах и гулять в огромном зеленом парке.

Решив подкормить ребенка, мама рано утром убегала на охоту и возвращалась с добычей: сырками, диковинными бутылочками разной величины, в которых были сливки, простокваша, молоко шоколадное, топленое, простое.

Но и этого ей было мало. Она узнала, что существует некий частный пансион, где кормят обедами, и в назначенный час мы вошли в просторную комнату, где пахло так, что голова кружилась. Кругом звучал идиш. Две пожилые женщины разносили еду: румяные блинчики, компот, рыбу. Наконец одна из подавальщиц подошла к нашему столику и обратилась к нам на идише. “Простите, мы не знаем идиша. Мы из Москвы”, – объяснила мама. “Из Москвы? Какие же вы евреи. Вы – гоим. Я вам ничего не дам. Это еврейский пансион”. “Но принесите хотя бы дочке. Она голодная”, – взмолилась мама. Подошла вторая подавальщица и, тихонько посоветовавшись с первой, принесла нам еду. Больше мы туда не ходили. О, как часто вспоминала я на целине палангские бутылочки с разнообразным молоком и румяные блинчики в негостеприимном пансионе.

* * *

“НЕ ПИЩАТЬ!” – крупными буквами написано на нашем вагоне. Эшелон, ожидавший нас на Рижской товарной, казался бесконечным. Меня провожали мама и Натан, который тащил мой рюкзак. На рюкзаке, как в детсадовскую эпоху, была нашивка с фамилией: на институтском собрании будущих целинников нам велели пометить вещи. Возле вагонов плескалось море людей: играли на гитаре, пели, обнимались, плакали. Мама изо всех сил старалась держаться, но, когда кто-то по соседству жалостливо сказал: “И куда таких детей гонят?” – она заплакала и уже не могла остановиться. Наконец дали команду “По вагонам”, и мы полезли в свои теплушки. Задвинули огромные щиты, и эшелон тронулся. В вагоне было почти темно.

Только у самого потолка гнездились узкие оконца, к которым ринулись все, пытаюсь увидеть своих. Встав на какую-то выемку в стене, я тоже на мгновение пробилась к свету и вдалеке увидела маму, которая бежала, плакала и что-то кричала. За ней шел Натан с поднятой рукой. Я попыталась помахать в ответ, но сорвалась с выемки, на которой стояла. Когда глаза привыкли к полумраку, стало ясно, что в вагоне три ряда нар. Я почему-то устроилась под самым потолком, где было душно и снились кошмары. На второй день пути нам надоела темнота, мы отодвинули щит, и в вагон хлынул свет. Перед глазами поплыли поля, леса, поселки. Однажды мы проезжали мимо густо заросшего холма, на склоне которого почему-то полыхало несметное множество костров. Тревожное и величественное зрелище. Многие ребята целый день сидели на краю вагона, свесив ноги. Состав то мчался, то еле полз, то подолгу стоял среди цветочных лугов, и тогда мы прыгивали с поезда и бежали собирать букеты цветов, похожих на подмосковные, но эти были ярче, крупнее, первобытнее. К сожалению, наша лафа скоро кончилась. Пришло начальство и приказало поставить щиты на место. Оказывается, в одном из вагонов произошло ЧП: кому-то встречным поездом оторвало ногу. Об этом несчастном случае, как и обо всех последующих (а их на целине было немало), всегда говорилось глухо и имен пострадавших не называли. Состав был огромным. В нем ехали студенты разных факультетов и курсов нашего иняза, а может, и других вузов. Все пять дней пути мы жили странной, ни на что не похожей жизнью. В полумраке вагона перестало существовать время. Мы не знали, где едем, когда остановимся и скоро ли тронемся снова. Однажды нас подняли среди ночи, велели взять миски и ложки и повели кормить. Спотыкаясь спросонья, хмурые и молчаливые, мы пришли в пустую столовую казарменного типа, где нам накидали в миски макароны с жилистым мясом, а в кружки плеснули компота. В следующую ночь нас разбудил чей-то вопль: “Урал!” Загрохотали щиты, и все посыпались из вагонов. Было почти темно. Не разбирая дороги, мы бежали туда, где чернела река. Вот и Урал. Не помню ни берегов, ни самой реки. Никаких зрительных впечатлений не осталось. Только ощущение мощного потока ледяной воды, окунувшись в которую я испытала восторг и ужас: ночь, чужие края, быстрое течение, из которого трудно выбраться. В воду кидались в чем попало: кто в трусах, кто в штанах и свитере.

“По вагонам!” – закричали с берега, и все ринулись обратно. В вагоне долго переодевались, в полной темноте роаясь в вещах и стуча зубами.

Не помню в какой географической точке мы с подружкой попали в избу, где нас угостили кислым молоком и домашним хлебом. Перед тем как усадить за стол, хозяйка в цветном переднике повела нас к бочке, из которой узорчатым черпаком набрала воду и плеснула нам на руки. Потом протянула вышитое полотенце. “Рушничок”, – сказала она. Так я впервые услышала это ласковое слово. Возвращаясь в свой вагон, мы заблудились и оказались меж двух чужих эшелонов. В одном из них ехали пэтэушники, которых в те годы называли ремесленниками. “Эй, лови девок”, – услышали мы. Парни засвистели, забежали. Один схватил нас за руки, другой сделал подножку. Мы повернули назад, но путь назад был тоже отрезан. Я изо всех сил дернула подружку за руку, и, не помня себя, мы нырнули под поезд. На это надо было решиться: целинные поезда были непредсказуемы и могли тронуться в любую секунду. Вынырнув с другой стороны, мы бросились искать своих. Вот и знакомые лица. Какие все хорошие, добрые, милые. Ввалившись в вагон, мы рухнули на нары, корчась от смеха и почти плача. На нас удивленно смотрели, но мы не могли остановиться.

На шестые сутки приехали. Нас встречали грузовики. На один погрузили вещи: рюкзаки, мешки с воблой, тушенкой и брикетами киселя. В другой сели сами. Дорога была ухабистой, и так подбрасывало, что казалось – еще немного, и выбросит совсем. Крепко держась за скамейку и щурясь от сильного ветра, мы орали песни:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.

Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы...

Наконец мы дома: в бескрайней степи стоит огромная, человек на сто, палатка, разделенная пополам. Одна половина – для мальчиков, другая, за тонкой перегородкой, – для девочек. Я оказалась между перегородкой и своей однокурсницей, которая громко храпела ночами. Когда же однажды она на моих глазах поймала курицу и свернула ей шею, чтоб после сварить, этот храп стал казаться мне особенно зловещим.

Итак, на три с половиной месяца у меня появился новый адрес: Сев. Казахстан, Кокчетавская обл., Красноармейский р-н, п/о Большой Изюм, Тайынша, разъезд № 11, элеватор. И все это означало – бесконечная степь, ковыль, полынь, постоянно меняющиеся небесные краски, которые можно было наблюдать во всех подробностях. Что я и делала, так как мало спала, но подолгу бродила ночами. К тому же не одна, а со своим однокурсником, с которым впервые разговорила в поезде, а подружилась на 11-м разъезде. “Сделай доброе дело, погуляй со мной”, – сказала я ему в один из первых вечеров. На работу нас еще не гоняли. В палатке было тоскливо, читать не хотелось, и я чувствовала себя одинокой и неприкаянной. Мы бродили в степи. Ковыль клонился от ветра, пахло полынью, которую я срывала и нюхала, потеряв между ладоней. Говорили без умолку. Оказалось, что в Москве у нас много общих знакомых, что в его доме живут наши близкие друзья, что мы любим одну и ту же музыку, одни и те же книги. Одним словом, не могли не встретиться.

*Look, look, look at the stars above,
Look, look at my sweetest Love,
Oh, dear, give me a night in June, I mean it...*

Я пела эту старую английскую песенку, а он смотрел на меня сияющими голубыми глазами и смеялся. “Спой еще раз. Ты так смешно произносишь *look, look, look*”. Разлучала нас только работа. Первое время, когда зерна на элеваторе еще не было, нас посылали в колхоз полоть морковь. Увозили рано утром, привозили вечером. Обед наш состоял из тарелки молочного супа с вермишелью и кружки молока. К концу недели очень захотелось есть. Прослышав, что в Тайынше, до которой, по слухам, было 25 км, в столовой кормят бесподобными сливками, мы с подружкой надели резиновые сапоги на босу ногу (чтобы было не так жарко) и отправились. Шли семь часов, в кровь стерли ноги, под конец разулись и пришли в столовую босиком. В столовой было пусто. Взяв по стакану сливок, мы выбрали уютное место между окном с тюлевой занавеской и чудовищной копией шишкинских “Мишек”. Ноги гудели, в животе было пусто. Растягивая удовольствие, мы неторопливо окунули алюминиевые ложечки в пышную белую массу и не спеша облизнули. М-м-м, какая вкуснота. Еще ложка, еще и еще. Надо сделать перерыв. После перерыва попробовали продолжить, но вскоре остановились. “Жирные сливки”, – сказал я. “Да, слишком густые”, – согласилась подруга. Мы смотрели на наши потерявшие всякую привлекательность сливки и не знали, что с ними делать. Оставлять обидно. И с собой не унесешь: не было подходящей тары. Стараясь, чтоб нас не увидела тетенька из раздаточной, мы, прихрамывая, выползли из столовой. Обратный путь казался неодолимым: топтать босиком те же 25 км без мощного стимула не было сил. Выйдя на дорогу, проголосовали. Остановился грузовик. За рулем сидел молодой веселый парень. Мы плюхнулись рядом с ним в кабину и с облегчением вздохнули: слава богу, довезет. Но не тут-то было: от парня несло спиртным, а машину страшно мотало. Мы попросили его остановиться, но он нажал на газ и рванул с еще большей скоростью. Только когда подруга начала на ходу

открывать дверцу, он резко затормозил. “Дуры, – кричал он нам вслед. – Психички”. Часть пути мы все-таки проехали. Домой приползли затемно.

Вскоре пошло зерно, и началась работа. Работали в три смены. В нужный час собирались у конторы, и нас разводили по сушилкам, к которым подъезжали машины с зерном. В самый бойкий период грузовики шли непрерывным потоком: едва успевали разгрузить одну машину, подъезжала другая, за ней третья и так без конца. А назавтра все сначала: проснулся, натянул сапоги с налипшим внутри зерном, надел телогрейку, взял рабочие рукавицы – и на элеватор. Вот твоя сушилка, твой бесконечный ряд машин, и начинается обычная процедура. В руки – плицу (большой совок для разгрузки зерна), ногу – на колесо, другую – за борт, и пошел махать плицей, пока не выбросишь из кузова все зерно, которое тут же попадало на ленту транспортера и, перелопаченное специальной острой лопастью, отправлялось на сушилку. Шоферы тем временем дремали в сторонке. В страдную пору им приходилось работать круглые сутки, и они пользовались любой возможностью немного отдохнуть. Мы относились к грузовикам как к живым существам: этот – любимый, этот – никакой, а этот – ненавистный. Никакой – это обычный грузовик, любимый – самосвал, который разгружается сам, без нашей помощи. Ненавистный – самосвал с изъяном, когда кузов поднимается недостаточно высоко, чтоб саморазгрузиться, но слишком высоко для того, чтобы устоять в нем. Тем более что полы в самосвалах скользкие. Стоишь в нем, машешь плицей, а сам постепенно соскальзываешь вниз и вот-вот рухнешь под транспортер, под его острую лопасть. Прошел слух, что в Тайынше именно так и случилось с кем-то из студентов. Как всегда, все было глухо. Однажды я работала в паре с длинным и тощим парнем, который, соскальзывая с дефективного самосвала, цеплялся за меня и приговаривал: “Ой, мамочки, падаю, ой, Ларисочка, держи”. А ночью в палатке он кричал. Наверное, ему снились самосвалы. К концу рабочего дня я не чувствовала ни рук, ни ног, ни спины. Но стоило немного отдохнуть, и откуда-то брались силы на прогулки и даже на кино, до которого надо было пилить несколько километров по степи – оно находилось в соседней деревне. Что это было за кино! Одна афиша чего стоила – ошибки чуть ли не в каждом слове “ФОМФАРЫ ЛЮБВИ”, “ЗОЛОТАЯ СИНФОНΙΑ”. Помню, что буквы на афише были все крупные и цветные. Перед сеансом – танцы. Местные парни в длинных пиджаках и кепках прижимали к себе подруг и, активно работая оттопыренным локтем, с серьезным, почти застывшим лицом резво двигались по тесному предбаннику, усыпанному шелухой от семечек. Семечки лушили все: и танцующие, и стоящие у стенки. Их лушили и во время сеанса. Чем увлекательнее сюжет, тем быстрее работали челюсти. А фильмы были похожи на сон, на сладкую грезу. Смутно вспоминаю какой-то зимний горный курорт, богатый отель, счастливую любовь, юную красавицу на фигурных коньках, делающую немыслимые пируэты на голубом льду. А музыка! Под какую пленительную музыку шла эта пленительная жизнь. Скинув сапоги и расстегнув телогрейки, мы с моим другом сидели в тесном деревенском кинотеатре и, замерев, глядели на экран. Да, именно такое кино нужно было показывать на 11-м разъезде. Оно было про нас. И неважно, что фильм иностранный. Все равно он был про нас, про ту жизнь, которая начнется, как только вернемся в Москву. Московские улицы, голубые троллейбусы, парк Сокольники, возле которого учились, газовая колонка в коммуналке, горячий душ, бабушкина жареная картошка – все это такая же далекая мечта и золотая симфония, как экранная страна горных курортов, шикарных отелей и пируэтов на льду.

В кромешной темноте возвращаясь из кино, мы неожиданно услышали позади себя рев мотора и чьи-то крики. Вскоре темноту осветили фары. Свет фар был шальным, неровным. Когда машина приблизилась, мы поняли, что в кузове люди, которые кричали и барабанили по кабине, пытаясь остановить пьяного шофера. Обезумевший грузовик, ревя и мотаясь из стороны в сторону, неумолимо приближался. Деваться было некуда. Слева и справа заборы. Между ними узкая дорожка. Мой друг прижал меня к забору и загородил собой. Машина проехала почти вплотную. След колес был возле самых его ног. Через некоторое время раздался

грохот, и мотор заглох. Подойдя ближе, мы увидели разрушенный сарай и окруживших кабину пассажиров. У меня так дрожали ноги, что я едва дошла до дому.

К тому времени, а это, наверное, уже был сентябрь, нас расселили по домам. Мы, восемь девочек, жили в доме начальника элеватора Тюкавкина. Спали не раздеваясь, на тюфяках на полу. Режим у всех был разный: одни работали утром, другие днем, третьи ночью. Когда работа начиналась в два часа ночи, нам стучала в окно предыдущая смена. Проснувшись, я первым делом пудрила в темноте нос, достав из-под подушки пудреницу. Эта процедура, наверное, заменяла мне умывание. Работая в ночную смену, я хронически не высыпалась, и к концу второй недели у меня начались слуховые галлюцинации. В хрипе и скрипе транспортера мне чудились голоса близких. “Девочка”, – звала мама.

“Ларочка”, – кричала бабушка. В ту ночь я работала совсем одна, и мне стало страшно. Иногда удавалось вздремнуть в конторе, где была большая белая печка, к которой могло привалиться сразу несколько человек. Однажды я проснулась от того, что меня трясли за плечи. С трудом открыв глаза, я почувствовала, что спине горячо и пахнет гарью.

“Горишь, горишь”, – кричали мне. Я пыталась скинуть телогрейку, но пальцы не слушались. Мне помогли, и я увидела, что часть телогрейки выгорела. В выгоревшей телогрейке у меня стал совсем бывалый вид. Но тяжелее всего приходилось вкалывать, когда пошли поезда и началась разгрузка-погрузка. Влезешь в темный и душный, наполненный зерном поезд, и плеча за плечей подбрасываешь зерно на транспортер, по которому оно уходит на просушку. Целый день пашешь, а толку чуть. Один из наших пятикурсников так устал, что не заметил, как уснул в вагоне на куче зерна. Он работал на погрузке поезда, и зерно по транспортеру бежало внутрь вагона, где нужно было равномерно раскидывать его по всем углам. Пока он спал, зерно прибывало и прибывало. Когда вернулся с обеда напарник, он с трудом откопал погребенного друга, который был почти без сознания и кашлял кровью. Как ни странно, все эти ЧП не нарушали обычного хода нашей целинной жизни, то ли потому, что начальство всегда пыталось скрыть любое происшествие, то ли в силу нашего полудетского легкомыслия. Наверное, в силу того же легкомыслия некоторые явления жизни почти не доходили до моего сознания. Мне не приходило в голову поинтересоваться, почему в тех краях жили чечены. Почему молодые чеченские парни грозились не отпустить живым ни одного москвича, почему они совершали набеги на нашу палатку: то, размахивая кнутом, проносились по ней на велосипеде, то бросали в палатку камень с привязанной к нему бритвой.

Несколько раз я работала со своей однофамилицей – миловидной молодой женщиной. На мой удивленный вопрос, откуда у нее такая фамилия, женщина ответила, что она немка с Поволжья. Мне этого вполне хватило, и не возникло ни малейшего желания узнать, почему и когда немцы оказались здесь, в Казахстане. Нет, меня в ту пору занимали совсем другие вещи: подолгу наблюдая за ночным и заревым небом, я научилась с точностью до нескольких минут определять время. Однажды, еще в пору палаточной жизни, я и мой друг несли ночную вахту (ночные дежурства возникли из-за набегов чеченов). Мы грели чайник на маленькой железной печурке, установленной возле палатки под открытым небом, заваривали чифирь и не спеша его попивали, сперва провожая, а потом встречая солнце. За три с половиной целинных месяца я настолько успела привыкнуть к простору и воздуху, что, вернувшись в Москву, задыхалась. Мне не хватало неба, степных запахов, высоких трав. Я привезла с собой веточку сухой полыни, спрятала ее в наволочке и ночами доставала и нюхала, тоскуя по степи и небу – молчаливым участникам бесконечных прогулок.

“Ты знаешь, мне кажется, я люблю тебя”, – сказал мне мой друг. “А мне не кажется, я правда люблю тебя”. Он робко прикоснулся губами к моим губам. Я засмеялась: “Целина – школа жизни”.

Кончились летние месяцы. О, как хотелось домой. Мы считали дни, полагая, что вот-вот уедем, и вдруг, как гром среди ясного неба: остаемся до середины октября. В Москву поле-

тели отчаянные письма. Случайно бросив взгляд на письмо, которое писала моя соседка по комнате, я увидела крупные, расплывшиеся от слез буквы: “МАМА! КАТАСТРОФА! ОСТАЕМСЯ ДО НОЯБРЯ!” Жалея домашних, я написала довольно спокойное письмо, в котором просила прислать чего-нибудь вкусненького и, главное, мое голубое платье. Через некоторое время из Тайынши пришло извещение на посылку. За ней отправился наш однокурсник Женя, которого по состоянию здоровья сняли с работы на элеваторе и сделали почтальоном. Когда я вернулась с вечерней смены, то увидела посреди комнаты ящик и сидящего возле него Женю. Попросив у хозяйки что-нибудь острое, вскрыли посылку: в ней лежали фрукты, посланные мамой из Кисловодска. Мы разложили все по кучкам: кучка яблок, кучка груш, кучка слив. Предстояло все это поделить на восемь частей. Нет, на девять: Женя тоже ждал своей доли. Ночью мне снился мучительный сон: разрезание яблока на девять равных частей. Еще через несколько дней пришла посылка с моим голубым платьем. Как было сладко, сняв с себя постылую рабочую робу, нырнуть в прохладный голубой шелк! Нацепив платье, я отправилась в столовую, битком набитую нашим изголодавшимся народом: давали горячие булочки. У самой раздачи стоял мой друг, по сияющим глазам которого я поняла, что не зря мерзла в легком платье. “Феноменально”, – воскликнул он. Не успев понять, относилось ли это восклицание ко мне или к булочкам, которые он только что получил, я увидела в его руках пустую тарелку, а на полу, в грязной жиже, румяные булки. Все смеялись, но и сочувствовали. Булками мы в ту пору все-таки объелись – нам их купило сразу несколько человек. А вообще, есть хотелось все время. Тем более что давали одно и то же: манную кашу и макароны. Свою воблу, кисели и тушенку мы съели еще летом. Правда, я свою порцию тушенки обменяла на кисели: банку тушенки на пачку киселя. Потом мне сказали, что я продешевила, так как спокойно могла брать за банку тушенки не одну, а несколько пачек плодово-ягодного. Как странно, тушенка, которую я ненавидела, оказалась гораздо ценнее моего любимого киселя. Несмотря на усиленную физическую работу, я поправилась на три килограмма. Мой друг смеялся надо мной: “У тебя щеки сзади видно”. Свое голубое платье я, кажется, надела всего один раз. Носить его было некуда. К тому же похолодало.

Где-то в начале сентября к нам приехал наш комсомольский вождь – аспирант немецкого факультета. Он собрал нас в красном уголке. “Знаю, что многие недовольны задержкой. Что вас не устраивает?” – спросил он. “Домой хотим”, – закричали с места. “Это не ответ. Давайте конкретней”. – “Холодно в резиновых сапогах”. “Так, значит, все упирается в утепленные вещи, – произнес вождь, сделав пометку в своем блокноте. – Что еще?” Раздался нестройный хор голосов. “Не слышно. По одному”. “Грузовики доски возят, – крикнул кто-то, – кладут их поперек и летят как угорелые. Недавно одному парню чуть голову не снесло”. “Хорошо. Запишем: ездят машины, срубают товарищей”, – подытожил аспирант. “Каша надоела”, – раздался голос. “Закупим воблы”. Это нас убило. Раз собираются закупать воблу, значит, застряли надолго. А может, навсегда.

Пришло извещение, что меня вызывают на почту для разговора с Москвой. В назначенный час мы с моим другом отправились на почту, то есть в просторную избу, где работала одна единственная девушка-телеграфистка. Ждали долго и почти потеряли надежду на разговор. И вдруг... Москва. Мамин голос. Вопросы, слезы: “Как ты, что ты?” Ну что расскажешь за пять минут? “Лучше ты расскажи, как там в Москве. Натан? Что Натан? Он рядом с тобой? Нет, не надо давать ему трубку. Просто передай привет”. Господи, я и думать о нем забыла. Как и о чем я могла говорить с ним отсюда, из этой новой жизни, когда рядом сидит мой друг, светловолосый, голубоглазый и порывистый. “Ты похож на Вана Клиберна”, – сказала я ему однажды. Он просиял, и я поняла, что попала в точку. Позже, уже в Москве, принимая участие в институтских вечерах, мой друг стремительно, как Клиберн, выбегал на сцену и исполнял те же, что и он, “Грезы любви”. Клиберн был его кумиром.

Июнь, тополинный пух на улицах Москвы. I конкурс Чайковского, консерватория, вдохновенная игра молодого долговязого американца – все это так недавно и так давно. Однажды из черной тарелки, висевшей на воротах элеватора, донеслись звуки скрипки. Играл Давид Ойстрах. Открытие сезона в консерватории. Шел холодный осенний дождик, а мы стояли под худой крышей какого-то заброшенного сарая, не в силах шевельнуться. Он обнимал меня за плечи и, наклонившись к самому моему уху, тихонько подпевал скрипке. Неужели есть консерватория, метро, телефонные звонки, тихое вечернее чтение возле настольной лампы, горячий душ? Горячий душ – предел мечтаний.

Раз в неделю мы ходили в крошечную, почти игрушечную баньку, в которой помещалось человек восемь. Остальные ждали – кто в тесном предбаннике, кто на ступеньках, кто на вольном воздухе. Одни болтали. Другие занимались делом, например синхронным переводом. Наши пятикурсники любили устраивать конкурс на самый точный и быстрый устный перевод. Мы, салаги-второкурсники, с восхищением следили за этим турниром. Глядя, как один читает сложнейший текст по-русски, а другой почти одновременно с ним говорит то же самое по-английски, я клялась себе, что, едва приеду в Москву, начну штурмовать науку: пойду в лингафонный кабинет, надену наушники, обложусь словарями и... начну шпарить как они.

“Good intentions, but¹⁵...” – как говорил наш милый, добрый, почти слепой преподаватель.

Существовала тайная причина, по которой я любила банный день, – мочалка. У меня и моего друга была одна мочалка на двоих, и момент передачи ее из рук в руки являлся бессловесным подтверждением того, что я и он – одно целое, раз даже мочалка у нас общая. А в остальном баня была для меня мукой. Зная заранее, что из-за духоты мне станет дурно, я занимала место у самой двери, чтобы, когда начнет темнеть в глазах, успеть выйти в предбанник. Так я ходила туда-сюда, и мытье мое длилось долго. А о том, чтобы помыть в бане голову, и речи быть не могло. Раз я отправилась мыть волосы на речку. Речка была мелкой, узкой и прозрачной. Я встала на колени и опустила волосы в воду, а когда попробовала их намылить, обнаружила в волосах сплошные утиные перья. Подняв голову, я увидела проплывающих мимо уток. Замотав голову полотенцем, я отправилась домой. На работу ходила в платке, а после работы принималась отвоевывать у перьев прядь за прядью. Теряя терпенье, я вырывала вместе с перьями волосы, и мои толстые косы становились все тоньше и тоньше. Когда я приехала в Москву, бабушка ахнула. Мои длинные и густые волосы были ее гордостью. Наша семейная легенда гласила, что в войну, когда и без того забот хватало, бабушка сумела сохранить мои волосы: мыла их, расчесывала, заплетала. И вдруг такое зрелище. А я в восемнадцать лет чувствовала себя ветераном труда: потеряла часть волос и приобрела хронический радикулит. Этому чувству суровой бывалости отвечал и целинный гимн, сочиненный на известный мотив старинного танго нашим однокурсником.

Я не знаю, когда в Москву вернемся,
Но скорее всего, мы здесь загнемся.
Нас не спасут ни фталазолы, ни пургены.
Нас схоронят в степи, нас схоронят в степи аборигены.
Много наших крестов торчит над степью,
Ограждая поля угрюмой цепью.
И тихо вымолвил парторг, идя с погоста:
“К коммунизму дойти, к коммунизму дойти не так уж просто”.

Эту песню мы распевали и в наш последний целинный день, трясясь в грузовике по дороге на станцию, где нас ждал не товарный состав, а обычный пассажирский поезд. Мы рину-

¹⁵ Благие намерения, но... (англ.).

лись по вагонам, и когда я наконец выбрала себе место, то обнаружила, что потеряла рюкзак. Глянув в окно, я увидела, что он одиноко стоит на перроне. Надо было срочно за ним бежать, но у меня не хватало решимости выйти из вагона: а вдруг поезд тронется, и я останусь. Мой друг стрелой выскочил на перрон, схватил рюкзак и едва ступил на подножку, как мы поехали.

МЫ ЕХАЛИ ДОМОЙ. В это трудно было поверить. Все завопили УРА и бросились обниматься. Мечты начали сбываться сразу: нам выдали чистое белье. Застелив свою постель, я залезла на вторую полку и стала смотреть в окно. Начиналась жизнь, от которой дух захватывало. А еще я везла с собой деньги. Совсем небольшие, но самолично заработанные. Мне хотелось привезти их целиком, чтоб похвастаться дома, и потому за все три дня пути я не потратила ни копейки, питаюсь исключительно стуженкой и белым хлебом. Мы с моим другом подолгу стояли в тамбуре, рисуя картинки будущей жизни.

Москва, как ее ни ждали, возникла откуда ни возьмись. На перроне толпы встречающих. Цветы, крики, стучат в окно, тянут руки. Мелькнуло мамино лицо. Или мне показалось? Господи, никак не выберешься из вагона. На спине рюкзак, в руках сумка с оставшимся хлебом и стуженкой. Выхожу из вагона и сразу попадаю в объятия. “Девочка моя”, – мама смеется и плачет. “Ущипни меня”, – прошу я. “Зачем?” – “Ущипни, чтоб я поняла, что это не сон”. Кто-то, не помню кто, взял мой рюкзак, и мы двинулись по перрону. Оглянувшись, я встретила глазами со своим другом, которого тискали и тормошили близкие. Ох, мы даже телефонами не обменялись. А на перроне опять звучало:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы...

* * *

А был ли мальчик? Девочка была ли?
Их небеса целинные пылали?
Им под ноги ложился ли ковыль?
И что же это было – небыль? быть?
И если быть, то что же с нею стало
Потом, когда грядущее настало?

Золотая симфония

На “целинные” деньги мы с мамой купили мне платье из парчи (на черном фоне красная искорка) и первые в моей жизни туфли на каблуках. Парча облепляла меня так, что я едва передвигала ноги, а каблуки не слушались и постоянно подворачивались. И все же после телогрейки и сапог мой наряд казался мне верхом изыска.

Я была в нем и в ТОТ вечер. “К тебе пришли”, – сказала мама, выразительно глядя на меня. Воюя с парчой и заваливаясь то вправо, то влево, я вышла в коридор и увидела ЕГО. “Боже правый, ты ли это? – старомодно-изысканно приветствовала я своего друга. – Как ты нашел меня?” Но, заметив выползающих в коридор соседей, не дожидаясь ответа, потащила его в комнату. Но и здесь мы попали под перекрестный огонь взглядов моих домашних. Посидев для приличия за столом и выпив чаю, мы с облегчением выскочили на улицу и пошли куда глаза глядят. В те годы по Москве еще можно было гулять в свое удовольствие и беседовать, не повышая голоса. Что мы и делали, если наш сумбурный разговор можно было назвать беседой. Мы вспоминали, как, проведя трое суток в тамбуре целинного поезда и болтая о чем угодно, забыли обменяться телефонами и адресами. Он рассказал, как разыскивал меня и наконец нашел через справочное бюро. Темнело, летели листья, мы кружили по окрестным переулкам, возвращались к моему подъезду, заходили внутрь, грелись у батареи, снова оказывались на улице и наконец расстались возле моей двери, условившись встретиться завтра.

Началась “золотая симфония” московской жизни, о которой мы так мечтали на целине.

“Филумена Мортурана” – первый спектакль, на котором мы вместе. Один из героев поет под гитару: “Ах, как мне грустно, грустно, грустно, как я страдаю, как страдаю, страдаю я, страдаю я”. “Знаешь, что такое любовь? – говорят на сцене. – Это когда двое совсем рядом и так близко, что дыхание смешивается”. “Слышишь?” – шепчет мой друг, касаясь губами моего уха.

На следующий день идем на Софроницкого¹⁶. Возле консерватории – толпа. Говорят, что маэстро болен и концерт не состоится. Жаль, но не беда. У нас впереди целый вечер и целая жизнь.

Архангельское. Покрытые осенними листьями дорожки парка. Он греет мои руки своим дыханием. “Ох, чуть не забыл. Я же взял для тебя шерстяные носки”. Он достает из кармана носки, которые мама пыталась всучить мне, когда мы уходили из дома. Теперь они очень кстати. Как и термос с горячим чаем, который мы разливаем по кружкам, усевшись на поваленное дерево в укромном уголке парка.

“А помнишь, какой чифирь мы пили, когда дежурили ночью возле палатки?” Надо же, и я вспомнила то же самое – обжигающий чай, бесконечное степное небо в густых и ярких звездах, которые постепенно бледнели, а потом и вовсе погасли, уступив место предрабачным краскам.

Постцелинные каникулы идут к концу. Скоро начнутся занятия. А это значит – долгий путь в битком набитом вагоне метро, поездка через все Сокольники на трамвае мимо невысоких деревянных домиков, палисадников, голубятен, вдоль длиннющей ограды парка, мимо остановки с ласковым названием “Майский просек” до нашей прозаической “Институт”.

Впрочем, ничего прозаического не было в тогдашней жизни. Даже запах пережаренных пирожков означал мимолетную встречу с моим другом в буфете. А нудная полтора часовая лекция по языкознанию – возможность ловить в ручное зеркальце его взгляд и улыбку. Надо только сесть в предыдущем ряду слева. Длиннющий хвост в раздевалку – это лишняя возможность постоять рядом в очереди, крутя номерок на пальце. А потом – дорога через парк

¹⁶ Владимир Софроницкий (1901–1961) – знаменитый советский пианист и педагог, профессор Ленинградской и Московской консерваторий.

Сокольники, которая будет петлять, извиваться, уходить в заросли, выбегать на поляну, снова прятаться в чашу, пока наконец не выйдет к воротам парка. И все листья, все золото мира – у наших ног.

Но и разойтись по домам вовсе не означает расстаться. Едва переступаю порог дома – звонок: “Поела? Слушай, я сделал потрясающее открытие – на “Посвящение” Листа прекрасно ложится твое имя”. Он опускает трубку на крышку рояля и, наигрывая, поет мое имя.

Шла жизнь, в которой, что ни случись, все к лучшему. И болеть тоже, потому что тогда он придет меня навещать и будет читать мне по-английски Эдгара По, копируя интонации актера с магнитофонной пленки из нашего лингафонного кабинета. А через несколько дней мы пойдем вместе в мою поликлинику и, сидя в длинной очереди к врачу, устроим конкурс на лучший перевод английского стихотворения. Не помню ни автора, ни текста, а лишь первые строчки в собственном неловком переводе: “Мы вместе, и пусть наш нелегкий путь, изменчив и неизвестен...” Услышав мой вариант, он разорвал свой, сказав, что я победила.

“Золотая симфония” продолжалась, и в ней постоянно участвовали листья, которые шелестели, шуршали, бились на ветру, летели навстречу, кружились в воздухе, ложились под ноги. “Ты чудная. Ты даже не понимаешь, какая ты чудная. Только не грусти глазами”. А я и не грущу. Что мне грустить, когда все так прекрасно. Вечером идем в Большой на “Лебединое”. Танцует великая балерина – двоюродная сестра моего друга. У нас контрамарки без мест. Театр переполнен. Тесно прижавшись, стоим в одной из верхних лож. Он знает балет наизусть и время от времени тихонько объясняет мне, неискушенному зрителю, тонкости балетной техники.

После спектакля в густой толпе движемся к метро. Болтая, спускаемся по ступенькам, но я чувствую, что мой друг чем-то озабочен. “Знаешь, – говорит он, замедляя шаги, – что если мне вернуться? Майка живет возле театра. Мне бы хотелось зайти к ней. Там будут все наши. Ты не обидишься?” Он виновато смотрит на меня. “Если обидишься, я не пойду, правда”. “Конечно, иди”, – как можно беспечнее отвечаю я. Он радостно чмокает меня в щеку и исчезает.

Именно в тот вечер первой не то обиды, не то досады я сочинила стишок, который так никогда ему и не показала:

Мальчишка милый, как люблю я
Твой голубой лучистый взгляд,
Твою улыбку озорную,
Когда ты в чем-то виноват.

Мне хочется бродить часами
С тобою рядом по Москве,
И губы почему-то сами
Все улыбаются тебе...

Воскресное утро. Звонок: “Слушай, ты срочно должна мне помочь. У Майки день рождения, а я не знаю, что дарить. Придумай, пожалуйста”. Через минуту звонок. “Придумала? Нет, это не пойдет, – говорит он, отвергая мои банальности. – Думай дальше”. Звонок: “Слушай, я в панике. Скоро идти, а подарка нет. Что же делать?” Беспомощно молчу, чувствуя себя виноватой и бездарной. Поздно вечером звонок: “Слушай, я сделал феноменальный подарок. Только ты не огорчайся. Я подарил ей нашего Микки-Мауса. Пожалуйста, не расстраивайся. Она так обрадовалась, что даже решила взять его с собой на гастроли. Представляешь, он летит в Америку”. Я не верила своим ушам. Он отдал НАШЕГО Микки-Мауса, мышонка в красной шляпе и оранжевых штанах, ваньку-встаньку со свинцовым грузиком в животе, амулет, с кото-

рым я была неразлучна все долгие три с половиной целинных месяца, таская его в кармане телогрейки на работу, на прогулку, в кино, в столовую. В поезде Кокчетав – Москва я подарила его своему другу, сказав, что он станет нашим общим амулетом и будет кочевать от него ко мне и обратно. “Скажи, что ты не обиделась, ну пожалуйста”. Я молча повесила трубку.

“Золотая симфония” стала немного менять тона и краски. Наступила глубокая осень. Шли дожди, прибывая к земле пожухлые листья. Заметно похолодало. Мы стали меньше гулять и больше бегать по кино и концертам.

В тот вечер мы ходили в кинотеатр, которого уже нет на свете. Было такое уютное заведение в центре Москвы, где показывали хронику и научно-популярное кино. Мы смотрели фильм о I конкурсе Чайковского. На сцену консерватории снова стремительно выбегал высокий, тонкий, романтичный Ван Клиберн. Его длинные нервные пальцы снова касались клавиатуры, утопали в ней, извлекая из нее слышанные-переслышанные и все же неповторимые звуки. А вот и та музыкальная фраза, на которую так удачно ложится мое имя.

“Ты знаешь, мама наконец хочет с тобой познакомиться, – сказал мой друг, едва мы вышли на улицу. – Давай зайдем. Отсюда рукой подать”. Я этого ждала и боялась. Я знала, что он живет в новом роскошном композиторском доме. Том самом, куда не так давно переехали наши с мамой давние друзья. Я бывала в их помпезной, богато обставленной квартире, которая, как небо от земли, отличалась от прежней – тесной в двухэтажной деревянной развалюхе на окраине города. Поселившись в новом доме, наши друзья изменились не меньше, чем их жилплощадь, и общаться с ними стало так же трудно, как ступать на их зеркальный паркет или сидеть за массивным столом с крахмальной скатертью. Я боялась этого дома и не доверяла ему.

“Не надо отказываться, – горячился мой друг. – Мама обидится. Зачем тебе с самого начала портить с ней отношения?” “Потом, потом”, – малодушно повторяла я. Придя ко мне, он позвонил маме, сказав, что у меня страшно разболелась голова. В трубке раздался певучий громкий голос: “Пусть примет тройчатку. А ты езжай домой. Что тебе там делать, если у нее голова болит?”

Встреча состоялась через неделю. Я шла как на казнь. Знакомый переулок, знакомый дом, необъятный подъезд с важным лифтером, просторный лифт. А вот и квартира. Господи, убежать бы куда глаза глядят. Дверь открыла невысокая ухоженная женщина с яркой помадой на губах и пучком темных волос на затылке. Следом за ней вышел пожилой солидный мужчина в белой сорочке – отчим моего друга. Приветствия, улыбки, и я в гостиной, точно за таким столом, какого боялась, – массивным, с крахмальной скатертью. За чаем с пирожными идет беседа, в которой мне надо, ох как надо принять участие. Я чувствую это по умоляющим и тревожным взглядам моего друга. Наконец выдавливаю из себя фразу, которая повисает в воздухе. Нет, лучше молчать. Пусть говорят другие. Мать моего друга – профессиональный лектор. Речь ее льется легко и плавно. Разговаривая, она то смотрится в стекло стоящего напротив серванта, то улыбается мужу, который бросает на нее восхищенные взгляды. Они молодожены, и это видно.

“Пойдем в другую комнату. Я хочу тебе что-то показать”, – предложил мой друг, и я с радостью за ним последовала, спиной чувствуя взгляды. Усадив меня на диван, мой друг достал из шкафа груды альбомов с фотографиями, связки писем, папки и все это свалил мне на колени.

Наступил долгожданный момент. Наконец он может показать мне то, о чем столько рассказывал. “Смотри, узнаешь?” С многочисленных газетных вырезок на меня глядело ангелоподобное дитя в светлых кудряшках. Это кадры из фильма “Пятнадцатилетний капитан”, в котором он снимался ребенком в эпизодической роли. “Помнишь сценку, где я бросаю Джеку яблоко, и он с лету насаживает его на нож? На самом деле на нож он насаживал запасное яблоко, а мое даже не пытался поймать. Я был потрясен, когда увидел, как это делается, и всем говорил, что кино – сплошное надувательство”. Он развязал сверток, и на колени посы-

пались бумажки, испещренные детскими каракулями, – письма благодарных и восхищенных юных зрителей. А вот семейные альбомы, где тот же ангелочек на коленях у собственной мамы, фотографии родственников, именитых и не очень. Мы сидим, склонившись над драгоценным архивом, а рядом стоит нарядный блестящий рояль – неизменный свидетель и участник наших бесконечных телефонных разговоров.

В комнату вошла мать. “Мы собираемся в гости, – растягивая слова, громко сообщила она. – Каковы ваши планы?” Я подняла голову и увидела, что она расстегивает блузку. Оставшись в нарядной кружевной комбинации и распустив волосы, она неторопливо ходила по комнате, примеряя серьги, бусы, пудрясь, причесываясь. “Пойдем погуляем”, – предложил мой друг.

Боже, как хорошо на улице, как легко дышится. Ко мне опять вернулся дар речи. Мы смеялись, болтали, дурачились. Расстались поздно. Он поцеловал меня на прощанье и ушел своей летящей ванклиберновской походкой.

На следующий день встретились, как обычно, после занятий. Из-за дождя не пошли пешком, а поехали на трамвае. Сев на свободное место и положив себе на колени его папку, я принялась рассказывать что-то смешное о собрании нашей группы, но вдруг осеклась. На меня смотрели потухшие чужие глаза. “Что случилось?” – испуганно спросила я. “Ничего, просто не выспался”. В метро на переходе мы расстались. Он сказал, что мама просила прийти пораньше. Дальше я поехала одна. Стоя в вагоне, смотрела в черные окна поезда, а когда очнулась, поняла, что проехала свою станцию.

В тот день телефон молчал. Мой друг позвонил только поздно вечером и сказал, что был страшно занят – бегал по маминым делам: забирал в библиотеке книжки, носил машинистке статью. Наступила пауза. “Все-таки что случилось?” – сдавленным голосом спросила я. Он помолчал, как бы собираясь с силами. “Вчера, когда я вернулся, мама устроила скандал, сказала, что пора все это кончать и надо заниматься. Я же говорил тебе, что не стоит с самого начала портить с ней отношения. Помнишь тот вечер, когда ты отказалась к нам пойти?” Я молчала. “Не расстраивайся, все будет как прежде”, – дрогнувшим голосом сказал он.

Но “как прежде” не получалось. Все было так, да не так. Как в той игре, где просят найти десять отличий на двух почти идентичных картинках. На обеих – Большой зал консерватории, привычные места в бельэтаже слева, двое сидят рядом. Но на первой он смотрит на нее, а на второй – на сцену. На первой он перебирает ее пальцы, на второй – теребит программку. На первой, едва она открывает рот, он ловит каждое ее слово, на второй – не поворачивает головы.

Наступили зимние каникулы. Он пригласил меня на спектакль, в котором играла его тетя. Когда я сняла пальто, он ахнул: “Господи, что это на тебе? Что за дикий цвет?” На мне было новое платье, сшитое из бабушкиных запасов – из шерстяного отреза оранжевого цвета. Я мечтала его поразить и поразила. Во время антракта он умолял меня не выходить в фойе: “В этом платье нельзя появляться на людях, понимаешь? Я скоро вернусь”. Он появился, когда уже погас свет. “Смотри, что я принес”, – шепнул он и высыпал мне на колени горсть конфет. В награду за послушание.

А потом наступило лето. Мы с мамой уехали в Кисловодск. Отдых наш был активным: прогулка в горы, библиотека, концерты. Но я ждала только одного – похода на почту за письмами. Он прислал два письма. В первом советовал сходить на место дуэли Печорина и подробно рассказывал, как его найти. А во втором и последнем сообщал, что случилось несчастье: скоропостижно скончался отчим. “Мы теперь будем с мамой большими друзьями”, – писал он. А заканчивал так: “Помнишь песенку, которую ты пела на целине: *Que sera, sera, whatever will be, will be...* Я нашел хороший вольный перевод: *Как-то должно быть. Ведь не может быть, чтоб никак не было...*”

И снова осень. Метро “Сокольники”. 10-й трамвай.

“Майский просек”. Институт. Лекция. Он сидит на своем обычном месте на один ряд выше, и я могу поймать в зеркальце его лицо. После занятий идем через парк. Знакомый пруд, знакомые дорожки. Он рассказывает, как жил все это время. Задает вопросы. Разговор не клеится. “Что ж ты так редко писал?” Мы сели на скамейку. “Знаешь, этот год был для меня очень трудным. Я не хотел тебе говорить всего, но мама каждый день вылиwała на тебя ушаты грязи”. – “Какой грязи? Ведь она меня совсем не знает”. – “Неважно. Она говорила чепуху: что-то про походку, криво зашитый чулок и стоптанные туфли. Но ведь это действует, когда каждый день одно и то же. В общем, ты прости, но все изменилось”. Я запрокинула голову, чтоб сдержать слезы. Не было сил подняться. Время шло. “Пойдем”, – тихо сказал он и протянул мне руку. Мы медленно побрели к метро.

Переступив порог дома, я поняла, что отныне телефон будет молчать вечно. Кто бы ни позвонил. И вообще больше ничего не будет. Никогда. *Nevermore*, как у Эдгара По, которого он мне читал.

Вечером пришла мама. Взглянув на меня, испуганно спросила: “Что случилось?” Я молчала. “Ну поди ко мне скорей. Что случилось?” Она посадила меня на колени и стала качать, как маленькую. “Ну скажи скорей, ну скажи”. И тут меня прорвало. Я затряслась, забилась, слезы хлынули градом. “Что с тобой, девочка? Неужели ты из-за него? Неужели? Ну разве так можно? Ты же маленькая. У тебя все впереди. Ну постой, постой. Объясни, что случилось. Что у вас было? Ну скажи, что у вас было? Так убиваться можно, только если у вас что-то было. Ну скажи, что у вас было?”

“Ни-че-го не бы-ло, – выдавила я. – Ничего не было”. И, сползши с маминых колен, уткнулась лицом в подушку.

Потекли черные дни и черные годы. Но и черные, они были в светлую искорку, как мое парчовое платье, которое я давно перестала носить. Такой искоркой был его мелькнувший на лестнице голубой костюм, случайно перехваченный на лекции сияющий взгляд, сверкнувшая в коридоре улыбка. Мы редко говорили. Он не знал, как ко мне обращаться: полным именем звать не привык, а ласковым, домашним не решался.

В ту осень, когда мы расстались, я однажды вышла из института с подружкой. Шел дождь. Было сыкотно и промозгло. Мы стояли на остановке. Наконец показался трамвай.

“А что если я под него брошусь? – усмехнулась я. – Ну что ж. Все скажут: она бросилась под трамвай, потому что ОН ее бросил”. “Нет, только не это”, – с ужасом подумала я.

Несколько лет спустя я прочла замечательный рассказ о погибшей любви (к стыду своему, не помню ни автора, ни названия.) В нем была такая строчка (цитирую по памяти): “Кораблик по имени Катя стремительно от него уплывал”. Прочтя эту фразу, я вспомнила Сокольники, конец занятий, толпу студентов у выхода и то, как мимо меня стремительно пронесся мой уже бывший друг и вскошил в уходящий трамвай. Я еще несколько секунд видела его светлые волосы и голубой костюм.

“Ах, как мне грустно, грустно, грустно, как я страдаю, как страдаю, страдаю я, страдаю я”. Песенка, которая звучала в начале нашей “золотой симфонии”, оказалась пророческой. Хотя какое уж там пророчество. Наверное, только так и должна кончаться первая любовь. Обычная и неповторимая.

* * *

В 1958-м

Вот если пройду по бордюру, с него не сойдя,

То будет все так, как мечтаю, но чуть погода.
И он позвонит, даже может быть, через часок,
Лишь надо стараться, чтоб пятки касался носок.
Как трудно держать равновесие и не сойти
С бордюра ни вправо, ни влево, не сбиться с пути,
С пути, на котором я счастье хочу обрести,
Не ведая, что до него мне расти и расти.

* * *

У всех свои Сокольники
И свой осенний лес —
Тропинки в нем окольные,
Верхушки до небес.
С любовью угловатой,
С ее вихрами, косами
Бродили мы когда-то
В дождях и листьях осени.
Сокольники осенние,
Тропинки наугад.
Стал чьим-то откровением
И этот листопад.

Кофта с пупырышками

Летом 1959 года, сдав экзамены за второй курс, я должна была, как тогда полагалось, отработать месяц на стройке. Уезжала рано утром, возвращалась вечером. Лето было жарким, дорога длинной. Сперва я ехала в душных переполненных вагонах метро до Сокола, потом не то автобусом, не то трамваем, потом долго шла. Однажды утром с недосыпу попыталась подняться на эскалаторе, идущем вниз. Спасибо, кто-то вовремя оттащил меня, ухватив за ворот. С собой я всегда возила книжку Луначарского о киносценариях и бутерброды. Книжку так и не прочла, а бутерброды раздавала однокурсникам, предпочитая деликатесы, которые приносила с собой Валька Боганова: тонкие ломтики поджаренного хлеба с икрой, красной рыбой или яичницей с помидорами.

Все утро мы поглядывали на часы в ожидании обеда, а когда он оставался позади, скисали и считали минуты до отбоя. “Нервная работа, – приговаривала моя однокурсница Зойка, – целый день под движущимся краном”.

“Майна”, “вира”, – эти крики мне уже снились по ночам.

Нам, студентам, поручали разное: что-то подмести, что-то поднести, что-то покрасить. Когда работы не было, я усаживалась в сторонке и открывала своего Луначарского. И зачем я возила с собой эту нудную книгу? Сдается мне, причина была одна: я надеялась привлечь внимание однокурсника, который в ту пору занимал все мои мысли.

Вдруг заметит, какую умную книгу я читаю.

С нами, студентами, любили поболтать работающие на стройке тетеньки и молодые девицы. Одна из них предложила погадать нам. Мы с радостью согласились. Я оказалась первой. “Прижми ладонь к стене”, – скомандовала она. Я послушалась. “Замужем?” – спросила гадальщица.

“Нет”, – ответила я. “Вот на стенку и лезешь”, – заключила она. Девчонки, ждущие своей очереди, разочарованно похихикали и разошлись.

Мы все с нетерпением ждали, когда кончится трудовой месяц или хотя бы рабочая неделя. “Суббота, суббота, хороший вечерок”. По субботам нас отпускали пораньше. Когда я вернулась в ту злополучную субботу домой, мама и отчим накрывали на стол, собираясь обедать. Я едва держалась на ногах от усталости и страшно хотела есть. “Ну, что сегодня было?” – задала мама свой обычный вопрос.

“Ничего особенного. Все как всегда”. “А почему ты не переоделась?” – спросил отчим, когда я села за стол. “Есть хочу”. “Ну деточка, так нельзя, – настаивал он, – на стройке грязь, пыль. Надо переодеться. Кстати, ты, кажется, уезжала в кофте. Где она?” Я бросилась к сумке. В ней лежал Луначарский и остатки завтрака. Кофты не было. “Наверное, забыла в раздевалке”, – упавшим голосом призналась я. “Придется срочно ехать”, – решительно заявил отчим. “Когда? Сейчас?” – с ужасом спросила я. “Конечно, сейчас, срочно. Немецкая кофта, прекрасная, дорогая. Я же просил, умолял не брать ее с собой. Просил, умолял, – горячился отчим, – но ты ведь не желаешь слушать”. Мама пыталась уговорить его дать мне поесть, а уж потом решать, что делать. Но он был непреклонен: “Какой обед? Конец рабочего дня. Завтра воскресенье. В понедельник кофты не будет. Или ехать сейчас, или попрощаться с ней навсегда”. “Я устала”, – слабо сопротивлялась я. “Но, деточка, я же просил, умолял...” Конца фразы я уже не услышала. Резко поднявшись, я направилась к двери. Из-за слез я плохо различала дорогу, все ту же постылую дорогу до метро, на метро, от метро... “Но там ведь никого уже нет, – подумала я, – и корпус, в котором раздевалка, наверняка уже заперт. Зачем я притащилась?” Когда я входила на стройку, мне навстречу шли рабочие. Кое-кто уже был навеселе. Один парень, чье лицо мне было знакомо, шутливо спросил: “Решила сверхурочно поработать?” Но, приглядевшись, переменил тон: “Да ты никак плачешь. Что случилось-то?” “Я кофту здесь забыла”. “И что, из-

за этого притащилась из дома? В понедельник взяла бы”, – резонно заметил он. “Да нет. Мне велели сегодня”. – “Что, если не найдешь, заругают?” Я кивнула. “Ну и предки у тебя. А где кофта-то?” – “В пятом корпусе в раздевалке на четвертом этаже”. “Да корпус-то закрыт, – пробормотал он и, заметив проходившую мимо девицу, крикнул: – Васькукрановщика не видала?” Она покачала головой. “Жди меня здесь”, – приказал парень и убежал. Через некоторое время вернулся с тем, кого звали Васькой. “Ну что, красавица, будем кофту доставать?” – спросил он. Я молча смотрела на них обоих, не представляя, что они собираются делать. “Повезло, окна открыты”, – сказал Васька, взглянув наверх. Он полез в кабину крана, а Петька (так звали того, кто первым вызвался мне помочь) ухватился за крюк. “Вира!” – крикнул он. Не веря своим глазам, я смотрела, как Петька поднимается все выше и выше. “Стоп! – он поравнялся с четвертым этажом. – Давай ближе, ближе, стоп!” Отцепившись, Петька шагнул на подоконник и скрылся в раздевалке. Через некоторое время вновь появился в окне, держа в руках какую-то кофту. “Эта?” – крикнул он. “Нет!” – ответила я. “Эта?” – “Нет!” – “Эта? Эта?” Я уже готова была согласиться на любую, лишь бы он прекратил поиски. “Моя – пестрая с пупырышками”. “С чем?” – не расслышал он. “С пупырышками!” – “С крылышками?” – “Да нет, с пупырышками!” Господи! Дались мне эти пупырышки. Зачем я про них сказала?! “Эта?” – крикнул он, размахивая моей кофтой. “Да-а-а!” – заорала я не своим голосом. Засунув за пазуху кофту, Петька снова прицепился к крану, скомандовал: “Майна!” – и поплыл вниз.

“Ну чего ты теперь-то ревешь?” – спросил он, вручая мне кофту. “Спасибо вам, – всхлипывала я, – и вам спасибо... большое. Я вам так...” “Да ладно, чего там. Привет предкам”, – сказал Петька, и они с Васькой направились к выходу. Я двинулась за ними.

Едва я вошла в комнату, мама и отчим рванулись мне навстречу. “Боже мой, девочка, – виновато причитала мама, – как тебе удалось ее найти? Ну садись, ешь скорее. Ты ведь так устала!”. “Вот умница, вот умница, – повторял отчим, – хлеб будешь?” Он отрезал кусок хлеба и густо намазал его маслом. “Ну ешь, ешь. Слава Богу, нашла кофту. Больше никогда не бери ее с собой. Такая кофта! Немецкая, чистая шерсть!”

Фальшиводокументчица

Если на первом семестре второго курса я еще с грехом пополам посещала уроки физкультуры, то на втором решила завязать. Причина таилась в том, что две наши группы, мою и моего друга, неожиданно объединили. Это значило, что придется НА ЕГО ГЛАЗАХ скакать по залу с зажатым между лодыжек мячом, который, конечно же, будет постоянно выкатываться; прыгать через козла, непременно на нем застревая; лезть на брусья, чтоб на трясушейся ноге делать ласточку. А тут еще и учителя сменили. Если раньше у нас был молодой лысый картавый преподаватель, терпеливо приговаривающий: “Пуыгай, Миллеу, пуыгай”, то на втором семестре его сменила молодящаяся дама, прозванная за свои ярко-синие спортивные брюки “синештанной”. Она с нами не церемонилась, действуя по армейскому принципу “не можешь – научим, не хочешь – заставим”. Посетив одно занятие, я поняла, что на второе не пойду. В часы физкультуры я торчала в библиотеке или, прильнув к щелочке в двери спортзала, наблюдала, как ловко мой друг отжимается, держит угол, крутится на брусках. Так я дожидая до весенней сессии. И вдруг гром среди ясного неба: меня не допускают к экзаменам – нет зачета по физкультуре. Я бросилась искать “синештанную”. Заглянула в спортзал, в учительскую, в столовую и наконец заметила ее синие брюки в буфете. Деликатно дождавшись, пока она дожует пирожок, я обратилась к ней с дурацким вопросом:

“Как быть с зачетом?” “Не знаю”, – ответила та, доставая из “широких штанин” пудреницу и помаду. “Но ведь меня не допускают к экзаменам”. “Сама виновата”, – резонно парировала “синештанная”, покрывая губы толстым слоем краски. “Иди в деканат”, – посоветовал мне кто-то из ребят. Подождав в приемной, я оказалась в необъятном кабинете, где за необъятным столом сидела пожилая сухая седая узкогубая деканша. “Слушаю”, – произнесла она, оторвавшись от бумажек и приподняв очки. “Меня не допускают к сессии, потому что я не получила зачета по физкультуре”. – “А почему не получила?” – “Не ходила”. – “А почему не ходила?” Я промолчала. “Болела, что ли?” Я кивнула. “Принеси справку”. – “А можно мне сдать зачет сейчас?” – “Вопрос не по адресу. Ступай к преподавателю”. – “Я уже была у нее”. – “И что же?” Я пожала плечами и робко спросила: “А вы не можете распорядиться, чтоб она приняла у меня зачет?” – “А с какой стати? Ты пропускала занятия, а я прикажу ей поставить тебе зачет?!” – “Но я же хочу попробовать его сдать”. – “Вот и пробовала бы раньше. Почему ты вообще пришла сюда?” – “Мне посоветовали к вам обратиться.” – “Зря посоветовали”. Поняв, что разговор окончен, я снова отправилась вниз, в спортзал к “синештанной”. “Можно сдать зачет?” “Какой зачет? – воскликнула та, явно получая удовольствие от моего растерянного вида. – Оценки выставлены, итоги подведены, ведомости сданы, я ухожу на пенсию. Так что теперь уж как-нибудь без меня”. И снова тем же путем – коридор, лестница, приемная – в деканат. “Зачем ты опять пришла?” Я пересказала разговор с “синештанной”. “Что же ты хочешь от меня? Липовых зачетов мы не ставим. Болела – неси справку. Иначе к сессии не допустим”. По дороге домой я думала только об одном: “Что сказать маме? Дальше скрывать невозможно”. Как я и ожидала, мама была в бешенстве. “Как ты могла? Как посмела? Я целый год работала как проклятая, нанимала учителей, чтобы ты поступила, а ты из-за какой-то ерунды...” Она метнулась к телефону и набрала бабушкин номер: “Мама, произошла катастрофа: эту дрянь могут выгнать из института. Не кричи, слушай и не задавай вопросов. Срочно нужна справка, что она болела. Причем серьезно, потому что пропущено много уроков. Попроси свою Полину Вульфовну. Объясни, уговори, сделай что угодно, но справка нужна срочно”. Полина Вульфовна, бабушкин районный врач, добрая душа, к которой больные ходили не только с жалобами на здоровье, но и с жалобами на все на свете, написала в справке, что я, переболев гриппом, получила осложнение на сердце. Осложнение имело красивое название, которого я не помню. Получив драгоценную бумажку я, ошалев от счастья, полетела в Сокольники. До экза-

менов оставалось всего ничего, а я еще и не начинала готовиться. Только бы поскорее все это закончить, отдать справку и забыть о ней. В институте было пусто и прохладно. Занятия завершились, и лишь у доски с расписанием экзаменов толпились студенты. Мне повезло – в приемной никого не было, и деканша оказалась на месте. Войдя в кабинет, я с торжествующим видом протянула справку. Взяв ее в руки, деканша принялась внимательно изучать бумажку. “Кто тебе это дал?” – спросила она, подняв голову и вперившись в меня взглядом. Я похолодела и, чуя недоброе, решила не называть фамилию.

“Там же написано”. – “Написано неразборчиво. Так как фамилия?” – “Не помню”. “Ты что, не знаешь фамилию своего участкового врача?” – “Это не мой врач. Когда я болела, то жила у бабушки”. “Та-а-ак, – удовлетворенно протянула деканша, и ее тонкие губы растянулись в иронической улыбке. – Та-а-ак, что это за врач, мы еще выясним. Значит, ты болела гриппом и заработала осложнение. Если это так, ты должна была пропустить немало занятий и по другим предметам. Все это мы сейчас проверим”. “Милочка, – обратилась она к секретарше, – достань-ка мне журнал 205-й группы и позови медсестру. Да пусть она захватит карточку Миллер”. Все происходящее казалось мне дурным сном, в котором к тому же появилось подобающее этому сну новое действующее лицо – хромая горбунья в белом халате. Она славила тем, что каждому входящему в ее кабинет студенту ставила диагноз “злостный симулянт”. Посмотрев на меня как удав на кролика, горбунья положила какую-то папку на стол деканши. Дальнейшее забыто. В памяти остался лишь самый конец сна и металлический голос, который произнес: “Ну что же. С тобой все ясно. Никаким гриппом ты не болела, никаких занятий, кроме физкультуры, не пропускала, на сердце не жаловалась. Справка твоя фальшивая и останется здесь. А ты можешь идти. Когда понадобится, пригласим”. Мои ноги приросли к полу.

“Что еще?” – спросила деканша. “А можно мне послезавтра сдавать экзамен?” – произнесла я, с трудом шевеля губами. Деканша хлопнула ручкой по столу и, откинувшись на спинку кресла, захохотала сатанинским смехом: “Экзамен, говоришь? Да ты же фальшиводокументчица. Тебя судить надо”. Потом, перестав смеяться, деловым тоном добавила: “Завтра будет приказ об отчислении. Потом соберем общеинститутское собрание и решим, что с тобой делать дальше. Исключение из комсомола тебе обеспечено, а там посмотрим. Больше вопросов нет? Можешь идти”.

Не помню, как я вышла из института, как добиралась до дому, что говорила маме. Помню только, что через некоторое время я снова оказалась на улице, но не одна, а с мамой. Мы дошли до метро, доехали до станции Сокольники, сели в нужный трамвай и сошли возле института. В кабинет декана мама вошла без меня. Я осталась ждать в самом темном углу коридора. Мамы не было целую вечность. Когда она наконец появилась, то, даже не попытавшись отыскать меня взглядом, направилась к выходу. Я двинулась за ней. Мы молча дошли до трамвайной остановки. И вдруг, повернувшись ко мне, мама ударила меня по лицу. “Дрянь, – повторяла она, рыдая, – дрянь ты этакая. Из-за тебя я валялась в ногах, по полу стелилась, на коленях ползала”. Я молча смотрела на нее, и вдруг слезы хлынули у меня из глаз. Впервые за все это время я плакала, захлебываясь слезами, и не могла остановиться. Подошел трамвай. Мы сели на заднее сиденье, и, обняв меня за плечи, мама зашептала: “Ну все, все, успокойся. Этой справки больше не существует. Нам повезло: во время разговора в кабинет вошла замдекана. Она оказалась очень милым человеком. Когда я упала на колени, она бросилась меня поднимать, а когда узнала, что твой отец погиб на фронте и я одна тебя растила, подбежала к столу и разорвала справку на мелкие клочки. “Пусть приходит и сдает экзамены, – сказала она, – беру все на себя”. Сессию я сдала хорошо, но каждый раз возле аудитории, где проходил экзамен, появлялась похожая на призрак деканша и, улыбаясь тонкими бескровными губами, грозила мне пальцем. Как будто боялась, что я ее забуду.

Роман с английским

На раннем этапе мои отношения с английским строились весьма драматично: это были сплошные незнакомства (да простят мне ахматовское слово в столь несерьезном контексте). Первая незнакомка состоялась на заре 1950-х летом в Расторгуеве, куда, как обычно, выехал детский сад, где работала бабушка. На сей раз я жила не в группе, а с бабушкой и всем “педсоставом”, как тогда говорили. Среди педсостава оказалась воспитательница, знающая английский. У нее был с собой адаптированный “Оливер Твист”, с помощью которого она регулярно пыталась собственного сына, а позже, по бабушкиной просьбе, и меня. Сирота Оливер не вызывал во мне ничего, кроме жалости. Но жалела я не его, а себя. Мало мне школы, на дворе лето, за калиткой визжат и возятся “воспитательские” дети, а я почему-то должна сидеть на жаркой террасе и тупо повторять: “*Work house* – рабочий дом”. Вот, пожалуй, и все, что я вынесла из тех занятий.

Вторая незнакомка произошла в Москве. “*Step by step*”, – торжественно произнес отчим название толстой потрепанной книги, по которой когда-то сам пытался учить английский, и, энергично поплевав на пальцы, перевернул страницу. Домашнее обучение началось. “*This is a carpet*”, – произнес он, тыча в висевший на стене ковер. “*This is a table*”, – сообщил он, хлопнув по столу ладонью. “*Three little pigs*” – объявил, указав на картинку в книге. Все слова он произносил громко и радостно, но с особым удовольствием – слова с межзубным звуком, который для простоты заменял на “с” или “з”. Мама была довольна: плюс к школьному я получала дополнительную порцию английского дома. Сама она, несмотря на какие-то мифические курсы Берлица, которые когда-то посещала, не могла мне помочь. Изредка произносимые ею английские слова звучали столь причудливо и вызвали у меня такое недоумение, что она виновато умолкала. Школьный же английский, породивший все эти дополнительные хлопоты, не помню совсем. Первые и последние воспоминания о нем относятся к 1953 году – году “дела врачей”. “Англичанкой” в нашем 7 “Г” была Софья Наумовна – невысокая женщина с приятными чертами лица и проседью в пышных волосах. Когда началась вся эта свистопляска и газетная травля, она так нервничала, что едва могла вести урок. Мне даже казалось, что она боялась особо нахальных и злобствующих девиц (а таких в нашем классе было немало) и, заискивая перед ними, завышала им оценки. Меня Софья Наумовна в ту пору почти не замечала и редко спрашивала, но, встретив однажды на улице, назвала по имени и ласково поздоровалась.

Вот и весь мой ранний английский. И как я оказалась в инязе, сама не знаю. Впрочем, если разобраться, все объяснимо. Язык мне давался легче, чем другие предметы. Химичка звала меня “дубиной стоеросовой”. Математичка, физик и учитель черчения наверняка думали так же, но отличались большей выдержкой. С историей, особенно древней, все было бы хорошо, если бы не имена и даты. А литература... О, литература – это особая статья. Я любила ее, но не школьную, не препарированную автором учебника и моей учительницей, которая за шаг влево или вправо от жесткого плана сочинения беспощадно вклеивала двойку. Сочинение и явилось тем барьером, который я не смогла взять на вступительных экзаменах на филфак МГУ.

О жаркое лето 1957-го! Прохладные металлические ступени университетской лестницы, где я сидела в полном трансе, не найдя своей фамилии среди допущенных к следующему экзамену.

О жаркое лето Всемирного фестиваля молодежи – события, абсолютно прошедшего мимо меня, потому что я, провалившись в Университет, сделала по маминой просьбе отчаянную попытку поступить в Институт иностранных языков. Экзамен, которого совсем не помню, – это экзамен по языку (опять незнакомка). Зато отлично помню, как сдавала историю, вытащив билет № 29 (“Триумфальное шествие Советской власти и поход Степана Разина за

зипунами»), – единственный, которого боялась, потому что не выучила и успела повторить лишь перед самым экзаменом, дожидаясь своей очереди в душном коридоре.

Итак, иняз. Вот когда, по логике вещей, должна наконец-то произойти моя встреча с английским. Но жизнь выше логики – или по крайней мере совсем другое дело. Иняз для меня все, что угодно, но только не постижение языка.

Иняз – это прежде всего освобождение от ненавистной школы, головокружительное чувство новизны, интеллигентные преподаватели, говорящие студентам “вы”. Иняз – это много-часовые разговоры по душам с подружкой, веселая праздность и не менее веселый экзаменационный аврал. Иняз – это не столько Чосер, Шекспир и Байрон, сколько лихо распеваемые нами по-английски джазовые песенки, ради которых на наши институтские вечера рвалась вся московская золотая молодежь. Иняз – это три с половиной целинных месяца, степные просторы и долгие ночные прогулки под густыми звездами. Это любовь, которая сделала институт в Сокольниках самым счастливым, а позже самым несчастливым местом на земле.

Ну а как же английский? А как же дивные институтские преподаватели? Серьезный и умный Наер, фанатично влюбленный в язык коротышка Венгеров, темпераментная, с живыми глазами, громким смехом и постоянной сигаретой в руке Фельдман, высококлассные специалисты по стилистике и переводу Рецкер и Кунин, многочисленные американцы, вернее американские евреи, по высокоидейным соображениям переселившиеся в Россию в 1930-е годы? Неужели вся их наука прошла мимо меня? А как же мои регулярные походы в Разинку¹⁷, где неотразимый Владимир Познер делал обзор новинок английской и американской литературы? Неужели все мимо? Наверное, нет. Наверное, я что-то все-таки усваивала даже помимо собственной воли. Но насколько же меньше, чем могла. Оглядываясь назад, вижу, что в студенческие годы мой роман с английским то затухал, то вспыхивал с новой силой. На первом курсе идея выучить язык казалась мне весьма оригинальной и привлекательной. И не только мне, но и моей подруге. Мы приняли твердое решение каждый день беседовать по-английски. Начали бодро. Обложившись словарями, пытались обсудить какую-то театральную постановку. Однако наши мысли и эмоции оказались настолько богаче словарного запаса, что мы постепенно перешли на русский.

Желание блеснуть совершенным знанием языка жило в каждом из моих сокурсников. “*Why not?*” (“Почему нет?”) – к месту и не к месту восклицал один, сопровождая вопрос усмешкой. “*There is no doubt about that*” (“В этом нет сомнения”), – выкрикивал другой, небрежно стряхивая пепел с сигареты. Бросить какую-то случайную фразу, лихо сострить, “сорваться на английский”, как у нас говорили, казалось особым шиком. Однако подобные попытки часто кончались полным конфузом. Помню, как одна наша студентка завершила свою шутку звонким *Isn't you?* Все засмеялись, но не остроте, а ошибке¹⁸, позорной, невозможной в стенах языкового вуза. Но... “и невозможное возможно”. Блестая высокопарными, сложными и весьма книжными фразами, взятыми из учебников и книг по домашнему чтению, мы вряд ли могли без затруднения попросить поставить чайник или отреагировать на элементарное “спасибо”. Вот откуда брались учителя, подобные учительнице, с которой я по окончании института работала в спецшколе. Однажды к ней на урок пришли гости из Австралии. Уходя, они поблагодарили ее сердечным *Thank you*, на которое она ответила не менее сердечным и совершенно русским *Please*¹⁹. Тем не менее иняз весьма презрительно относился к МИМО, считая его на порядок ниже и рассказывая о нем уничижительные анекдоты. Хотя бы такой. Диалог между

¹⁷ Так называли Библиотеку иностранной литературы, располагавшуюся в те годы на ул. Разина (ныне Варварка).

¹⁸ Правильно – *Aren't you*.

¹⁹ Правильно – *You're welcome*.

двумя прохожими в Нью-Йорке: “Which watch?” – “Five clocks”. – “Such much?!” – “МИМО?” – “МИМО!”²⁰

Наверное, иняз действительно учил более рафинированному языку и давал более широкое и серьезное лингвистическое образование. Нам читали курс по истории языка, языкознанию, фонетике, психологии, литературе. Правда, нас также пичкали истматом, диаматом, историей партии. Много времени уходило на педагогику и практику в школе, которую я принимала как горькое лекарство. Но что было делать? Я училась на педагогическом отделении. На переводческий девочек не брали. И все же никакие истматы, никакая практика в школе, никакие изъяны в обучении не могли помешать овладеть языком тому, кто этого действительно хотел. Помню студентов старших курсов, с которыми была на целине. Помню, с каким восторгом я следила за их состязанием в синхронном переводе, когда один быстро читал весьма сложный русский текст, а другой столь же быстро вторил ему по-английски. Несмотря на некоторый академизм преподавания и явный дефицит живой разговорной речи, за пять институтских лет можно было многому научиться. Хотя бы тем необычным способом, каким когда-то учился наш преподаватель Венгеров. Говорят, что он, будучи студентом, часто приходил в преподавательское общежитие в Петроверигском и, отловив кого-нибудь из *native speakers* (носителей языка), просил разрешения тихонечко посидеть в углу и послушать живую речь. Так он погружался в естественную языковую среду.

Я тоже одно время регулярно посещала общежитие в Петроверигском. Этот факт достоин упоминания лишь потому, что ездила я туда с единственной целью – брать частные уроки у старого преподавателя нашего института Фридмана. И происходило это тогда, когда я уже кончила иняз и считалась дипломированным специалистом. Бедный славный Фридман испытывал страшные муки, занимаясь со мной. “Да вы все знаете, – говорил он, – ну зачем вам это? Я не могу брать с вас денег. Вы сами можете давать уроки”. Но я была непреклонна и терзала старика целый год. Такие приступы случались со мной и позже, и тогда я принималась ездить через всю Москву, чтоб брать уроки у своих бывших преподавателей. Но это все потом. А в годы, предназначенные для учебы, я не только не лезла из кожи вон, но даже не отличалась особым прилежанием. Однажды после урока по домашнему чтению (мы тогда читали “Трое в лодке” Джером Джерома) молодая симпатичная преподавательница подозвала меня и деликатно попросила не смеяться так откровенно на уроке, читая заданную на дом главу: “Ведь сразу видно, что вы только что открыли книгу”. Нет, я не была плохой студенткой, но все делала от сих до сих: учила требуемый список выражений, грамматику, статьи из *Moscow News*, политический словарь. Иногда в период очередного наплыва чувств к английскому сидела в лингафонном кабинете, слушая отрывки из классики в исполнении английских актеров и чтецов, и даже запоминала кое-что наизусть. Например, знаменитое *Bells* Эдгара По или не помню чье стихотворение, начинающееся словами *Do you remember an inn, Miranda? Do you remember an inn*²¹? Но все это было как во сне. Слишком много другого происходило со мной в те годы: дружба навеки, любовь до гроба, крах того и другого, да еще этот постоянный поиск смысла жизни. Ну не в изучении же языка он, в самом-то деле. Так все и шло, пока не случилось нечто, заставившее меня очнуться. На одном из старших курсов, подойдя к преподавательнице, чтоб попросить ее поставить подпись под каким-то документом, я вдруг поняла, что не знаю, как это сказать по-английски. Испытав чувство физического к себе отвращения, я решила немедленно начать новую жизнь.

И начала. Следуя примеру некоторых моих однокурсников, принялась охотиться на живых носителей языка, чтоб, устранив дефицит живой разговорной речи, общаться с ними в неформальной обстановке. Моей первой добычей стала сестра знаменитого скрипача Иегуди

²⁰ Обыгрывается неправильная грамматика английского языка.

²¹ Стихотворение Хилер Беллок.

Менухина – пианистка, приехавшая вместе с ним на гастроли. Муж этой дамы имел собственную психиатрическую клинику не то в Штатах, не то в Англии, и она попросила меня сопровождать ее в одну из московских психбольниц, где ей обещали встречу с главным врачом. Войдя в больницу, не помню какую, мы были сразу же остановлены грубым окриком. Некто в белом халате принялся на нас орать, заявив, что мы вошли не в ту дверь. Моя спутница заволновалась: *What does he want? What does he want?* (“Что он хочет?”) Услышав английскую речь, бедняга замер с открытым ртом. Воспользовавшись паузой, я объяснила ему, кто мы и зачем пришли. Дальше все происходило как в плохом кино: кланяясь и улыбаясь, человек в белом халате повел нас в кабинет главного врача. Он преобразился столь стремительно, что на него было больно смотреть. *“How nasty, – твердила гостья, следуя за нами. – It’s all because I am a foreigner. How nasty”*. (“До чего противно! Это все из-за того, что я иностранка”).

Следующей моей добычей была американская чета, приехавшая на международный онкологический конгресс: хирург Норман и его жена Милдред. Я познакомилась с ними, регистрируя участников конгресса в гостинице “Украина”. Миниатюрная Милдред постоянно рассказывала о своих четырех детях, а долговязый Норман, увешанный фото и киноаппаратами, хотел знать все. Заметив возле Белорусского вокзала бабулю с огромным грузом на спине, потребовал: “Лариса, пойдите и спросите, что у нее в мешке”. И был очень разочарован, когда я сказала, что это неудобно. Увидев спящего на улице пьяного, достал фотоаппарат и попытался его сфотографировать, вызвав праведный гнев патриотически настроенных прохожих. К моему великому смущению, шнуруя башмак, он поставил ногу на сиденье автобуса, а к моему восторгу – удивительно чисто и красиво насвистывал фортепианный концерт Грига и разную прочую классику. Когда мы прощались, они оба признались, что, не понимая, как можно работать бесплатно, поначалу опасались, не из КГБ ли я. Однако, узнав меня получше, успокоились. Расстались мы большими друзьями, и несколько лет кряду я получала от них рождественские открытки с изображением всей семьи и собаки. Но это все были встречи кратковременные и мимолетные.

Самым значительным событием в моей “английской” жизни оказалась работа на британской торговой выставке в Сокольниках в 1961 году. Это была моя первая официально оформленная деятельность, за которую по истечении двух недель я даже получила зарплату. Придя на стенд с надписью “Электроника”, я оказалась в обществе очень милых джентльменов. Помню трех: длинного худого Джеффа, изящного мистера Виллоуби и плотного пожилого господина семитского вида. Сентиментальный Джефф без конца всему умилялся: то березам в парке, то голубям возле Университета, то моей косе. Маленький, в добротной серой тройке и с трубкой во рту мистер Виллоуби был постоянно одержим желанием попутешествовать по России и завороченно твердил: “Омск, Томск, Минск”. Эта страсть привела его однажды на Белорусский вокзал, где он, поддавшись дорожной лихорадке, сел в электричку и проехал несколько остановок. О своем приключении он рассказывал с гордостью десятилетнего мальчика, сбежавшего из дома. Пожилой джентльмен семитского вида все время пытался со мной уединиться, чтоб выяснить, как живут евреи в СССР. Однажды ему удалось загнать меня в угол и закрыть собой все пути к отступлению: “Говорят, у вас в стране сильный антисемитизм. Говорят, евреям трудно получить высшее образование. Это так?” “Но вы же видите, – ответила я, пытаясь выбраться из засады, – я же учусь”. И тут раздался насмешливый голос мистера Виллоуби: *“Russian girls know all the answers”*. (“Русские девушки знают ответы на все вопросы”).

Однажды, раздавая буклеты посетителям выставки, я заметила на себе чей-то внимательный взгляд. Думая, что человек ждет буклета, подошла к нему и услышала отчетливый шепот: “Вас будут ждать в шесть пятнадцать на скамейке возле павильона”. Не вполне осознав, что случилось, я поняла, что послушаться нельзя, и ровно в шесть пятнадцать была в указанном месте.

К великому моему изумлению, на скамейке сидел Толя Агапов, наш недавний выпускник, с которым три года назад мы были вместе на целине. У меня отлегло от сердца: добродушный, широколицый, с ямочками на щеках, улыбчивый Толя вряд ли мог представлять опасность. Он и правда говорил со мной дружески и, как мне казалось, откровенно. Выяснилось, что Толя по распределению попал в КГБ и, сидя со мной на скамейке, выполнял свои прямые обязанности. Он расспрашивал меня о “моих” англичанах: о чем говорим, куда ходим. Когда я забыла упомянуть прогулку с Джеффом на Ленинские горы, он мне о ней напомнил. “Раз ты и так все знаешь, зачем же спрашивать?” – удивилась я. “Затем, чтобы ты чувствовала ответственность”, – без улыбки пояснил он. “А вообще будь осторожна. Это же такое дело... еще влипнешь”, – понизив голос, доверительно сообщил Толя. Несколько лет спустя я узнала, что он сперва запил, а потом покончил с собой. Самоубийство никак не вязалось с его обликом. Видимо, работа в органах не вязалась с ним еще больше.

В день закрытия выставки меня вызвали в специальную комнату и велели написать отчет, то есть письменно изложить то, что я прежде рассказала Толе. “О великий могучий русский язык” язык родного КГБ, ревниво оберегавшего меня от слишком активного общения по-английски.

“О великий могучий”, на который требовалось перевести незамысловатые английские диалоги. Подобный опыт сильно охладил мой пыл и поубавил желание общаться с англоязычными. И все же работа на выставке стала моей первой настоящей ВСТРЕЧЕЙ с английским. Я увидела, что на этом языке острят, грустят, сентиментальничают, заказывают еду в кафе, восторгаются балетом, рассказывают о семье и кошке. Причем вовсе не по тем скучным матрицам, что существовали в наших учебниках. И не на старомодном, хоть и красивом английском Диккенса и Голсуорси, которых мы штудировали на уроке. Существовал живой язык, и я с головой в него окунулась.

Воспоминания об этом были столь яркими, что спустя восемь лет я, несмотря ни на что, снова согласилась поработать в Сокольниках. Мне позвонили и сказали, что срочно требуется переводчица на уже открывшуюся международную выставку. На следующий же день я была в знакомом парке и в знакомом павильоне. Но, как известно, нельзя дважды ступить в тот же поток. На сей раз моим хозяином, именно хозяином, оказался молодой высокий плечистый немец, живущий в Штатах и представляющий американскую фирму. Он встретил меня весьма сухо и, коротко ознакомив с экспонатами, сел читать газету. Каждое трудовое утро начиналось с того, что мой хозяин с брезгливым видом проводил пальцем по столу и аппаратуре и подносил палец к моим глазам. Убедившись, что я не собираюсь делать надлежащих выводов, наконец изрек: “Лариса, в ваши обязанности входит вытирать пыль, подметать и готовить кофе”. Попроси он иначе, я бы, может, и согласилась, но этот тон... “Меня прислали сюда как переводчицу”, – ответила я. “Кто прислал? КГБ? – вскинулся он. – Одну убрали, проштрафилась, плохо доносила. Вместо нее прислали другую. Будете отрицать?” “Я и не знала, что пришла на чье-то место”, – начала я, но поняла, что оправдываться бесполезно. А он продолжал, все больше распаляясь: “Скажите, в этих стенах нет микрофонов? Нам все объяснили, когда мы сюда ехали. Раз, два, три, четыре, пять, – неожиданно закричал он, оглядывая потолки и стены, – я не хочу в вашу Сибирь. Слышите? Я вас не боюсь”. И снова обращаясь ко мне: “Почему вы разрешили вашему правительству ввести в Чехословакию войска?” “Меня никто не спрашивал”, – ответила я. “Надо, чтоб спрашивал”, – парировал он. “А вас спрашивали, когда в Германии уничтожали евреев?” Он осекся и, помолчав, мрачно сказал: “*The nation went mad*” (“Народ сошел с ума”). Было видно, что мой вопрос его задел. Он стал объяснять, что, хотя тогда и не жил, на нем тоже лежит груз вины, который невозможно сбросить. С этого дня мой немец стал со мной немного любезней, разговорчивей и даже изредка позволял себе улыбнуться. Тем не менее каждое утро приветствовал меня одним и тем же вопросом: “*Writing reports?*” (“Пишете отчеты?”). Что касается этих самых *reports*, то мне не пришлось их писать

до самого последнего дня. “Почему от вас не поступило ни единого отчета?” – осведомились у меня, пригласив в ту же комнату, где я была в 1961-м. “Но мне никто не говорил”, – ответила я. И это было чистой правдой: я появилась на выставке с опозданием, и со мной позабыли провести инструктаж. Так что мой единственный отчет состоял из короткой информации о фирме, ее экспонатах и ее представителях.

Пока я писала, в комнату вбежала переводчица с соседнего стенда. Ее щеки пылали, на глазах были слезы, а в дрожащей руке – лист бумаги. Из ее сбивчивого рассказа я поняла, что к ней на стенд подбросили письмо с просьбой о политическом убежище. Все оживились, задвигались, кто-то вышел, кто-то вошел, куда-то позвонили. Я поспешила поставить точку и исчезнуть. “Все. С выставками покончено, – решила я. – И на что они мне дались? Мало ли других возможностей?”

Через год или два я познакомилась с двумя очень милыми англичанками – аспирантками моего старшего друга, ленинградского профессора В. А. Майнулова. Одну звали Цинция, другую Венди. Цинция занималась Волошиным, а Венди Багрицким. Цинция ленилась говорить по-русски и с облегчением переходила на английский, а трудолюбивая Венди пользовалась малейшей возможностью поупражняться в русском. Я подружилась с обеими, но Цинция уехала раньше, а Венди пробыла еще несколько месяцев. Она охотно приходила ко мне в гости и приезжала на дачу в Востряково. Дружба с ней была для меня подарком. Впервые я могла говорить не просто с живым носителем языка, но с человеком, близким по интересам. Наконец-то я получила возможность беседовать по-английски (мы договорились часть времени пользоваться русским, часть английским) о том, что меня действительно волновало: о литературе, театре, образовании, традициях.

Но, к великому сожалению, и этот опыт кончился плачевно. Моего мужа неожиданно вызвали на работе в первый отдел, где огромный молодой человек, Эдик с Лубянки, объяснив, что Венди не просто аспирантка, очень настойчиво “попросил” контакты не прекращать и обо всем сообщать. Нам оставалось одно: немедленно предупредить нашу знакомую, что она в черном списке. Но как это сделать? Всюду глаза и уши. Наконец мне явилась счастливая мысль пригласить ее туда, где она наверняка не была и где вряд ли нас будут подслушивать, – в баню. Встретившись у кинотеатра “Метрополь”, мы отправились в Центральные бани.

“Блестящая идея”, – хвалила я себя, входя внутрь. Но в раздевалке рядом с нами строилась моложавая блондинка, которая, как мне казалось, ловила каждое наше слово (чтоб не привлекать к себе излишнего внимания, мы говорили по-русски). Это меня насторожило, и я решила отложить важное сообщение до парной. Но и в парилке разговора не получилось. Моя гостя, ошеломленная жаром, паром, видом распаренных тел и шлепающих по ним веников, побледнела и стала медленно оседать. Я подхватила ее и вывела прочь. Усадив бедную девушку на скамью и дав ей немного отдышаться, я ошеломила ее еще раз, и куда сильнее, чем прежде. Слушая мой рассказ, она потрясенно повторяла лишь одно: “*No, oh no*”. Потом на возбужденном и торопливом английском принялась шепотом переспрашивать, благодарить и сокрушаться: “Значит, меня больше сюда не пустят, никогда не пустят”. Мы тепло простились, понимая, что прощаемся навсегда. И лишь недавно, двадцать два года спустя, мы снова случайно нашли друг друга. Я получила от Венди длинное и подробное письмо, в котором она сообщала, что преподает русский в Ноттингемском университете, пишет статьи и книги о русской литературе, среди них – книга о поэзии Анны Ахматовой, прекрасно помнит наши беседы и прогулки в Востряковском лесу, моего трехлетнего сына и ленивые вареники моей гостеприимной бабушки.

Безоблачного романа с английским не получалось. И не только потому, что то и дело появлялся “третий лишний”, но и по причинам чисто внутренним: долгие поиски смысла жизни привели к тому, что я начала писать стихи и все связанное с английским рассматривала как помеху. В особенности спецшколу, куда попала по распределению после института. Школа

грозились съесть меня с потрохами: подготовка к урокам, дети, которых надо ублажать, учить и держать в узде, педсоветы, тетради. И так каждый день. Однажды, когда я выходила из школы, меня окликнула скромная и не очень молодая женщина. “Простите, – робко сказала она, – но мой Филипок уже неделю встает ни свет ни заря и повторяет стихотворение, которое вы ему задали. Прошу вас, спросите его, он совсем извелся”. Господи, как я могла о нем забыть? Не помню, как дожидаясь следующего дня и, едва переступив порог класса, вызвала лопоухого второклашку к доске. Тот, волнуясь, проглатывая слова, торопясь и спотыкаясь, прочел свой стишок и получил пятерку. Глядя, как он несет дневник с драгоценной отметкой, как бережно кладет его на парту, глядя на его счастливые глаза и пылающие уши, я с ужасом думала: “А что было бы, если бы его мать не решилась ко мне подойти? Надо срочно бежать отсюда, пока не наломала дров”. Уйти из школы помогла завуч. Выдержав войну с РОНО, она добилась моего досрочного освобождения. А на прощание сказала: “Что ж, иди, нам транзитники не нужны. Но помни: не смогла работать в школе – не сможешь писать стихи”. С таким приговором я вышла из дверей школы, места моего боевого крещения.

Вся дальнейшая служба была вечерней: вечерние городские курсы, заочный политехнический институт и, наконец, вечернее отделение истфака МГУ. Круг замкнулся: я снова оказалась в старом здании на Моховой. Но на этот раз не в роли провалившейся абитуриентки, а в роли преподавателя. Передо мной стоял красивый темноволосый и темноглазый юноша, мой студент, и, слегка заикаясь, упрямо твердил: “Я не могу вернуться домой без зачета. Мама не переживет. Она сердечница”. “Но я не могу поставить вам зачет. Вы ничего не знаете”, – не менее упрямо повторяла я. “Нет, я не уйду, я не могу”. “Хорошо, давайте зачетку, – сдалась я, – поставлю зачет. Но не вам, а вашей маме. Вам поставлю, когда подготовитесь. Зачет действителен, только если проставлен в ведомость. Так что советую учить”. Студент растерянно молчал. Он не ожидал такого поворота. А я гордилась тем, как ловко вышла из положения, не уронив высокого звания учителя и не проявив излишнего занудства.

Что такое иностранный язык в неязыковом вузе? Топики да тысячи. Топики – это шаблонные темы типа “Мой город”, “Моя семья”, “Мой рабочий день”. А тысячи – это тысяча знаков, то есть необходимое количество страниц специального текста, которые студент обязан прочесть и перевести. Тоска смертная. Я пыталась оживить процесс, занимаясь на уроке живой разговорной речью и покупая для этой цели веселые книжки в магазине “Дружба” на улице Горького. Забавно было видеть, как постепенно меняется отношение ко мне моих студентов. Когда я впервые к ним пришла, они, смерив меня насмешливым взглядом (я выглядела моложе многих из них), решили со мной не церемониться: пропускали уроки, опаздывали, во время занятий переговаривались вслух. Но, убедившись, что дело поставлено серьезно и есть шанс что-то выучить, преобразились. Оказывается, в каждом ленте сидит потенциальный труженик и энтузиаст. Надо только его оттуда извлечь. Кончилось тем, что в небольшую аудиторию набивалась куча народу. Приходили даже студенты из других групп. Как справиться с такой оравой? И выгнать жалко. Главное – держать темп: вопрос, ответ, еще вопрос, чтение короткого текста, проверка понимания, импровизированная беседа, чтение по ролям, снова вопрос. После одного такого занятия ко мне подошла полная раскрасневшаяся студентка и одобительно сказала: “Фу, сто потов сошло. Так и похудеть можно”. Однако в 1972 году моя служебная деятельность полностью завершилась. Как говорится, по семейным обстоятельствам.

Казалось, роман с английским подошел к концу. Но к концу подошел лишь роман “служебный”, а настоящий только завязался. Причем завязался так, как ему и следовало – с самых азов, со считалочек, со сказок Матушки Гусыни и Братца Кролика, с абсурдных и сентиментальных песенок, с рифмовок и небылиц, с летающей свиньи и прыгающей выше луны коровы, со старухи, которая жила в башмаке, и с кривого человечка, купившего кошку за кривой полтинник; с ярких картинок, на которых добродушный пекарь печет пироги и пончики, а мальчик

Джек, сунув пальчик в рождественский пирог, достает из него сливу. Вот он, младенческий английский, естественный и необходимый, как молочный зуб.

*Pussy-cat, pussy-cat
Where have you been?
I've been to London
To look at the Queen.*

Где ты была сегодня, киска?
У королевы у английской.

(пер. С. Маршака)

Вот когда я наконец-то встретила со “старой доброй Англией”, где вечерами крошка Вилли-Винки бегают по уютным улицам в ночной сорочке и проверяет, все ли дети в постели в столь поздний час. Вот она, “старая добрая Англия”, в которую я так сильно опоздала и в которой мне надо было бы оказаться много лет назад, когда я была ребенком и вместо всех этих рифмовок и считалок учила текст про Таню-революционерку, песню про Ленина, а позже – политический словарь, необходимый для обстоятельного разговора на тему “СССР – оплот мира на земле”.

Вот когда я наконец-то добралась до того английского, с которого начинал маленький Володя Набоков. “Особенно мне нравилось, – пишет писатель в “Других берегах”, – когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собой крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз”. Все точно. Именно о таком Голивоге я читала своим детям и даже показывала диафильм, который мне удалось купить на Пушкинской. Да, это была уже не столько моя встреча с английским, сколько встреча моих детей. Ради них я сколотила детские группы, с которыми вела занятия почти десять лет, *step by step* (шаг за шагом) продвигаясь от считалок и рифмовок к стихам Байрона, от сказок Братца Кролика к сказкам Кипплинга, от пьесы про рыжую курицу к пьесе Оскара Уайльда “Как важно быть серьезным”, которую мои ученики разыграли на Новый год, приготовив для этой постановки специальные парики и костюмы. Мы прошли долгий путь от песенки про старого Макдональда до мюзиклов *My fair Lady* и *Jesus Christ – superstar*. Мы пошли бы и дальше, но наступил несчастный 1983-й. В том году я решила начать подготовку к английским новогодним праздникам в ноябре и даже выбрала для своей старшей группы пьесу Бернарда Шоу *Augustus does his bit*. Помню, как, читая пьесу и умирая со смеху, предвкушала, как будут смеяться мои дети. Но оказалось не до смеха. 17 ноября 1983 года к нам пришли с обыском. Забрав кое-какие материалы, связанные с правозащитной деятельностью мужа²², они на всякий случай унесли все мои английские кассеты и многое другое. Обыск длился до восьми вечера, а в семь в дверь позвонили ученики, которых я не имела возможности предупредить о случившемся. Конечно, сотрудники с ними побеседовали и записали все данные. Урок все-таки состоялся, но оказался последним. Родители ребят решили не рисковать, что вполне естественно. Так завершился и этот этап моего романа.

А дальше... дальше – первая в жизни поездка в страну, где говорят по-английски. Правда, не в Старый свет, а в Новый, напористый и деловитый. Путешествие в “старую добрую

²² Борис Альтшулер, муж Ларисы Миллер, – физик и правозащитник. Подробнее о его правозащитной деятельности написано в эссе “Колыбель висит над бездной”.

Англию”, которой нет, а может, никогда и не было, еще только предстоит. Если даже оно и не осуществится, то останется мечтой. А что за роман без мечты и печали?

Как по-английски “Батюшки!”?

Издательство “Глас” выпустило мою книгу прозы в английском переводе. Одновременно поэт и переводчик Ричард Маккейн перевел на английский сборник стихов и пригласил меня в Пушкинский клуб, который довольно давно существует в Лондоне и где регулярно происходят встречи с писателями из России. Презентация книги и чтение стихов по-русски и по-английски были намечены на 15 мая.

Я приехала в Лондон 3 мая с тем, чтобы почти сразу отправиться в Шотландию, где на славистском факультете Эдинбургского университета должна была состояться моя встреча со студентами, изучающими русский язык. Но все это я говорю не для того, чтобы рассказать о себе, а чтобы поделиться мыслями, связанными с этой поездкой. Если меня спросят, как все было и как прошли встречи в Эдинбурге и Лондоне, я скажу: “Хорошо”. Аудитория была, как англичане говорят, *all ears*. В нужных местах смеялась, в нужных хмурилась. Я имею в виду прозу. Но и стихи тоже слушали затаив дыхание, что меня особенно удивило, потому что я слабо верю в перевод стихов. Нет ничего интимнее звуков. Перевод звуковой ткани невозможен. Возможна только полная замена одних звуков другими. Но если невозможен перевод звуков, то уж тем более невозможен перевод пауз, то есть той воздушной среды, в которую звуки помещены. А она (воздушная среда) не менее важна, чем значимые слова или восклицания типа английских “упс”, “ауч”, “вау” или русских “ой”, “ай”, “ах”.

В словаре наше “батюшки!” переведено как *good gracious!* Но разве это то же самое?

Понимаю, что сужу как профан, как человек, чей переводческий опыт ограничился переводом в студенческие годы нескольких стихотворений поэтов потерянного поколения (Руперт Брук, Уилфред Оуэн). Я перестала пытаться переводить, когда увидела, что меня непреодолимо тянет использовать оригинал для писания собственных стихов. Поняв, что происходит не совсем то, я бросила этим заниматься.

Другой язык – это не просто другой словарь и другая грамматика. Это другая вселенная, в чем я лишний раз убедилась, прочитав подаренную мне моими английскими друзьями книгу *Lost in Translation*. Написала ее литератор и музыкант Ева Хофман, родившаяся в Кракове в 1946 году и в тринадцать лет эмигрировавшая с родителями в Канаду, а позже в Штаты. У нее первой я прочла о трудностях вхождения в чужую речь. Именно в речь, а не в жизнь, о чем и до нее многие писали. Она, конечно же, имеет в виду не языковый минимум, нужный, чтоб объясниться на улице или в магазине, а речь, необходимую для полноценной жизни и самоидентификации. У нее первой я прочла о трудностях рождения звуков при произнесении слов на иностранном языке. “Мой голос делает странные вещи. Кажется, он возникает не из тех частей тела, что раньше. Он рождается из горла – напряженный, тонкий и матовый голос без модуляций, подъемов и спадов, которые бывали раньше, когда он шел из живота и через голову...” Вот она, нутряная связь с языком. Ева Хофман слишком тонка и требовательна, она слишком хорошо знает, что значит владеть речью, чтоб удовлетвориться ее суррогатом. Вот как она пишет о диктате языка, о том, *что* в судьбоносные моменты жизни диктовал ей родной польский и неродной английский: “Должна ли ты выходить за него замуж? Вопрос звучит по-английски. Да. Должна ли ты выходить за него замуж? Вопрос звучит по-польски. Нет... Должна ли ты стать пианисткой?

Вопрос звучит по-английски. Нет, не должна. Не могу. Должна ли ты стать пианисткой? Вопрос звучит по-польски. Да, должна. Любой ценой”.

Язык – это психика, нервы, чувства, лимфа, кровь. Судьба. Поддается ли все это переводу, то есть замене? Всегда помню слова Маршака о том, что переводить поэзию невозможно. Каждый раз это исключение. А еще кто-то сказал, что поэзия – это то, что осталось непереверженным в результате перевода. Во время поездки я получила в подарок несколько стихотвор-

ных сборников. Вот один из них. Автор – сорокасемилетний шотландский поэт Кен Кокберн. Листаю изящно изданную книгу, читаю стихи:

*I know the way.
Up and down-stairs.
To the front garden, and the back.
I know where to go when it rains.
I know what's behind the wall, round the corner, over the road.*

Я знаю дорогу.
Лестницу, ведущую вверх и вниз.
К саду перед домом и позади него.
Я знаю, где спрятаться от дождя.
Я знаю, что за стеной, за углом, через дорогу.

Мне нравятся эти стихи, хотя я осознаю, что воспринимаю их чисто внешне, оставаясь по эту сторону слов. Чтобы проникнуть вглубь, мне не хватает именно того, о чем пишет поэт, – интимного знания той среды, того “сора”, из которого произросли стихи, знания тех подробностей (“знаю, что за стеной, за углом, через дорогу”), без которых не чувствуешь себя дома ни в стране, ни в поэзии.

Когда-то я думала, что в моем невосприятии виновато отсутствие характерной для русской поэзии рифмы. Но вот читаю стихи другого современного поэта, Ричарда Маккейна, того самого, который перевел мои стихи:

*Oh, I have climbed the pinnacle
and stared at the void below,
have witnessed the many miracles,
that only love can bestow.*

О, я поднимался на вершину
И смотрел на пустоту внизу,
Я был свидетелем многим чудесам,
Которыми способна одарить только любовь.

Все на месте – привычный размер, рифма, и все равно я не проникаю внутрь стихов, оставаясь чужеземкой на той почве, на которой они родились.

Если даже на родном языке восприятие поэзии – процесс сложный и загадочный, то на чужом и подавно. Какой уж тут перевод?

Тем не менее поэты пишут, переводчики переводят, читатели читают. И даже получают удовольствие. У некоторых появляются любимые переводные стихи. И у меня в том числе. Стихотворение Рильке в переводе Пастернака – одно из моих любимых: “Я зачитался, я читал давно, / С тех пор как дождь пошел хлестать в окно, / Весь с головою в чтение уйдя, / Не слышал я дождя...” Только не знаю, чьи это стихи, Рильке или Пастернака. Но, может быть, это и есть путь – создавать не подобное, а другое.

Когда я по приглашению поэта Кена Кокберна пришла в библиотеку шотландской поэзии, там как раз шло занятие Открытого университета для студентов третьего возраста, то есть для пенсионеров. Подобная практика – бесплатное или весьма недорогое обучение пожилых

людей – получила широкое распространение везде на Западе. Люди, перестав заботиться о хлебе насущном, наконец-то могут вполне бескорыстно заняться тем, что им нравится: учить языки, историю, читать поэзию. Во время моего посещения библиотеки у них как раз шел семинар по русской поэзии. На столе лежали сборники стойко популярного на Западе Евтушенко, а также Симонова. Я почитала свои стихи по-русски, Кен – в переводе. Слушатели во время чтения могли следить глазами за текстом по двуязычной книжке, которая в количестве пятидесяти экземпляров была специально подготовлена для моих выступлений. Некоторые просили прочесть особенно понравившиеся стихи дважды. Несмотря на мое к нему отношение, перевод зажил самостоятельной жизнью. Возник разговор о переводе. Мой муж прочел по-русски “Горные вершины спят во тьме ночной” и сказал, что существует мнение, что лермонтовский перевод лучше оригинала. И тут кто-то из слушателей начал читать Гете по-немецки. Другие принялись подсказывать слова, зазвучал целый хор голосов. “Не знаю, как по-русски, – сказал пожилой господин, – но по-немецки это прекрасно. Такие звуки, что кажется, будто воздух дрожит”.

Глядя на все это, я испытывала смешанное чувство радости и досады. Радости от того, что весьма пожилые люди регулярно собираются вместе и с великим воодушевлением говорят о литературе, читают стихи. А досады от того, что наши старики вынуждены вести совсем другую жизнь. Им не до стихов. Как, впрочем, и людям помоложе. Вообще, в Англии и Шотландии я столкнулась с тем, чего давно не нахожу дома: там многие читают вслух стихи или прозу. Мой немолодой друг, у которого мы с мужем жили в Лондоне, снял с полки клееную-переклееную, любимую с детства книжку Беатрис Поттер и принялся читать вслух сказку, которую знал почти наизусть. Читал, по два раза повторяя каждую фразу и приглашая меня разделить его восторг. “Вы только послушайте, как это звучит! Только вслушайтесь!” Однажды он принес и положил передо мной несколько сборничков своего любимого поэта Дилана Томаса: “Я хочу подарить вам эти книжки”. И Джон принялся читать стихи наизусть и из книг: *There is nothing left of the sea but its sound, / Under the earth the loud sea walks...* (“Ничего не осталось от моря, кроме шума, / Там, под землей, шумно волнуется море...”). Он часто с наслаждением декламировал Киплинга, весьма активно посещаемую страничку которого делает в интернете. Его дочери постоянно читают стихи своим маленьким детям. Наш знакомый из Ноттингема, историк и преподаватель университета, с удовольствием читал стихи по-немецки. В “самой читающей стране в мире”, в России, я давно уже не нахожу ничего подобного. Правда, и в Англии жалуются на то, что поэзией мало кто интересуется, что детям мало читают, что они почти не знают своей классики. Наверное, это тоже правда. Тем не менее тот же Кен Кокберн, являющийся сотрудником Шотландской библиотеки поэзии, рассказал, что библиотека сделала для школьников компакт-диск, на котором современные шотландские поэты помимо собственных стихов читают классику. Неизвестно, велик ли спрос на этот диск, многие ли школы его заказали, но важно, что программа по созданию таких дисков существует. И хорошо, что поэты читают не только собственные стихи, но и старую поэзию.

Эдинбург – весьма экзотический город. По улицам бродят ведьмы, которые не только весело пугают прохожих, но и невероятно красиво произносят разные колдовские заклинания. И при этом еще делают свой маленький бизнес, ловко торгуя очередной книжной новинкой с рассказами про ведьм и ведовство.

А в другом месте мы оказались очевидцами публичной казни с пытками. На одной из площадей Эдинбурга милая девушка стегала длиннющим кнутом двух волонтеров из публики – отца и сына, которые вызвались испытать на себе средневековую экзекуцию. Они так вошли в роль, что, хотя бич пролетал на корректном от них расстоянии, пытались издавать звуки, похожие на вопли. Но меня не столько поразила казнь, сколько превосходная дикция юной экзекуторши, которая еще до казни очень живо поведала разные исторические байки. Много

ли в нашей стране массовиков-затейников (а ведь именно этим она занималась), так владеющих речью?

За две недели в Великобритании я особенно остро почувствовала, как мне надоел наш новояз с его “чисто конкретно”, “типа того”, “озвучить” и “по жизни”. Как хочется услышать настоящую русскую речь. Есть в России замечательная газета для школ “Первое сентября”, которая, как сама, так и с помощью своих приложений, многое делает для того, чтобы вернуть стремительно исчезающую культуру. Но подобным изданиям противостоят куда более мощные силы – в первую очередь телевидение и радио. Я с ужасом смотрю на юных потребителей попсы, говорящих, жующих, целующихся, спящих с наушниками в ушах. Что с их душами? И есть ли у них душа? Или давно отлетела, не выдержав шумовой агрессии? Шум – тотальная проблема. В Англии тоже немало магазинов, особенно молодежных, где гремит музыка. И все же масштаб не тот. Улицы свободны от звукового мусора, которым полна Москва. Вас никто не имеет права поливать музыкальными помоями из окон и с балконов. А если кто-то и посмеет, есть возможность пресечь. Работает закон.

Перед началом моего чтения в Пушкинском клубе в зал забежал потерявшийся щенок, которого, как мы узнали из надписи на ошейнике, зовут Тоска (видимо, хозяева – любители оперы). Тоска весело обнюхала всех присутствующих, а присутствующие в свою очередь немедленно занялись устройством Тоскиной судьбы. Никому и в голову не пришло прогнать собаку. Была одна объединившая всех забота – найти хозяев. Позвонили по трем указанным на ошейнике телефонам. Никого не было на месте. Сообщили на автоответчик телефон клуба. Где-то нашли поводок и, извинившись перед гостями за некоторую задержку и за то, что вопреки правилам телефон во время чтения останется включенным, начали вечер. Умный телефон позвонил только во время перерыва. Хозяева нашлись, и одна из ведущих вечера вызвалась отвести Тоску домой, благо дом был рядом. Правда, это заняло больше времени, чем она предполагала, и второе отделение пришлось начать без нее. Тем не менее все кончилось благополучно. Но я поинтересовалась, что пришлось бы предпринять, если бы хозяева не нашлись. Мне сказали, что самый простой путь – доставить собаку в полицию. Сочетание “собака – полиция” прозвучало для моих ушей устрашающе, но меня уверили, что в полиции прекрасно обращаются с животными и найти хозяев или отвезти собаку в приют – прямая обязанность полицейских. И здесь работает закон. В общем, нормально, как любят говорить в нашем ненормальном государстве, где полно не только бесхозных собак, но и бесхозных людей. Правда, музыки много, если то, что гремит и стучит на всех перекрестках, можно назвать музыкой.

Когда я вернулась в Москву, меня часто спрашивали, как я отдохнула. Я не отдохнула, а устала – от выступлений, общения, перемещений. Если я и отдохнула, то от некоторых особенно назойливых свойств нашей жизни. Правда, отдыхать от них опасно. По возвращении трудно привыкать. Ведь возвращаешься из страны, где непрерывно говорят *thank you* и *sorry*, в страну, которая встречает тебя в аэропорту ледяным “Женщина, проходим”.

“Во, жида приехали”, – услышала я в зале, где пришлось долго ждать чемоданов. Это разговаривали подвыпившие носильщики, которые тоже ждали наших чемоданов, собрав все имеющиеся в наличии тележки. “Откуда ты знаешь, что это жида?” – спросил напарник. “Ясно, что жида. У них по всему миру родственники и знакомые. Вот они и шляются”. – “А ты случайно не жид?” – “Не, я с Кубани”. – “А какая на Кубани река?” – “Дон”. “Прости, Олег, – с трудом собирая слова, произнес тот, кто оппонировал Олегу, – но Дон и Кубань – совершенно разные вещи”. “Ты чего? – настаивал Олег, – Дон, конечно”. “Прости, Олег, – продолжал оппонент, – но Дон и Кубань – совершенно разные вещи. Дон и Кубань – совершенно разные вещи. Ты уж прости, Олег...” Поняв, что разговор обещает быть долгим и трудным, я пересела в другой конец зала и развернула газету. Но и газета не стала утешением, поскольку я наткнулась на какую-то книжную рецензию, которая являла собой сплошные ужимки и прыжки, ерничанье

и желание задеть побольнее. Слава богу, что захватила с собой из Лондона пятничный номер *Independent* с приложением, в котором публикуется огромное число рецензий на спектакли, фильмы, концерты, книги. Их интересно читать даже тем, кто не смотрел спектакля, не посещал выставки, не слушал концерты. Нет, вовсе не все рецензии хвалебные. Много критики, но мотивированной и корректной. Пишет не “отвязанный” юнец (хотя у нас уже и не юнцы так пишут), а владеющий материалом профессионал. В Англии тоже полно таблоидов и желтой прессы. Но разница в том, что существует периодика, которая держит марку и ни при каких условиях не опустится до дешевки. Есть пресса, где качество гарантировано.

Конечно, в стране, где тебе не гарантируют ни жизнь, ни здоровье, ни безопасность, качество прессы, может, и не самый главный вопрос, но дело в том, что все взаимосвязано. И хаос в одном неминуемо порождает хаос в другом.

Часто вспоминаю узкую дорожку в Лондоне вдоль длинного канала, где мы однажды вздумали прогуляться. Оказалось, что это любимая трасса велосипедистов. И каждый раз, когда мы делали шаг в сторону, чтоб пропустить велосипедиста, тот или благодарил, или растягивал губы в благодарной улыбке. Мы уже совсем размякли от умиления, когда вдруг идущий нам навстречу молодой человек резко остановился и поднял голову. На парапете моста над нами сидела стайка милых мальчиков, которые развлекались тем, что смачно плевали на голову прохожим. Нам повезло, а молодому человеку не очень. “Нет, не надо умиляться, – подумали мы, – везде есть и хорошее, и дурное, важно только чего больше”. Интересно, какие слова и междометия произнес в сердцах пострадавший (а у него изо рта вылетало множество каких-то произносимых под нос шипящих и свистящих). Что в этом случае произнесли бы в России, гадать не надо. Это так же плохо поддается переводу, как стихи.

Колыбель висит над бездной

Постепенно все сходило на нет. Даже та культурная жизнь, которая еще теплилась в начале 1970-х, казалась далеким сном в конце десятилетия. Одним из последних всплесков явились квартирные выставки подпольных художников в 1975 году. Весело и жутко было ходить по “крамольным” адресам, подниматься на лифте в чью-то квартиру или спускаться в очередной подвал, чтоб увидеть множество самых разных полотен, среди которых были и настоящие шедевры. Весело, потому что, несмотря на бульдозер, прущий на художников в Беляеве²³, они пробились к зрителю, даже самой плохонькой своей картиной утверждая: “Живу. Пишу. Свободен”. Жутко оттого, что было ясно: все это скоро прикроют. Так и случилось. Вспоминаются эти выставки как праздник, как яркий весенний день среди стойких морозов. То было странное время “квартирной” культуры: спектаклей, лекций, концертов. В 1976-м мы познакомились с Петром Старчиком, который незадолго до того вышел из казанской спецпсихбольницы, куда попал за распространение “антисоветских” листовок. В той же больнице Петя начал сочинять песни на стихи самых разных поэтов: Цветаевой, Мандельштама, Белого, Шаламова и многих, многих известных и малоизвестных авторов. Выйдя на волю, он пел дома и у друзей. Эти песни, исполняемые хриплым, низким, далеко не “вокальным” голосом, долго не отпускали. Петя был самоучкой. Он как умел аккомпанировал себе на рояле, гитаре, цитре, наверное, нарушая какие-то законы гармонии и исполнительского мастерства и заставляя морщиться профессионалов. Но в том, что он делал, было столько трагизма, душевной боли, страсти, что его песни убеждали и запоминались. В полузадушенном, сумеречном, холодеющем мире он разложил костер и поддерживал жар, которого не хватало всем.

Но где бы, что бы ни вспыхивало и даже ни тлело – пламя ли, свечечка, – все было видно с лубянской колокольни. Ее быстрые, бесшумные, как тени, пожарные в сером поспевали всюду.

Однажды мы с Петром собрались посмотреть картины художника Максима Дубаха, одного из участников квартирных выставок. По дороге заехали в милицию, куда Старчика в очередной раз пригласили для беседы. “Это на пять минут, – сказал Петр. – Они опять повторят, что мои песни мешают соседям, которые якобы жалуются. Это они-то жалуются! Первый этаж и единственные соседи – семья глухонемых”.

Приехали в наше общее (мы живем рядом) 127-е отделение милиции. Петя зашел внутрь, а мы (жена Петра Саида, я, мой муж Боря, его брат Алик, Петины дети Петя и Марина) остались на улице. Немного подождав, решили подняться на второй этаж. Вскоре к нам подошел низкорослый крепкий мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами. “Здесь стоять нельзя. Ждите внизу”, – сказал он тоном, не терпящим возражений. Неожиданно в коридор вышел Петр в сопровождении нескольких человек. Лицо его горело. Быстро пройдя в другой конец коридора, они скрылись в одном из кабинетов. Видимо, именно это нам и не положено было видеть. На помощь крепкому дяде появился такой же. Они заняли все пространство от стены до стены, тесня нас и не давая пройти: “Назад, назад, вниз, пожалуйста. Пройдемте вниз. Быстренько!” Происходило что-то непредвиденное. Мы спустились вниз и побежали к другому входу. Там, во дворе милиции, стояла карета скорой помощи. Сомнений не было: это за Петром. Вскоре вышел и он в сопровождении санитаров и милицейского начальства. Жена и дети бросились к нему. Боря и Алик быстро подошли к тому, кто казался главным. “Имейте в виду, этим делом занимается академик Сахаров. Все будет известно Леониду Ильичу Брежневу”, – громко сказал Боря. “Кто такие? – вскинулся тот. – Пройдите наверх!” И их увели на второй

²³ Имеется в виду так называемая Бульдозерная выставка – одна из самых известных выставок неофициального искусства в СССР. Выставка проходила на открытом воздухе в Беляеве 15 сентября 1974 года и была жестко разогнана властями с привлечением милиции, поливальных машин и бульдозеров.

этаж, где сотрудники КГБ проверили у них документы и записали данные, пригрозив дурными последствиями за вмешательство.

А в это время санитары, взяв Петра под руки, повели к машине. Дети и Саида цеплялись за него, не давая идти. “Петр Петрович, ну Петр Петрович!” – повторяли люди в белых халатах, подталкивая его к машине. Сумев наконец оторвать Петра от жены и плачущих детей, они затолкали его в карету скорой помощи и сели сами. Машина тронулась. Дети закричали, Саида бежала следом, но, немного пробежав, остановилась. На ней не было лица. Возле ворот какой-то милиционер пытался завести мотоцикл. “У, гад!” – срывающимся голосом крикнула Саида и, взяв кусок глины, швырнула в милиционера. Он оглянулся, и я увидела на его молодом лице растерянность и смущение. Меня била нервная дрожь. Вечером того же дня, 15 сентября 1976 года, я написала стихи:

Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.

Позже Петя написал музыку на эти стихи, и они стали песней. Произошла катастрофа: на наших глазах среди бела дня схватили и увезли в психбольницу Петра Старчика, чтобы держать взаперти не дни, не месяцы, а годы, может быть, всегда. Так это бывало в подобных случаях. Первые недели Петру удавалось передавать на волю короткие записки, из которых мы узнали, что он в палате, где койки стоят почти вплотную, где санитары прилюдно избивают больных, где душевнобольной сосед гасит об него окурки. Позже Петр показывал нам руки со следами ожогов. Через некоторое время записки сделались сумбурными и невнятными, почерк неразборчивым. Стало ясно – началось “лечение”. Впоследствии он рассказывал: после каждого укола подступала тошнота, шла обильная слюна, мутнело сознание, притуплялась память, появлялись вялость и безразличие.

Петр Старчик должен был перестать существовать как личность.

И вдруг случилось чудо. Хищная лапа ослабила хватку. Международная кампания в защиту Старчика, к которой, кажется, удалось подключить самого президента Франции, неожиданно помогла. Петра перестали колоть, перевели на более легкий режим в другое отделение, куда ему друзья передали гитару и транзистор. Однажды, включив приемник и покрутив ручку, Петр неожиданно услышал... собственный голос. Он не поверил своим ушам, решив, что и впрямь свихнулся. Но то действительно был его голос: по западному радио звучали песни Старчика. Те самые – о лагерях и тюрьмах, белых и красных, уехавших и оставшихся, одним словом о России, о страшной ее судьбе. Те самые, крамольные, за которые он попал в эти стены.

15 ноября к нашему дому подъехала машина. За рулем, как и в тот несчастный день ровно два месяца назад, сидел Алик. Но сегодня все было иначе. “Лариса!” – крикнули с улицы. Я выглянула и увидела Петра, который, задрав голову, с печальной улыбкой смотрел на наши окна. Возле него стояла Саида. Алик запирал машину. Через минуту они входили в двери нашей квартиры. Петр был худ и бледен. На нем болталось свободное черное пальто, которое

Саиде кто-то дал для него. “С плеча самого Михаила Чехова, актера”, – сказал Петя. Мы расцеловались. Он выглядел немного растерянным. Походил по квартире, постоял у кровати, где спал мой младший сын, шепнул: “Как вырос”. Было видно, что он с трудом привыкает к воле, к домашней обстановке.

В тот день валом валили друзья. Не умолкал телефон, не запирались двери. А Петр пел и пел: и старое, и новое, сочиненное в больнице. Тогда он впервые исполнил одну из лучших своих песен на слова Александра Кочеткова – “Балладу о прокуренном вагоне”. Эти стихи были напечатаны в только что вышедшем альманахе “День поэзии”, который мы передали ему в больницу. “С любимыми не расставайтесь”, – пел Петр. “С любимыми не расставайтесь”, – вторила ему Саида. “С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них...” Голоса сливались, разлучались и соединялись снова, заполняя пространство. “И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...” Мелодия была стремительна и неудержима, как летящий по рельсам состав. Голоса звучали обреченно, будто в предчувствии близкого крушения. Песня-заклинание, песня-мольба надрывала душу. Плакали все. Через пять лет после этой истории на одной из прессконференций французский журналист спросил советского чиновника Загладина: “Правда ли, что в вашей стране сажают в психбольницу за исполнение песен в собственном доме?”

“За исполнение песен в собственном доме” – слова из обращения к президенту Франции Валери Жискард’Эстену, написанного Борей в защиту Старчика и среди прочих переданного на Запад.

* * *

Конец 1970-х. Разгром Хельсинкской группы. Аресты, аресты, аресты... Новое десятилетие началось с высылки Сахарова. Никто не знал, что будет со страной, а я к тому же не знала, как это отразится на жизни нашей семьи, ведь Борю связывали с Андреем Дмитриевичем долгие дружественные отношения. Это не могло остаться без последствий. Каждый обычный мирный день казался чудом.

Благие вести у меня,
Есть у меня благие вести:
Еще мы целы и на месте
К концу сбесившегося дня.
На тверди, где судьба лиха
И не шадит ни уз, ни крова,
Еще искать способны слово,
Всего лишь слово для стиха.

Март 1982-го. Меня вызывают на Лубянку. “Ваш муж Борис Альтшулер вам постоянно лжет, – заявляет молодой стриженный ежиком следователь. – Его связывают “вы сами понимаете с кем” (он ни разу не произнес страшного имени) отнюдь не научные интересы, а общая подрывная антисоветская деятельность. Существуют лишь два варианта: в двухнедельный срок покинуть страну или... – последовала выразительная пауза, а потом он с удовольствием отчеканил: – Или ваш муж не увидит своих детей десятьпятнадцать лет”. “А третьего пути нет?” – тупо спросила я, до той поры не задавшая ни единого вопроса. Следователь расхохотался, откинув голову. “Скажите спасибо за выбор, который вам предоставили”, – отсмеявшись, сказал он.

В мае на вторичной беседе все тот же следователь невозмутимо изрек: “Об отъезде забудьте. Это был маневр, проверка вашей реакции. Вы никогда не уедете. Лучше объясните

мужу, что ему дан последний шанс. Дальше пусть пеняет на себя”. Что это были за “маневр” и “проверка”, можно было только гадать.

Той весной Борю уволили с работы, потом стали привлекать “за тунеядство”, и через несколько месяцев он устроился дворником в ДЭЗ неподалеку от дома, где проработал пять лет – до июля 1987 года, когда вернувшийся из ссылки Сахаров взял его на работу в Физический институт Академии наук.

17 ноября 1983 года. Девять утра. Звонок в дверь.

“Кто?” – “Откройте. Из ДЭЗа”. Называют фамилию начальницы Бори. Открываю. Оттеснив меня, в коридор вошли восемь здоровых мужчин. “Грабители!” – мгновенно решила я и попыталась не дать им закрыть за собой дверь. Один из них, видимо старший, предъявил удостоверение, которого я не разглядела, но тут же почему-то поняла – КГБ. “Мы обязаны провести у вас обыск”, – заявил он. “Но мне надо уходить. Меня ждут, – наивно возразила я. – Нужно хотя бы предупредить, что не приду”. Я бросилась к телефону, подняла трубку. Один из восьми тут же оказался рядом со мной и нажал на рычаг: “Звонить нельзя. Дома кто-нибудь есть?” – “Да. Дети”. – “Будите”. Я подняла детей. Они быстро оделись и с любопытством следили за происходящим. Мне удалось каким-то чудом убедить главного, что старшему сыну нужно идти на занятия. Сын, поняв мои знаки, побежал на участок, где папа работал дворником. Боря успел позвонить разным людям и передать свою записную книжку в надежные руки, а потом пришел домой. Следом за ним появился Алик. Вскоре пришел наш друг и сосед писатель Юрий Карабчиевский. Ему, как и Алику, немедленно были заданы все полагающиеся вопросы (фамилия, кем приходится хозяевам квартиры, цель визита). Он знал, что до конца обыска его не выпустят, и пришел, чтоб коротать с нами этот бесконечно длинный день. Присутствие Юры и Алика, непринужденный разговор и шутки – как это было важно тогда! Обыск длился до вечера. “Уведут его или нет?” – стучало в мозг.

Безучастно смотрела я, как восемь мужчин роются в вещах, книгах, рукописях, записных книжках, как они аккуратно снимают с металлической подставки перекидной календарь с моими пометками. Но, когда, выйдя в коридор, я увидела, что один из них залез в карман моего пальто и, вытащив черновик, принялся его читать, я взорвалась: “Что вы делаете?! Я даже мужу не показываю черновиков!” В ответ он молча положил мои бумажки обратно в карман. Они унесли массу книг: Мандельштама, Набокова, Цветаеву, машинописный экземпляр романа Феликса Розинера “Некто Финкельмайер”, три пишущих машинки, кассеты с записями классической музыки, текстов на английском и песен Феликса и Старчика...

Мой муж дополняет: “Примерно через год я по совету Софьи Васильевны Каллистратовой направил в прокуратуру г. Москвы жалобу прокурору по надзору за деятельностью органов государственной безопасности о том, что КГБ не возвращает мне изъятые при обыске аудиокассеты, и просил вернуть эти записи в неповрежденном виде, мотивируя тем, что на этих кассетах “английские уроки моей жены, запись музыкальных этюдов ее женской гимнастики, уникальные записи людей, ушедших из жизни...” В январе 1985 года меня вызвали в Главную приемную КГБ СССР, где тот же самый “молодой стриженный ежиком следователь”, который беседовал с Ларисой в марте 1982 года, вернул мне все шестьдесят компакт-кассет, заверив: “Борис Львович, у нас ничего не пропадает”. Дома, включив Старчика, убедились, что все правда. Странно было слушать привезенную с Лубянки “Владимирскую прогулочную” на слова Вити Некипелова: “Даже и небо решеткою ржавую красный паук затянул”. А самого Виктора Некипелова в это время медленно убивали в лагере...”

В этот же период КГБ распространило про меня в писательских кругах “достоверные” сведения, что я уехала в Израиль. Я узнала об этом много позже, в том числе от Маргариты Алигер. А поскольку с нами тогда мало кто решался общаться, то многие в это поверили. Настолько, что уже лет через пятнадцать после распада СССР один знакомый поэт спросил: “А когда вы вернулись из Израиля?” – и категорически отказывался верить, что мы никуда

не уезжали и все эти годы жили на Теплом Стане. А 2 февраля 2008 года даже “Литгазета” в большом перечне своих авторов с указанием их места жительства написала “Лариса Миллер – Израиль”, правда, через неделю напечатала с извинениями мое письмо-опровержение. Такой отголосок событий четверть вековой давности означает, наверно, только то, что в свое время, в начале 1980-х, эти “сведения” обо мне распространялись не только устно, но и были занесены во все базы данных, включая базу данных авторов “Литгазеты”.

* * *

А Россия уроков своих никогда не учила,
Да и ран своих толком она никогда не лечила,
И любая из них воспаляется, кровоточит,
И обида грызет, и вина костью в горле торчит.
Новый век для России не стал ни эпохой, ни новью.
Матерится она, и ярится, и кашляет кровью.

Времена группы *Simple*. Советы учителя

“Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют...” – писала Ахматова, намекая на то, что на этом свете его уж точно нет. Разве что на том. Хочу возразить. Чтоб найти уют, совсем не обязательно отправляться в лучший мир. Достаточно просто начать изучать какой-нибудь иностранный язык. “Хэлло!” – “Хэлло!” – “Как вас зовут?” – “Анна”. – “Откуда вы родом?” – “Из Франции”. – “Вы туристка?” – “Нет, я студентка. Я приехала в Лондон изучать английский”. – “Вам нравится Лондон?” – “Да. Лондон – очень большой и интересный город. В нем много прекрасных парков, театров и ресторанов. Я хорошо провожу время”.

Последуйте примеру Анны, начните изучать язык, и вы не сходя с места окажетесь в безмятежном и уютном мире. Конечно, и в нем не все так гладко. Бывает, что ломается машина или заболевает горло. Но эти неполадки не нарушают гармонии и длятся ровно столько, сколько требуется для усвоения нужной лексики. “У меня сломалась машина”, – сообщает А. “Почему бы тебе не отвезти ее в гараж?” – советует Б. “У меня болит горло”, – канючит А. “Тебе надо обратиться к врачу”, – говорит умница Б. “Замечательная мысль!”, – восклицает А., и все встает на свои места. Подобные накладки только подчеркивают уют того мира, в котором случаются. Мира, где все происходит на фоне ясного неба, а дождь идет лишь для того, чтоб мы усвоили нужный оборот. Усвоили – и снова ясно.

“Мой рабочий день” – так называется наш следующий текст: “Я встаю в семь утра, делаю зарядку, умываюсь и одеваюсь. Потом завтракаю. На завтрак ем яйцо всмятку и пью чай. Я выхожу из дома в восемь часов и сажусь на автобус. Мне требуется полчаса, чтоб добраться до работы. На работе я отвечаю на письма, перевожу статьи и обсуждаю с коллегами важные дела. Я возвращаюсь домой в шесть часов вечера, ужинаю и смотрю телевизор. Обычно я ложусь спать в 11 часов”. Поставьте, пожалуйста, вопросы к тексту. Неважно, что вам все ясно. В этом уютном мире вопросы задаются не потому, что необходимо узнать ответ, а потому, что надо усвоить вопросительную форму. Вот вы опять пропустили вспомогательный глагол *do*. Повнимательней, пожалуйста. Здесь порядок слов в предложении равен мировому порядку, а пропущенный глагол или неправильно употребленное время порождают хаос. Достаточно исправить ошибку, и воцарится порядок.

Этот мир интернационален. Его населяют разномастные люди. Вон сколько их на картинках. “Откуда ты родом?” – спрашивают они друг друга. “Из Бразилии”, – отвечает один. “Из Италии”, – говорит второй. “Из Индии”, – сообщает третий. И все улыбаются. Все довольны.

Все существуют по принципу, провозглашенному котом Леопольдом: “Ребята, давайте жить дружно”.

Но вот в чем закавыка: чем быстрее вы усвоите тонкости языка, чем стремительней обогатится ваш словарь, тем изощреннее станет мир, тем меньше будет в нем уюта. Вот уже и модальные глаголы пошли, всякие там “должен, можешь, обязан, вынужден”: “Не хочу, но должен. Не могу, но вынужден”. И небо уже не то: задымленное, темное. Потому что из огромной заводской трубы идет дым, иллюстрирующий текст про загрязнение окружающей среды. А на следующей странице изображен изможденный тип с безумным взглядом. В тексте сказано, что его жена пострадала в автомобильной катастрофе и врачам не удалось ее спасти. Она умерла прямо на операционном столе. “Вы виноваты в ее смерти, и вы оплатите за это”, – воскликнул убитый горем муж и пошел взрывать машины докторов. Четверо врачей погибли, пятого удалось спасти. Окруженный полицейскими бедняга террорист подорвал себя сам. С помощью этой жутковатой истории нам предлагают учить сослагательное наклонение: “Если бы женщина была внимательнее, она бы не попала в аварию; если бы она не умерла во время операции, ее муж не стал бы мстить врачам; если бы полиция не выследила террориста, жертв было бы больше”. Но зачем нам читать по-английски про то, что случилось в маленьком американском

городке? Нам и на родной земле хватает взрывов, смертей, аварий, катастроф. Мы уже всем этим по горло сыты (*fed up*, как говорят англичане).

Нет уж, лучше вернемся к началу, к наклонению изъявительному и временам группы *Simple*, к чистым беспримесным краскам, к бесконфликтному существованию, к примитивным сюжетам типа “Мой отпуск”: “Летом я поеду к морю. Я буду купаться и загорать. Я люблю плавать. По вечерам я буду гулять в парке и ходить в кино”. Обойдемся без сложносочиненных и сложноподчиненных.

Обойдемся без тонкостей и обиняков. Да здравствует мир примитивный, как рыночный коврик, начальный мир чужого языка, *terra incognita*, по которой мы делаем первые робкие шаги. Ну как еще взрослый человек несенильного возраста может впасть в детство? Только так, уча иностранный, повторяя за учителем или за кассетой: “Хэлло! Как живешь?” – “Прекрасно. А ты?” – “Я тоже.” – “Как жена?” – “Хорошо”. – “Как дети?” – “Отлично!” – “Прекрасная погода, не правда ли? Сияет солнце и поют птицы. Поедем завтра за город?” – “Хорошая идея. До завтра!”

“Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют?” Он здесь, в учебнике с надписью “Элементарный курс английского (или какого-нибудь другого) языка”. Учи язык. И мой тебе совет: не спеши, растягивай удовольствие, подольше оставайся в том пространстве, где мама готовит ужин, папа читает газету, малыш играет с кошкой, а кошка – с бабушкиным клубком. Счастливо! *Bye-bye!*

Глава 4

Остров радости

Лететь, без устали скользить...

Она приходила к нам говорить по телефону. Вернее, не приходила, а соскальзывала со своего верхнего этажа. Раздавались три быстрых звонка, и полутемный коридор нашей коммуналки наполнялся особым тонким ароматом, который как шлейф следовал за ней в нашу комнату, где на мамином письменном столе стоял телефон. Она присаживалась на самый кончик стула и, плотнее запахнув халат, набирала нужный номер. Меня всегда удаляли из комнаты, пока она говорила. Наверное, оттого что я следила за ней открыв рот. Она казалась мне нездешним существом – невесомым и бестелесным. Худенькая, гибкая, с бледным прозрачным лицом, покрытым тонким слоем крема, с низким мелодичным голосом, она, ничего не заслоняя и занимая очень мало места, тем не менее заполняла собой все пространство. И даже не заполняла, а преображала, превращая обычную довольно убогую жилплощадь в нечто таинственное и неземное.

Сделав несколько звонков и пошептавшись с мамой, она бесшумно исчезала, оставив нам на память ароматное облачко своих духов. Иногда, вернувшись с прогулки и приняв душ, я с досадой обнаруживала, что без меня заходила, вернее залетала, Ксюша, как ее ласково называли в нашей семье. Лишь позднее я узнала, что она была актрисой и звали ее Констанция Роек. Мне не довелось увидеть ее на сцене, но роль, которую она, сама того не ведая, сыграла в жизни почти не замечаемого ею ребенка, была уникальна: она зародила во мне страстное желание стать невесомой, гибкой и научиться ходить не касаясь земли. Едва она скрывалась за дверью, я, встав на цыпочки, пыталась пересечь комнату. Но, увидев свое отражение в дверце зеркального шкафа, в ужасе замирала. Боже, что за вид: плечи до ушей, носки внутрь. Остановившись перед зеркалом, я делала отчаянную попытку соединить пятки и развести носки, но при этом у меня почему-то немедленно поднимались плечи и кисти рук выворачивались ладонями наружу. Ну что мне было делать, если я унаследовала от обоих родителей плоскостопие, а от отца еще и косолапость? И все же я не теряла надежды. Нацепив что-то белое и воздушное, снежинкой кружилась вокруг новогодней елки. Но, как ни старалась, оставалась косолапой.

И тем не менее я продолжала надеяться и ждать. Чего?

Ну хотя бы того, что снова появится Ксюша и немного приоткроет тайну своей невесомости. И она появлялась. Даже дверной замок под ее пальцами не орал своим обычным дурным голосом, а мелодично пел, становясь преамбулой к ее чудесному приходу.

Почему она забегала к нам звонить, если у всех в нашем доме (и у нее в том числе) был телефон, не знаю. Может быть, потому что ей не всегда хотелось говорить при соседях, а у нас, кроме обычного аппарата, висящего на стене в коридоре, был еще один – в комнате (привилегия, которой добилась мама, работая на радио). Впрочем, до всех этих житейских подробностей мне совсем не было дела. Меня куда больше интересовал тот странный факт, что я никогда не встречала Ксюшу ни в подъезде, ни на улице, хотя много раз видела, как ее красивый темноволосый муж, знаменитый танцовщик Большого театра Юрий Гофман, с чемоданчиком в руках пружинящей балетной походкой пересекает наш двор. Если он был для меня абсолютной реальностью, то она, изредка возникающая в нашей полутемной квартире на низком первом этаже, так и осталась дивным миражом, который однажды исчез навсегда.

Впрочем, исчезла не она, а мы – совершив обмен, мы переехали в другой район. Я стала ходить в соседнюю школу. И как-то раз весной, спустившись после урока в вестибюль, с удив-

лением увидела, как по кафельному полу, точно по катку, скользит точеная молодая женщина в коротком летнем платье. “Вольская, Вольская”, – шептали со всех сторон. “Кто такая Вольская?” – спросила я кого-то из своих одноклассников. “Ты что, Вольскую не знаешь? Она играет в оперетте и живет в твоём доме. Её дочка в нашей школе учится”.

Взглянув через несколько дней в окно, я снова увидела Вольскую, которая легкой танцующей походкой шла по нашему переулку. Я смотрела ей вслед, пока она не свернула за угол.

Удивительно. И здесь рядом со мной оказалось существо, терзающее мою душу своей невесомостью. В отличие от Ксюши в Вольской не было ничего призрачного. Она ловко и весело встряхивала коврики во дворе, почти танцуя выносила мусор, “по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела” в обычный мир, где умела жить, скользя и летая.

Как-то раз я упомянула её имя мальчику, в которого была влюблена. “Вольская? – переспросил он, просияв. – Мы однажды оказались в одном доме отдыха, и она учила меня танцевать”.

Танцевать. Ничего в жизни я не хотела больше, чем научиться танцевать. Я терзала мамину портниху, бывшую актрису кордебалета, заставляя её разучивать со мной балетные позиции. Включив радио, до изнеможения кружилась под музыку. И всё же каждый день слышала сетования своего горячо любимого деда: “Не косолап, внученька. Не шаркай. Поднимай ноги”. Господи, ну почему я не унаследовала бесшумную дедушкину походку? Каждому свое. Какой жестокий приговор. Нет, с этим нельзя смириться. Ведь неспроста, наверное, и в детстве, и в юности чей-то летучий образ заставлял меня бороться с собственной приземленностью. И не случайно мои пожилые друзья, подарив на мой десятый день рождения специально для меня сочиненную книжку, написали в ней такие слова: “В танце будешь ты воздушна, только будь всегда послушна”. Разве я не была послушна? Я слушала свой внутренний голос, который приказывал мне всячески противиться силе земного притяжения. И наконец в один прекрасный день, когда я уже вышла не только из детского, но даже из юношеского возраста, когда у меня уже был маленький сын, случилось невозможное: я попала туда, где обучали невесомости. Нет, не в Звездный городок космонавтов, а в школьный зал на Цветном бульваре, где дважды в неделю происходил не то слет ангелов, не то шабаш ведьм, не то коллективные радения какой-то странной секты, которая в миру называлась студией алексеевской гимнастики. Алексеевской – потому что создала эту студию в начале века бывшая танцовщица Людмила Алексеева. Когда я впервые переступила порог зала, где под музыку кружились, летали, плыли существа женского пола, Алексеевой уже не было в живых. Она умерла в 1964-м от рака. Мне говорили, что, будучи смертельно больной, она продолжала регулярно приходить в школу, подниматься на пятый этаж и полулежа вести занятия. В последний год своей жизни она пыталась воссоздать сочиненные ею ещё до войны этюды на тему Глюка “Орфей и Эвридика”.

Когда я пришла в 1969-м, занятия вели ученицы Алексеевой. За роялем сидел старейший концертмейстер студии. Звучала самая разная музыка – от Баха до старого фокстрота, от Шумана до этюдов Черни. Звучала дивная музыка Глюка, под которую подружки оплакивали умершую Эвридику; фурии, принимая устрашающие позы, не пускали Орфея в царство теней (“Духи”. – “Нет!” – “Сжальтесь”. – “Нет!”); сомнамбулически плыла по залу сама Эвридика.

Я готова была заниматься во всех существующих группах, включая детскую, в которой вызвалась помогать преподавательнице вести урок. И вот, исполняя вместе с детьми этюд “Цапля”, я снова, как двадцать с лишним лет назад, иду на полупальцах, высоко поднимая колени. Заворачиваю ли я носки внутрь? Наверное, да. Но мнится мне, что нет. Мнится мне, что бег мой стремителен, прыжок высок, что я на мгновение зависаю над полом. “Да ты просто сильфида”, – сказала мне однажды старейшая ученица Алексеевой. Сильфида – дух воздуха. Не того ли алкала душа моя?

Лететь, без усталости скользить

По золотому коридору.
И путеводна в эту пору
Осенней паутины нить,
И путеводен луч скупой,
И путеводен лист летучий,
И так живет, будто случай
Уже не властен над судьбой...

Не приди я в эту студию, не узнай удивительного чувства полета, мне никогда бы не написать ни этих строк, ни многих других:

Все в воздухе висит.
Фундамент – небылица.
Крылами машет птица,
И дождик моросит.
Все в воздухе: окно,
И лестница, и крыша,
И говорят, и дышат,
И спят, когда темно,
И вновь встают с зарей.
И на заре, босая,
Кружу и зависаю
Меж небом и землей.

Несколько лет назад в разговоре с одной знакомой актрисой я упомянула имя Констанции Рок. “Ксюша? – переспросила меня собеседница и, вздохнув, добавила: – Бедная Ксюша. Ей ведь давно пришлось оставить сцену: она заболела тяжелым нервным расстройством. Долго лежала в больнице, да так толком и не поправилась. Она иногда звонит мне, когда бывают просветы”.

Sic transit... Так проходит по земле даже тот, кто как будто бы едва ее касается. Таково земное притяжение, земная тяга, земные тяготы... И все же:

Преходящему – вечности крылья,
Ветра вольного, света обилье,
Устремление кочующих стай,
От подробностей душных засилья
Улетай, улетай, улетай...

1997 г.

Остров радости

Посвящается Людмиле Николаевне Алексеевой

Эта гимнастическая система подобна танцу. А еще можно сказать, что она – своеобразный театр. Театр одного актера. И этим актером может стать каждый, потому что речь идет о театре для себя, который не предполагает зрителя. То есть, пожалуйста, приходите и смотрите. Никто не запрещает. Но главным в этом процессе является не человек смотрящий, а человек играющий, танцующий, бегающий, прыгающий. Человек радующийся. И подарила ему эту радость Людмила Николаевна Алексеева (1890–1964). Она – создатель системы, которая сегодня так и называется – алексеевская гимнастика.

Людмила Алексеева родилась в Одессе. Отец ее был военным инженером, мать, дочь декабриста М. А. Бодиско, – педагогом. В начале XX века семья переехала в Зарайск, где Алексеева закончила гимназию с золотой медалью. В Зарайске она познакомилась с семейством Голубкиных. Сестры Голубкины часто устраивали любительские спектакли, в которых принимала участие юная Алексеева, а знаменитый скульптор Анна Голубкина, заметив склонность девочки к движению, посоветовала ей пойти в известную в те годы в Москве Школу пластики Э. И. Книппер-Рабенек – последовательницы Айседоры Дункан. Школа много выступала как в России, так и за рубежом. Гастролировала в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Нюрнберге, Будапеште. Танцуя у Рабенек, Алексеева одновременно училась на Высших женских курсах историко-философского факультета. В 1912 году она попала в самую гущу интеллектуальной и культурной жизни, которая была ключом в Доме песни М. А. Олениной-д'Альгейм. Тон там задавали сама Мария Алексеевна и ее муж француз Пьер д'Альгейм – литератор, философ, поэт. Благодаря Дому песни Алексеева впервые попала в Париж, увидела в Лувре скульптуру Ники, а в театре *Champs Elysees* – балеты Дягилева и танцы Нижинского. Вернувшись в 1913 году из Парижа в Москву, Алексеева “пустилась в свободное плавание” – создала собственную студию гармонической гимнастики и начала сочинять этюды движения.

В те годы в Москве существовало множество разных школ и классов пластики. На улицах часто можно было увидеть спешащих на занятия девушек с чемоданчиками, в которых они несли специальную гимнастическую форму. Их называли “пластички”. На состоявшейся весной 2000 года в филиале Бахрушинского театрального музея выставке “Человек пластический” (она – к сожалению, не в полном объеме – перекочевала к нам из Италии) можно было увидеть интереснейшие рисунки и фотографии, посвященные свободному танцу, который был невероятно популярен в начале столетия. Среди прочих экспонатов были и многочисленные фотографии знаменитого в те годы танцовщика Румнева, одно время посещавшего студию Алексеевой (когда-то у нее занимались и мужчины), а также самой Алексеевой и ее студийек.

Начало века – эпоха славы Айседоры Дункан, время, когда много говорили и писали о физическом вырождении человечества, о запущенности тела, время создания новой гимнастической школы, когда теоретики гармонической гимнастики Дельсарт, Далькроз, Демени ратовали за сближение движения с музыкой, с искусством, время увлечения свободным, естественным, раскованным движением. Не механистическим, не снаряженным, характерным для немецкой и шведской гимнастики, не стесненным жесткими нормами, как в балете, но таким, которое доступно каждому и в котором нуждается не только тело, но и душа. А это возможно только при полном слиянии с музыкой, когда музыка диктует единственно возможный жест. Об этом писал Максимилиан Волошин в статье, посвященной танцу (он имел в виду студию Рабенек, но его слова можно полностью отнести к одной из звезд этой студии Алексеевой и ее этюдам): “Музыка есть в буквальном смысле слова память нашего тела об истории творения. Поэтому каждый музыкальный такт точно соответствует какому-то жесту, где-то в памяти

нашего тела сохранившемся. Идеальный танец создается тогда, когда все наше тело станет звучащим музыкальным инструментом и на каждый звук, как его резонанс, будет рождаться жест”. Именно это и происходит в студии Алексеевой: каждый звук рождает жест – простой, естественный и, кажется, единственно возможный. В зале звучит самая разная музыка, начиная с Баха, Шумана, Брамса и кончая этюдами Черни, фокстротами и народными мелодиями. Урок четко структурирован. Каждый этюд выполняет определенную гимнастическую задачу, но, двигаясь, мы не думаем ни о нагрузке, ни о мышцах, а просто живем в музыке, испытывая радость от самого процесса.

Создавая свою систему, Алексеева черпала из многих источников, но основным и неиссякаемым источником оставалась Античность – время наивысшего расцвета духовной и телесной культуры. Алексеева создала более трехсот этюдов. В набросках к своей так и не дописанной книге она приводит слова Овидия: “Если у тебя есть голос – пой. Если у тебя мягкие руки – танцуй”. Ненапряженное тело, плавность, слитность и непрерывность линии, античная стойка, являющаяся исходной позицией для многих этюдов – вот основные признаки этой на удивление цельной, абсолютно лишенной эклектичности, четко разработанной системы. За часовой урок нас как бы демонтируют, чтобы потом собрать из более гибких и послушных частей. Каждый этюд – это законченная пьеса, имеющая свою логику, свое развитие, свой сюжет и характер. Уроки Алексеевой – это и гимнастика, и игра, и соборное действо. Она добилась того, чего хотела: ее студия превратилась в “остров радости”. Что бы ни происходило вокруг (а вокруг, как известно, много чего происходило с 1913-го года по 1964-й, когда она умерла), в зале, арендованном для занятий, несчастных не было. Во всяком случае, до конца урока, а может, и немного после – пока не пройдет та эйфория, которую испытывает посвященный. А посвященным может быть каждый независимо от возраста, координированности и таланта. Система Алексеевой демократична и рассчитана именно на тех, кто любит движение, но непригоден для профессионального спорта. Чтобы оценить ее систему, требуется одно – уровень культуры и интеллекта, достаточный для того, чтобы почувствовать благородство и красоту рисунка. В студии алексеевской гимнастики жизнь не откладывается на потом, а происходит ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Даже новички, впервые осознавшие, что у них есть руки и ноги, с которыми не так-то просто совладать, испытывают на занятиях радость.

Алексеева не признавала ни разрядов, ни зачетов, ни соревнований. Что хорошо для большого спорта, то абсолютно противопоказано, когда речь идет о занятиях для себя. Совершенствуй свое движение, слушай музыку, вспоминай то, что было дано тебе природой, и делай это без натуги и боязни от кого-то отстать, без оглядки на других, абсолютно бескорыстно – вот основной принцип алексеевской системы, которая долгое время оставалась “полупризнанной, как ересь”. Много лет стучалась Алексеева в двери официального спорта, пытаясь доказать необходимость гимнастики, доступной всем. Долго пыталась объяснить, как нужна такая гимнастика женщинам и детям. Не слышали. Хуже того, над системой издевались, считая ее буржуазной и декадентской. “Нельзя насыщать лирический этюд жестами беспомощности и тоски, – писали в одной из рецензий на выступление Алексеевской студии в Колонном зале по случаю Международного женского дня, – ей не вырваться из этого плена, пока в основу этюда не будут положены чувства и переживания нового человека, передовой советской женщины...” Когда читаешь недавно изданные учениками и последователями дневники Алексеевой, ее статьи, записи (книга называется “Двигаться и думать”), то еще раз с горечью убеждаешься, что нет пророка в своем отечестве. В годы парадов, маршей, спортивных призов и побед гимнастика Алексеевой казалась нелепым реликтом, анахронизмом, родимым пятном навеки исчезнувшего буржуазного прошлого. Полунищее существование (она жила в коммунальной квартире в отгороженной досками части девятиметровой комнаты – какой простор для адепта свободного танца!), бродячая жизнь студии, вечный страх остаться без крыши над головой – вот постоянный лейтмотив ее дневниковых записей. И даже обретя в 1934 году статус студии

при Доме ученых (что произошло благодаря стараниям тогдашнего директора Дома ученых, гражданской жены Горького М. Ф. Андреевой), Алексеева, не имея в Доме постоянного помещения, все равно вынуждена была скитаться. Тем не менее именно в эти годы она создала один из своих шедевров – миниатюру “Интермеццо” на музыку Шумана, посвятив ее В. Ф. Комиссаржевской, которой восхищалась всю жизнь. В 1940 году она готовила для Театра-оперы И. С. Козловского большую постановку – пантомимические сцены к опере Глюка “Орфей” (у Алексеевой всегда была так называемая специальная группа, где она разучивала с наиболее одаренными ученицами этюды повышенной трудности, которые иногда показывала на сцене). Постановка не была осуществлена из-за войны. Последнее, что она сочинила, – посвященный 400-летию Микеланджело этюд на музыку Баха.

Невероятно повезло тем, кто попал на занятия к Алексеевой в раннем детстве. За свою жизнь Людмила Николаевна воспитала не одно поколение детей. Сейчас в Москве существуют группы, где преподают ее “дети и внуки”. Много лет подряд выезжала она в Евпаторию, где работала в детском туберкулезном диспансере с лежащими больными. Я видела фотографию, где прикованные к постели дети пытаются приподняться и повторить жест Алексеевой. А жест ее – вздетые к небу руки – настолько выразителен, что не повторить его невозможно. Алексеева была из тех, за кем идут. Она была сильной личностью и яркой индивидуальностью. Даже голос ее обладал гипнотической силой. Она называла себя “режиссером радости, режиссером жизни” и была таковым для очень и очень многих. Ее школа – больше чем просто гимнастика. Это мировосприятие, это судьба. Наверное, именно поэтому ее студия выжила. Выжила несмотря и вопреки.

Алексеева умерла в ноябре 1964 года. Будучи неизлечимо больной, она, отказываясь от помощи, поднималась на пятый этаж школы на Цветном бульваре, входила в зал и полулежала вела занятия, давая команды все тем же сильным, повелительным голосом.

В 1965 году в английском журнале *Dancing Times* и американском *Dance Scope* появились сообщения о ее смерти. В России же – ни звука.

2001

Глава 5

Героини ненаписанных романов

“Итак, она звалась Татьяной...”

Родственник моего отчима, которого отчим называл красивым словом “бофрер”²⁴, занимал некий пост в Литфонде. “Хочешь поехать на зимние каникулы в Дубулты? Есть возможность достать путевку”, – сказала мама. “Но я же не писатель”, – возразила я. “Там в это время нет писателей. Одни студенты”. – “Но они, наверное, дети писателей, а я нет”. – “Неважно. У тебя родственник в Литфонде”. Я собралась возразить, что никакой он мне не родственник, но передумала. А почему, собственно, не поехать, если предлагают? Шел 1960 год. Я училась на третьем курсе, делать мне в каникулы было абсолютно нечего. Тот, кто занимал мои мысли, не собирался занимать мое время. А без него... без него и Дубулты сойдет.

Городок оказался дивным, почти игрушечным, в окнах одноэтажных домов виднелись елки в мишуре, вспыхивали и гасли разноцветные лампочки. Падал снег, который тут же таял. Дом творчества располагался возле залива и состоял из нескольких коттеджей: в одном ели, в других жили. Столовая была небольшой и по-домашнему уютной: тюль на окнах, над круглыми столами – нарядная и не слишком громоздкая люстра, рояль в углу. Моими соседями по столу были жена поэта с сыном-первокурсником и племянница популярного сатирика студентка Ира. Первокурсник, по виду типичный маменькин сынок, оказался эрудитом, знающим наизусть все созвездия и всего Шекспира по-английски. Студентка Ира, моя соседка не только по столу, но и по комнате, выглядела гораздо старше своих лет, держалась светской львицей, к женщинам много старше себя обращалась “мадам” и усердно лорнировала всех, кто входил в столовую. “Не хватало еще провести каникулы в обществе нескольких девиц и желторотого Сенечки”, – мрачно шутила она.

На второй или третий день моего дубультовского житья в столовую вошли двое. Он был темноволос, слегка сутул, носил мятые вельветовые брюки и яркий шейный платок. Она... Но, чтоб говорить о ней, нужно собраться с духом. Легче начать с одежды. Одежка была смешная: байковая пижама в каких-то морковках и зайчиках. Пижама удивила. Лицо потрясло. Я видела немало красивых лиц, но ЭТО было особенным. Рядом с ним – нервным, тонким, загадочным – все бледнело, тускнело, скукоживалось, испарялось. Лицо притягивало взгляды. Его невозможно было не заметить, а заметив – забыть. Я, да и все мои соседи по столу, непрерывно поворачивались туда, где сидела ОНА. Оказалось, что Сенечка и его мама были давно и хорошо с ней знакомы. Звали ее Таней, она была дочерью известной поэтессы и уже не первый год приезжала в Дубулты со своим мужем-художником. Вскоре выяснилось, что их поселили в нашем коттедже, в соседней комнате.

В тот же вечер мы большой компанией отправились гулять. Увязая в мокром снегу, перекидывались снежками, лепили снежную бабу, а когда устали от шумных игр, принялись изучать звездное небо под руководством Сенечки. Я старалась держаться ближе к Тане, ведущей беседу с тетей Марусей (так она называла Сенечкину маму). Тетя Маруся расспрашивала Таню о житейских делах, о сестре, о маме. Таня отвечала самым обычным образом, но каждое ее слово звучало так, будто речь шла о предмете таинственном и нездешнем. То ли виноват был тембр голоса (Таня много курила и говорила с легкой хрипотцой), то ли манера затихать к

²⁴ От французского *beau frère* – брат жены или мужа.

концу фразы и делать паузу перед следующей. При этом губы ее слегка вздрагивали, и казалось, что все сказанное не имеет ни малейшего отношения к ее жизни и мыслями она далеко-далеко.

По вечерам мы собирались в холле, где играли в пингпонг, болтали и дурачились. В доме кроме нас жили латышские поэты и московский переводчик с незабываемым именем Цезарь. Сенечка, обладающий своеобразным чувством юмора, доводил переводчика до белого каления тем, что по несколько раз в день приветствовал его одним и тем же латинским изречением *Ave, Caesar, morituri te salutant*²⁵! Когда Цезаря начало трясти от этих слов, Сенечка, сжалившись, сократил приветствие до *Ave*, что, впрочем, не успокоило Цезаря.

Но, что бы ни происходило в этом доме, меня интересовала одна лишь Татьяна. Будучи моей ровесницей, она жила в неведомом мне мире – мире пугающем и манящем. Что бы она ни делала, играла ли в карты, изучала меню на завтра, говорила ли с соседями по столу, она всегда была здесь и не здесь. О, как мне хотелось стать такой же ускользающей и таинственной! Я попробовала говорить более низким голосом, затихать к концу предложения, делать паузы между словами, но загадочности не приобрела. Может быть, секрет в хрипотце? Но где ее взять? Разве что начать курить? От этой мысли меня бросило в жар. Я вспомнила, как отчим воевал с мамой, пытаясь заставить ее бросить курить. “Ты похожа на проститутку. Меня тошнит от запаха никотина!” – кричал он.

Я смотрела, как Таня держит сигарету в своих тонких пальцах, как артистично выпускает дым изо рта, и не испытывала ничего, кроме восторга. Самым большим моим желанием было следить за ее лицом, от которого всегда исходило какое-то странное свечение, говорить с ней, слушать ее непостижимые истории. “Вон за тем забором, – шептала она, – жил потрясающий молодой эстонец. Он учился в медицинском и подрабатывал, демонстрируя моды. Едва я его увидела, сразу поняла – он мой. Когда он играл в пинг-понг, я стояла рядом и смотрела. Доиграв партию, он бросил ракетку, схватил меня за руку, и мы побежали. Вбежали в коттедж, влетели в мою комнату и, забыв запереть дверь, упали на кровать. А кровать была старая, скрипучая. Представляешь?” Я молча кивнула. “Дело было летом, дом набит битком, в холле полно народу. Когда мы наконец вышли из комнаты, все молча смотрели на нас. А я задрала подбородок и иду. После ужина ко мне подлетел директор (ему уже донесли) и, трясаясь от возмущения, зашипел: “Чтоб больше этого не было. Слышишь?” – “Нет!” “Что нет?” – опешил он. “Не слышу!” Таня засмеялась своим дивным смехом. “А куда он делся потом, этот эстонец?” – спросила я дрожащим голосом. “Уехал в Москву. Он там учился. Мы встречались, но нечасто. Когда он к нам приходил, я говорила домашним: “Ко мне нельзя. У меня любовник”. “А как же твой муж?” – “Он привык. Я от него ничего не скрываю. Он знает, что рано или поздно я все равно к нему вернусь”.

Вскоре в доме творчества появился еще один студент, который, конечно же, немедленно стал Таниным оруженосцем. Вернее, зажигалконосцем. Где бы она ни находилась, стоило ей взять в руки сигарету, он оказывался рядом с зажигалкой наготове. Когда мы месяц спустя встретились с Таней в Москве, она рассказала, что прожила с этим зажигалконосцем несколько дней на его съемной квартире. Но было невероятно скучно. “Я даже бельчонка с собой взяла, когда к нему уехала, – почти шепотом говорила она, – а он оказался такой преснятиной. Для него любовь всего лишь гигиеническая процедура”. Я слушала Таню и смотрела, как выпущенный из клетки бельчонок по имени Макар бежит по ее плечам, груди, залезает за ворот. “Ой, щекотно, – смеялась Таня. – Маленький. Он предан мне, а я ему. Я без него никуда”.

Но вернемся в Дубулты. Мы сидим в холле, на столе коробка конфет и бутылка принесенного Цезарем ликера шартрез. “Налейте ей, – говорит Таня, – пусть попробует. А то она у нас совсем салага. Ничего не пробовала, ничего не знает”. Мне налили жгучую жидкость. Я сделала два глотка и задохнулась. На глаза выступили слезы, я закашлялась.

²⁵ Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя (лат.).

“Ну и реакция, позавидовать можно”, – смеялась Таня, опустошая свою рюмку. “Когда прокашляешься, спой нам. Она потрясающе поет по-английски”, – сообщила Таня окружающим. В голове моей шумело, по телу разливалось приятное тепло, мне стало хорошо и страшно. Я поняла, что ступила на путь греха. *Heaven, I am in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak*²⁶. Неужели это мой голос? Неужели это я напилась и пою? Таня ликовала: “Браво, браво! Спой еще вот это: *Tea for two and two for tea*”²⁷. Утром меня, как всегда, разбудил Танин кашель. Через минуту в дверь постучали. “Не спите? – раздался Танин голос. – Я пришла почитать вам стихи”. “Ты что, стихи пишешь?” – спросила сонная Ирка. – Не люблю стихов, никогда их не читаю. Прав был Лев Николаевич: стихи сочинять – все равно что приплясывая идти за плугом”. “Ну и не слушай. Я Ей почитаю”. Таня села на мою кровать и голосом еще более загадочным и хриплым, чем всегда, стала читать стихи про погибшую любовь, про то, как двое, проснувшись, оттолкнулись друг от друга ресницами... “Между прочим, – спросила Ирка, – чем ты, собственно, занимаешься в жизни?”

“Живу”, – последовал ответ. “А сверх этого?” – не отступала Ирка. “Что бы ты хотела услышать?” – ответила Таня вопросом на вопрос. “Ну ты что, просто мужняя жена или учишься где-нибудь?” Танины губы дрогнули, и после некоторой паузы она отчетливо произнесла: “Я пишу стихи”. “И ты считаешь это занятием?” – саркастически спросила Ирка. “Считаю! – с вызовом ответила Таня. – Между прочим, ты слыхала имя моей матери?” “Слыхала. Как не слыхать”. – “Ну и что, по-твоему, она делает в жизни?”

“Но ты, кажется, не настолько известна”, – иронизировала Ирка. “Она тоже когда-то не была известна”. – “А-а-а, ну так бы сразу и сказала: собираюсь стать знаменитой поэтессой”. “Брось ты чушь городить!” – неожиданно внятно произнесла Таня. Слушая их спор, я и представить себе не могла, что через каких-нибудь два-три года я тоже начну писать стихи и мои родители будут всерьез обеспокоены тем, что из-за этого химерического занятия я брошу преподавание и окажусь между небом и землей. Я и представить себе не могла, что мой свободномыслящий муж будет терпеливо внушать мне, комплексующей по поводу порочной тяги к сочинительству, не приносящему никакой пользы отчизне, что я имею право писать, имею право...

Но это все позже. А тогда в Дубулты в 1960-м я была автором одного-единственного стихотворения – стихотворения о любви, которое меня так и подмывало прочесть Тане. Но, проговорив его про себя, я поняла, что читать не следует.

Ну что, кроме насмешки, могли у нее вызвать такие строчки:

“Мальчишка милый, как люблю я / Твой голубой, лучистый взгляд! / Твою улыбку озорную, / Когда ты в чем-то виноват! / Мне хочется бродить часами / С тобою рядом по Москве, / И губы почему-то сами / Все улыбаются тебе...” Когда по дороге на завтрак Ирка снова завела разговор о никчемности поэзии, Таня, прочтя строфу из блоковских “Скифов”, спросила: “Что, и это тебя не впечатляет?” “Нисколько!” – с вызовом ответила Ирка. Решив поддержать Таню, я вступила в разговор: “А мне нравится у Блока такая строчка: “Спляши, цыганка, жизнь мою”. Таня презрительно скривила губы: “Пошлее ты у него ничего не нашла?” Ирка удовлетворенно захохотала, а я убедилась, что была права, не решившись читать свое любовное стихотворение.

В оставшиеся дни я часто сопровождала Таню в ее походах за сувенирами. Мы забегали во все крошечные магазинчики, а по дороге она напевала: “Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю...” “Что ты поешь?” – удивилась я. “Окуджаву”. – “Кто такая Окуджава?” – “Не такая, а такой. Булат Окуджава. Неужели не слышала?” Я покачала головой. “Вот вернемся в Москву, я тебя приглашу. Он у нас иногда поет”.

²⁶ Слова из песни Ирвинга Берлина *Cheek to Cheek* (1935). Один из самых знаменитых эстрадных хитов XX века. Песня стала особенно популярной в исполнении Фреда Астера, Фрэнка Синатры, оркестра Гленна Миллера и др.

²⁷ Эстрадный хит Винсента Юманса и Ирвинга Цезаря (1925), в 1930-е получил особенное распространение в исполнении танцевальных джазовых оркестров.

В Москве мы поначалу часто виделись: то она приходила к нам на Трифоновскую, где любила шушукаться с мамой, то я к ней в Лаврушинский. Окуджаву я там так и не встретила. Зато встретила известную поэтессу – Танину маму. Едва она вошла в комнату, где мы сидели, Таня взвилась: “Я же просила не входить без стука!” Разговор сразу пошел на повышенных тонах и кончился истерикой. “Зараза! Ненавижу!” – выкрикивала Таня. Ее трясло. На шее вздулись жилы. “Истеричка!” – кричала Танина мама. Я в ужасе смотрела на женщин и мечтала только об одном: исчезнуть, испариться. Когда за Таниной мамой закрылась дверь, я, выждав минуту, решила последовать за ней. Таня рыдала, уткнувшись в подушку. Услышав мои шаги, спросила, не поднимая головы: “Ты куда?” “Мне пора”. “Ты что, испугалась? – пробормотала Таня. – У нас это обычное дело. Не обращай внимания”. Как странно! Чуть ли не вчера Таня с благоговением водила меня по кабинету своей матери, показывала разложенные на столе черновики (“Только, ради бога, ничего не трогай! Она убьет, если обнаружит!”), листала ее сборник, читала вслух любимые строки, рассказывала историю картин и фотографий, висящих на стенах. И вдруг: “Зараза! Ненавижу!”

На следующий день Таня позвонила и своим неподражаемым голосом сообщила, что не может уйти из дома, потому что ждет слесаря: “Не хочешь прийти и помочь мне ждать?” Помня о вчерашнем скандале, я отказалась. Положив трубку, я несколько раз произнесла вслух: “Жду слесаря. Жду слесаря”. Почему в ее устах это звучит как “жду чуда”, а в моих вполне прозаично? Почему даже в момент скандала ее лицо оставалось прекрасным? Почему, какие бы откровенные истории о себе она ни сообщала, ее окружала тайна? Таинственным было все: и голос, и кашель по утрам, и молчание, и смех...

Однажды, проводив Таню до метро, я купила сигареты с фильтром, точно такие, какие курила она. Когда следующим утром я курила в постели, в комнату вошел отчим. Он дико закричал и, бросившись ко мне, вырвал у меня изо рта сигарету. На крик прибежала мама. “Происходит то, о чем я тебя предупреждал. Дальше будет хуже”. Мне запретили приглашать Таню домой и следили, чтоб я не ездила к ней. Впрочем, наша дружба и без того постепенно сходилась на нет. Уж слишком мы были разными. До меня иногда долетали какие-то слухи. Я знала, что она развелась и снова вышла замуж. Опять за художника. Родила дочь. Переводила детские стихи. Писала ли свои? Наверное, писала. Потом мне сказали, что она тяжело заболела. В 1974 году весной я узнала, что Таня умерла от рака.

Как-то летом, гуляя по Переделкинскому кладбищу, я наткнулась на Танину могилу. Стоя возле доски с цифрами 1940–1974, я вспомнила нашу последнюю встречу: Таня забежала ко мне после занятий на курсах французского языка, которые она много раз начинала и бросала, вынула из сумки маленькую пластинку с песнями Эдит Пиаф и предложила: “Поставь. Давай послушаем”. “*Non, rien de rien. Non, Je ne regrette rien...*” – пела Пиаф. Пела так, будто с концом песни оборвется жизнь. Таня, закрыв глаза, тихонько подпевала. “О чем она поет?” – спросила я.

“Ни о чем”. – “Как это – ни о чем?” “Она поет: ни о чем я не жалею, ни о чем”, – не открывая глаз, прошептала Таня.

Божественная Валерия

Ее лицо всегда жило какой-то особой таинственной жизнью. У нас урок фонетики, мы изучаем гортань в разрезе, а она, щуя свои близорукие бирюзовые глаза, смотрит в окно. И не просто смотрит, а вглядывается в нечто, скрытое от других. Вглядывается и улыбается. Но можно ли такими чересчур определенными словами выразить таинственную жизнь ее лица? Можно ли назвать улыбкой это легкое подрагивание губ? Кажется, она что-то шепчет. Что и кому? Меня все это так занимало, что я полностью выпадала из учебного процесса и раздражала фонетичку своими ответами невпопад. Как ни странно, сама Лерка (а именно так звали мою загадочную однокурсницу) никогда не попадала впросак, будто это я, а не она общалась с законным пространством, шепталась с ним, улыбалась ему.

Мы подружились и проводили вместе большую часть времени. Долго-долго шли из института через парк “Сокольники” до метро. Долго шли от метро до моего дома. Долго обедали. Долго болтали и стремительно делали задание на завтра. Потом Лерка уезжала к себе домой, где, по-видимому, не очень любила находиться.

Несмотря на столь тесный контакт, она все равно оставалась для меня существом непостижимым. Ее сильная близорукость создавала некую невидимую преграду между ею и окружающими. Преграду, которая ей вовсе не мешала и которую она совсем не собиралась преодолевать. Благодаря этой преграде она могла, не растворяясь в будничном и сиюминутном, устремлять взор в *туманную даль*, чтоб увидеть *нечто*. И *романтических роз* в той нашей жизни тоже хватало. Ими были усыпаны все истоптанные нами тропинки в парке “Сокольники” и каждодневная дорога от метро до моего дома. Они нежно благоухали, когда мы грели обед и когда зубрили очередной английский текст из учебника Гальперина. Чем бы мы ни занимались, о чем бы ни говорили, все было окутано романтическим флером. А задачи мы ставили перед собой глобальные. То мы решили перечитать все стихотворные сборники в моем книжном шкафу (начав почему-то с Верлена), то задумали, побегав по театрам, обсудить по-английски спектакли, которые успели посмотреть. Помню, как беспомощно прыгали губы, когда мысль обгоняла речевые возможности, как мы терзали словарь в поисках нужного слова, как раздражались на свой скудный вокабуляр. И тем не менее Леркин английский казался куда более беглым, чем мой, хотя запас слов у нас был одинаковый. Просто Лерка и здесь обладала неким секретом, некоей особой манерой легко и небрежно произносить слова. Даже те немногие, которые знала. Она держалась так уверенно и непринужденно, что начинало казаться, будто она знает куда больше, чем показывает, и что ей просто недосуг искать другие, более сложные обороты. Когда на уроке преподаватель прерывал ее, чтобы поправить или задать вопрос, она бросала на него такой недоуменный и насмешливый взгляд, что ему, бедному, явно становилось не по себе. Лерка *умела много гитик*. Умела то, чего совсем не умела я. Например, быть независимой и взрослой, царить и повелевать. И вроде бы она вовсе к этому не стремилась. Это происходило само собой. Люди с радостью подчинялись ей и позволяли царить. Она была confidentкой многих взрослых женщин, в том числе и моей мамы, которая не только рассказывала ей все подряд, но и спрашивала ее совета. Хотя у нее, семнадцатилетней, еще и романа толком не было. Она лишь жила *в предчувствии минуты дивной той*. Ждать пришлось недолго. Он появился весной. Подошел к ней на институтском вечере и пригласил танцевать. Это был канун майских праздников, Москва готовилась к параду. Он и Лерка гуляли по ночному городу, а мимо с диким грохотом шли танки. Лерка остановилась и закрыла ладонями уши. Представляю, как она замечательно смотрелась в этот момент. Высокая, стройная, с пышными заколотыми на затылке разлетающимися на ветру пепельными волосами, с капризной ямочкой на подбородке. Он (назовем его Лев) отнесся к ее жесту чрезвычайно серьезно и принялся оттирать ее ладони от ушей: “Не прячься. Убери руки. Слушай жизнь. Ты обязана

ее слышать”. Лерка рассказывала мне об этом с восхищением. Он ее покори́л: взрослый, без пяти минут геолог (не то что наши сосунки-первокурсники), самостоятельный (часто ездил “в поле”), интеллектуал, знаток поэзии, книго́чей, прочел все книги в своей гигантской домашней библиотеке. О, какие письма он ей писал, уезжая на практику! Не письма, а целые тома, полные умных рассуждений, многозначительных фраз и цитат из Рабиндраната Тагора. Но это все потом – весной, летом. А нам еще предстояла зима, Новый год, который мы решили встречать вместе. Я пригласила своего Натана и его друзей. Лерка пришла одна. В тот вечер она, которая выглядела королевой даже в дежурной серой юбке и серой кофте, превзошла себя: сверкающее блестками платье с глубоким вырезом, высокие каблуки, живописно рассыпанные по плечам волосы. Да еще эта летучая улыбка, взгляд, устремленный невесть куда... “Божественная, божественная Валерия!” – вспомнила я восклицание Спартака из читаной-перечитаной в детстве книги Джованьо́ли. Когда я в какой-то момент зашла за чем-то в маленькую комнату, я застала там Натана и Лерку, которые стояли с полными бокалами в руках. “Мы решили выпить на брудершафт. Ты не возражаешь?” – слегка смутившись, спросил Натан. Лерка, улыбаясь и близоруко щурясь, смотрела на меня. “Не дружи с ней, – говорил мне потом Натан, – она та еще штучка. Предаст тебя и глазом не моргнет”. – “Так вы пили с ней на брудершафт, чтоб в этом убедиться?” Я говорила ему ВЫ, поскольку познакомилась с ним, когда мне было четырнадцать, а ему двадцать один.

Как ни странно (да нет, не странно – Натан давно уже не вызывал у меня особо бурных эмоций), новогодний эпизод несколько не испортил наших с Леркой отношений. Она стала чуть ли не членом семьи. Мама рассказала ей даже то, что никому, кроме меня, не рассказывала: про свой недавно возникший роман, про живущего в Красноярске возлюбленного, от которого каждый день приходили до востребования многостраничные письма. Этот роман чуть не лишил меня целинной одиссеи, когда летом в Казахстан на станцию Тайынша, где наш курс работал на элеваторе, пришло письмо, в котором мама сообщала, что разводится с моим отчимом и просит меня срочно приехать. Не успела я осознать случившееся, как следом пришла телеграмма: “Приезжать не надо. Все остается по-прежнему”. В полном смятении я показала телеграмму Лерке. Она прочла ее и, слегка скривившись, молча вернула мне. Интуиция подсказала мне, что лучше тему не продолжать.

Все осталось по-прежнему. Мама осталась с моим отчимом, я осталась на целине, где мы днем работали, а вечерами варили на костре пахнущую дымком кашу. “Радуга. Смотрите, радуга”, – закричал кто-то. Все взглянули на небо. Но так глядеть, как глядела Лерка, не умел никто. Казалось, что небо устроило эту радугу ради нее одной. Плавным движением она стянула с головы косынку, позволив ветру шевелить ее волосы, еле заметная улыбка заиграла на ее устах (да-да, именно на устах). Мне казалось, что еще секунда, и она начнет произносить нечто похожее на монолог Наташи Ростовской, стоящей ночью у распахнутого окна. Испугавшись, я склонилась над миской с кашей и принялась есть.

“У меня болит нога, – сказала Лерка в самом начале нашего пребывания на целине, – вряд ли я смогу выйти на работу”. Чуть ли не месяц нога мешала Лерке честно выполнить комсомольский долг. И вдруг телеграмма от НЕГО. Он будет проезжать нашу станцию по дороге “в поле” такого-то числа в такой-то час ночи. Наш элеватор находился в 25 км от железной дороги. До станции надо было пахать и пахать. Поздно вечером, вооружившись фонариком, мы с Леркой отправились встречать ее суженого. Одной идти было опасно, да и вдвоем не очень-то спокойно. Тем более что до нас дошел слух, будто чечены поклялись не выпустить живьем ни единого москвича. Мы вздрагивали от каждого шороха и хруста, а убедившись, что пугались напрасно, принимались хохотать. Наконец показалась едва освещенная тусклыми фонарями платформа, где на обшарпанной, усыпанной шелухой от семечек лавочке нам предстояло ждать поезда. Трудно было поверить, что в какой-то момент на этой темной, богом забытой платформе появится человек из совсем другой – московской, яркой, пестрой и, как нам тогда

казалось, совершенно счастливой – жизни. И он появился. Вероятно, он был единственным, кто сошел на этой станции. Закинув рюкзак за плечи и вглядываясь в темноту, Лев двинулся по платформе. Убедившись, что это он, Лерка, раскинув руки, побежала ему навстречу. Мне казалось, что я смотрю кино. Вот они обнялись, вот он ее кружит, вот снова обнялись. Вот они вспомнили про меня. Впрочем, дальше уже неважно. Мы остались целы, встреча произошла, кино снято без единого дубля.

Если наша с Леркой дружба выдержала новогодний эпизод с брудершафтом, то она довольно сильно пострадала на целине из-за Леркиной больной ноги. Мое идейное воспитание заставляло меня работать, работать и работать – разгружать и загружать вагоны, разгружать и загружать машины, закидывать зерно на транспортер. В общем, делать все что положено. Таков был мой принцип, внушенный мне еще в детстве бабушкой. Леркино отлынивание (ведь пошла же она, несмотря на больную ногу, встречать Льва!) меня потрясло. Мы общались все меньше и меньше. Мне даже трудно вспомнить, где она была на обратном пути в Москву и как мы простились. И все же конец наступил не тогда. Он наступил, когда Лерка заявила мне, что не хочет видеть мою маму, которая, отказавшись от своей любви, выбрала более легкий путь: “Ей нужны костылики. Так ей и передай”. Я задохнулась от обиды и не нашла что ответить.

Впрочем, какая разница, почему кончилась наша дружба? Она кончилась, потому что все кончается: и юность, и любовь, и дружба.

Родив дочь, Лерка взяла академический отпуск и, вернувшись через год в институт, оказалась на курс младше. Однажды в поисках своей аудитории я прильнула к просверленной в одной из дверей дырочке и увидела Лерку. Она сидела за столом и, щуря свои бирюзовые глаза, смотрела вдаль. Губы ее вздрагивали, волосы золотились под лучом. Была ли в ней тайна? Наверное, была, если и сорок лет спустя я помню ее облик во всех деталях. Ее лицо осталось для меня лицом нашей юности: пленительной, неповторимой, вероломной, полной тайных надежд и болезненных разочарований (какие еще банальности я упустила?).

Фея времен года

В чем она была тогда на сцене? Кажется, в черном трико. Гибкая, тонкая, она играла фею в спектакле “Времена года”, поставленном студией пластической драмы (не уверена, что студия называлась именно так). В спектакле звучала музыка Вивальди, которая нынче весьма популярна в американских супермаркетах, где, наверное, часто бывает Фея, переселившаяся в Штаты лет десять назад. Приятно ли ей постоянно слышать столь знакомую музыку? Вспоминает ли она конец 1970-х, когда играла на сцене популярной тогда студии пластики?

“Знаешь, я так устаю от всех своих нагрузок, что просто стоя сплю”, – написала она мне из Штатов. Наверное, при такой усталости и вспоминать нет сил. Да и зачем вспоминать? Йоги считают это занятие бесплодным и бесполезным. Так предадимся же ему, этому бесполезному занятию, которое одно только и способно объяснить нам, что происходит внутри и вокруг нас. А потому я направляю луч памяти на сцену, где хрупкий принц тщетно пытается всучить красную розу очередному объекту своей любви: то сумасбродной, розовой, как поросенок, принцессе, то похожей на фарфоровую куклу дочери китайского мандарина, то бесстрашной и бессердечной, закованной в латы воительнице. Зима сменяется весной, весна летом, лето осенью, а принц все страдает и странствует в поисках счастья, в упор не видя преданно любящую его Фею времен года. Вот она, вовлекая его в свой танец, снежным вихрем носится по сцене, вот медленно вращается в веночке из полевых цветов, вот, утягивая его за собой, неистово кружится, подобно гонимым ветром осенним листьям. А принц – он с ней и не с ней. С ней, потому что она – это снег, трава, листья. Не с ней, потому что это всего лишь снег, трава, листья, то есть некая данность, нечто само собой разумеющееся. Как она, Фея, может убедить его в том, что и весенний хаос, и летнее многоцветье, и снежный вихрь – все это ему, ему, от которого ей нужна самая малость – чтоб он подарил ей свою красную розу? Но этого никогда не случится, потому что он относится к ней как к погоде и, в очередной раз влюбляясь, рассеянно грызет протянутую ему Феей травинку.

После спектакля моя спутница повела меня за кулисы знакомиться с Феей, которую хорошо знала. Я ожидала увидеть богемного вида примадонну, а увидела приветливую молодую женщину, которая, протянув мне руку, человеческим голосом сказала: “Марта”. Мы похвалили спектакль и ее игру. “Вам понравилось? Правда понравилось?” – радостно переспросила она. По коридору прошли еще не успевшие разгримироваться аист с аистихой, в углу курили принц с китайским мандарином. Несли какие-то громоздкие коробки, приборы. Кто-то с кем-то о чем-то торопливо договаривался. “Вы, наверное, едва стоите на ногах. Не будем вас больше держать”. – “Нет-нет. Я очень рада, что вы пришли. Мы обязательно увидимся. Я знаю, что вы пишете стихи, и очень хотела бы их почитать”. – “Конечно, я подарю вам книжку”.

“Это Фея. Узнаешь?” – спросила я сына, когда Марта впервые пришла к нам в гости. Сын смотрел на нее во все глаза. К тому времени я успела сводить на спектакль почти всех своих друзей и близких. Во мне непрерывно звучала музыка Вивальди, а теперь и сама Фея пожаловала в гости. Она сидела в кресле и слушала мои стихи. “Хочешь, я пластически изображу какую-нибудь стихотворную строку?”

Мы это часто практикуем во время занятий. Скажи какую”.

“Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою”, – предложила я. Марта встала, сбросила толстый свитер и, на секунду задумавшись, закрыла лицо руками. Потом откинулась назад, наклонилась вперед и, наконец, медленно отведя руки от лица, устремила взгляд в пространство, в котором жил ее (если бы ЕЕ!) принц.

“Знаешь, – говорила она мне в одну из наших встреч, – я жить не хотела, когда он ушел. В крайнем случае я готова была что-нибудь с собой сделать”. Это “в крайнем случае” она употребляла к месту и не к месту. Родным ее языком был литовский, и до восемнадцати лет она

жила в маленьком литовском городке, где русская соседка, привязавшись к девочке, проводила в беседах с ней целые часы. Отсюда и беглый русский и почти полное отсутствие акцента. Разве что слегка редуцированные гласные и некоторые невпопад употребляемые слова. “Спасло меня только то, что я перешла в другую труппу, – говорила Марта, – если бы осталась на прежнем месте и встречалась с ним каждый день... До сих пор не пойму, как я выжила. Знаешь, когда мы ее впервые увидели, его теперешнюю жену, она ему активно не понравилась. Он все приставал ко мне: “Что у нее с лицом? Почему у нее такая кожа? Она что, рябая?” И я, как дура, ее защищала: “Ну что ты хочешь? Чем она виновата? В крайнем случае не хуже других”. И вдруг однажды как обухом по голове: “Знаешь, я уйду к ней. Прости, но так получилось”. Я выбежала из дома в чем была. Где ходила, что делала, как назад вернулась – ничего не помню. Не спала, не ела. Только курила. Сейчас уже легче – пять лет прошло. И все же иногда сердце ноет, ноет и тоска такая”.

Как-то раз Марта позвала меня на прогон нового спектакля, где у нее была небольшая роль. Она играла мать скульптора, которая, сама того не желая, мешает ему жить, мучая своей неустанной заботой. Сын борется с ней, пытаясь освободиться от ее мелочной опеки и чрезмерной любви, чтоб, освободившись... лепить ее скульптуру. В каждом его движении одержимость и мощь. Изгнав мать, он заполняет ею свою жизнь и встает на колени перед завершенной скульптурой. Что это – позднее раскаяние, прозрение? Но, окажись мать рядом, он, скорее всего, снова прогонит ее. Ему необходима свобода от тесных уз и назойливой реальности, чтоб превратить эту реальность в произведение искусства.

Но, какую бы роль Марта не играла, я видела в ней Фею. Когда-то в одной французской книге я читала о женщине настолько гибкой и тонкой, что она походила на черточку. Готическая фигурка Марты в черном трико была такой черточкой, таким легким, летучим штрихом.

Однажды Марта взяла меня с собой на репетицию, которой предшествовала разминка. Продемонстрировав несколько движений, руководитель, щелкнув пальцами, предлагал актерам поменять позу. Щелк – одна поза, щелк – другая, щелк – третья. Темп убыстряется, и движения, сменяя друг друга, сливаются в одно. Гибче, гибче, быстрее, легче, держите темп. А теперь глиссандо. И никакого залипания на одной ноте, все летит, все движется. Как в жизни. Щелк – зима, щелк – лето, щелк – и Марта замужем. Вот уже и дочка родилась. Пройдет несколько лет, и девочка станет такой же гибкой и длинноногой, как ее мать. К тому же она окажется исключительно музыкальной. С ней будет заниматься музыкой бабушка, а позже, когда жизнь опять сделает “щелк”, человек, про которого Марта несколько высокопарно скажет мне: “Это мужчина моей жизни”. Но щелчки судьбы – они ведь весьма болезненны. Щелк – и “мужчина ее жизни”, измучив Марту перепадами настроения, приступами язвенной болезни, взаимоотношениями с прежними женами, уезжает на Запад. Он пишет ей оттуда и даже присылает деньги, но Марта одна. Нет, не одна. Теперь у нее дочь и щенок, который приبلудился к ней во время каких-то гастролей. Он знал, что делал: ведь она – Фея времен года, то есть душа флоры и фауны.

Но Фея ли она? Разве Фея может перестать быть Феей? Разве актер может покинуть театр?

“Я больше не могу, – сказала она, – я стала истеричкой”. “Но как ты будешь жить без сцены?” – “Вот так и буду. В крайнем случае подлечу спину”. Марта стала меняться на глазах. Из гибкой лозы она превратилась в даму с красивыми формами. Она перестала испытывать постоянный голод и хроническую усталость. Она начала печь пироги и готовить цеппелины – картофельные оладьи с творогом, фирменное литовское блюдо. Однажды, когда мы сидели на ее уютной кухне, по радио зазвучали “Времена года”. Я в страхе посмотрела на Марту, ожидая взрыва эмоций, сама не знаю каких. Ведь это был голос прежней жизни, каторжной, безумной, но неповторимо яркой. К моему великому удивлению, Марта продолжала спокойно чистить картошку. “Узнаешь?”, – спросила я, кивнув на приемник.

“Конечно, – ответила она ровным голосом, – здесь мы скользим, взявшись за руки, помнишь?” Как не помнить. Я смотрела этот спектакль несметное количество раз и помню все: и бег, и скольжение, и весеннее ликование, и похороны аистихи, и... Короче говоря, помню все.

Однажды она позвонила мне почти ночью: “Прости, что я так поздно. Но ты знаешь, мой бывший муж собирается уезжать в Штаты и зовет нас с собой. Он хочет, чтоб дочка была рядом с ним, и считает, что ей там будет лучше. Как ты думаешь, стоит ли мне все это затевать? Он говорит, что поможет”. “Ну если поможет...”

Нет, она не Фея. Она железная женщина. У нее стальные мышцы и сильные руки, которыми она будет драить полы и мыть лестницы в американских домах, чтоб обеспечить себя и дочку. Эти ее сильные руки до сих пор помнит мой сын. Двадцать лет назад, когда мы вместе жили на даче, Марта вдруг схватила его, сунула под мышку и с диким гиканьем побежала по тропинке. Крепко зажатый и слегка придушенный малыш был абсолютно уверен, что его уносит Баба Яга. Эта роль ей действительно отлично удавалась. Уйдя из театра, Марта организовала в своем доме детскую танцевальную студию и каждый год устраивала новогодние спектакли, в которых играла ведьму. Она так страшно хохотала, так вращала подведенными глазами, так натурально летала на метле, что дети визжали от ужаса и восторга.

Из Штатов она прислала мне два или три письма. Писала, что много работает, но ни о чем не жалеет: “В крайнем случае дочка Яна учится в хорошей школе, вполне овладела английским, танцует и занимается музыкой”. В письмо были вложены фотографии: вот их дом на берегу океана, вот Яна в национальном костюме на празднике литовской общины. Вот они обе – мать и дочь. Кто из них Яна, кто Марта? Обе юные и стройные. Яна, Марта, март, январь – смена времен года, смена декораций, перемена участи.

Как-то ночью в нашей квартире раздался звонок. Звонила Марта. То ли она забыла, что у нас ночь, то ли вообще часов не наблюдала. Сын, который подошел к телефону, не решился меня будить, зная, что я принимаю на ночь снотворное. Мы еще раз два обменялись письмами и замолчали. Где она сейчас? Как где. В самом надежном месте – в моей памяти, вмещающей тьму разных образов, событий и времен. Там все еще длится тот беспросветный мартовский день, когда умерла моя мама. Марта приехала ко мне и, не говоря ни слова, не пытаясь ни утешить, ни отвлечь, обняла за плечи и по-деревенски, по-бабы завывала. А мне ничего другого и не надо было. Я хотела только одного – выплакаться, и она дала мне такую возможность.

А вот мой день рождения, на который она пришла с букетом каких-то полупризрачных сухих трав и собственным рисунком, сделанным тушью: “Это фантазия на тему твоего стихотворения. Угадай какого”. Я долго всматривалась в переплетающиеся и расходящиеся абстрактные линии, но так и не угадала. Она дарила мне множество своих рисунков, которыми одно время сильно увлекалась. Все они напоминали ее танец: удлиненные гибкие линии переплетались, расходились, свивались в кольцо, снова расходились. И как она может жить без танца, без сцены? Вот так и может. Она много чего может. Может, уехав из Литвы, обосноваться в Армении, потом в Москве, потом в Штатах. “Я, наверное, начисто лишена ностальгии, – говорила она, – легко обживаюсь на новом месте. Я и в поезде могу жить. Повешу картины на стену, занавески на окна, брошу что-нибудь пестрое на лежанку – и дома”.

Кто же она? Фея? Баба Яга? Железная женщина? И то и другое и третье. Зачем ей театр? Весь мир – театр, где у нее тьма ролей. Мне нравилось смотреть на Марту, когда она проводила разминку перед началом репетиции. Волевая, сильная, она звонко щелкала пальцами, приказывая всем повторять за ней: щелк – и она висит, как белье на веревке, щелк – и тянется ввысь, как шпиль готического собора, щелк – и кисти сжаты наручниками, щелк – и становится темно от крыльев. Вон их сколько – больших, шуршащих. Еще секунда, и полетим. *Так* ее, судьбу. *Так* ее, *так* ее. Пусть знает, кто здесь хозяин. Нет никаких наручников, есть крылья. Нет ностальгии, есть свобода. Нет тоски, нет отчаяния. Есть амазонка с хлыстом, которая повелевает.

Глава 6

Муза, оборотень, чудо...

Путевые заметки

Чувство пути появилось не вдруг и не сразу. Долгие годы я жила без него и жила плохо. В отрочестве и юности засыпала и просыпалась с одним и тем же тоскливым вопросом: “Зачем?”

Зачем встаю, зачем ложусь, зачем живу. Не покидало ощущение, что ответ есть, и где-то близко. Но где? “Трагический отроческий возраст” затянулся. Чувство пути и неслучайности происходящего возникло лишь после тридцати. И вот, добытое ценой стольких лет поиска, исчезло снова. Потому и пишу, решив вернуться назад в надежде отыскать утраченное.

В детстве, как и положено, день был наполнен до краев. И, едва открыв глаза, я начала торопиться делать все то, от чего оторвали вчера, уложив в постель и погасив свет. Маета началась позже, лет в тринадцать-четырнадцать, когда, сидя во время концерта рядом с мамой, я обнаружила, что мне в тягость ее присутствие. Музыка переворачивала душу, мешала говорить, хотелось спрятаться, исчезнуть. А мама о чем-то спрашивала, предлагала яблоко, подвела к знакомым во время антракта. Музыка распаивала дверцу в какое-то иное бытие, но что с этим делать, я не знала. Однажды, проводя студенческие каникулы в Юрмале, я купила приставку и немного пластинок. С трудом дождалась возвращения в Москву и... начала новую жизнь. Фортепианные концерты Шопена заслушала до того, что пластинка стала шипеть, а игла подпрыгивать. Принялась за третий фортепианный концерт Рахманинова. Помню весенний день 1958 года: мы с подругой готовимся у меня дома к сессии. Звучит уже заигранный Рахманинов, на столе в освещенном солнцем граненом стакане – тополиная ветка. И снова показалось, что все это – позывные другого бытия, другого измерения. Вернее, показалось то, что плохо поддается описанию. Но раз уж взялась писать, то обязана заполнить весь лист, не оставляя пропусков и пробелов.

Позывные звучали все чаще и требовали от меня бог весть чего. Синие контуры домов и деревьев, в сумерки закатное солнце, вспыхнувшее во множестве окон, запах старых книг в хранилище библиотеки, куда однажды попала, начало си-бемоль-минорной сонаты Шопена, улыбка Кабирии в фильме Феллини – всюду таинственные знаки, которые подавала мне жизнь. Как ответить на них и чем? Потребность и неумение ответить порождали тоску и сердечную боль. И наконец появились стихи. Пока писала, все было хорошо, но, едва переставала писать, тоска возвращалась с удесyтеренной силой. Я отлично понимала всю нелепость такой жизни. Восемь неловких строк не есть адекватный ответ на загадочные позывные и не могут быть оправданием существования. И не стоит умирать, если не пишу.

И все-таки вновь умирала и вновь воскресала.

Одновременно с этим шла обыкновенная жизнь: окончание школы в год I Всемирного фестиваля молодежи, поступление в институт, поездка на целину, замужество, работа в школе. Нет, я не хотела быть учителем, понимая, что школа заберет все время и всю душу. Я хотела писать. И только. Но так вышло, что, не поступив в Университет на филфак, я чудом успела сдать документы в иняз и попала на педагогический факультет. Когда я окончила институт, меня направили в английскую спецшколу, где полагалось отработать два года. Я видела, как работают учителя, влюбленные в свое дело, и, зная, что так не смогу, чувствовала себя преступницей. Но уйти не могла – не отпускали. Слава богу, через год завуч Ольга Константиновна, которой я откровенно призналась, что хочу писать стихи, а не учительствовать, сумела договориться в РОНО, чтоб мне дали “вольную”. Ура! Свобода! Я устроилась преподавателем

на вечерние курсы иностранных языков. Учить взрослых – совсем другое дело. Это мне даже нравилось. Я выдумывала интересные приемы, готовилась к урокам, покупала разную методическую литературу. А утро оставила для стихов.

Странно вспоминать, как я жила. Большая комната на Кропоткинской в коммуналке. На столе кастрюля с супом, который мой муж Боря за неимением ничего другого ел на завтрак. Незастеленная постель, где валяюсь я, пытаюсь что-то сочинять и записывать. На подушке – журналы, книги. Попишу, почитаю, снова попишу. В этой же квартире жила Борова тетя Ольга Владимировна с сыном-художником. Его картины – ромашки, каллы, девушка в красном – висели по стенам нашей комнаты. Однажды Ольга Владимировна, войдя в комнату и увидев меня возлежащей посреди полного разгрома и хаоса, стала сердито выговаривать мне: “Ну что это, девочка, хоть бы котлет нажарила и комнату убрала. Ну нельзя же так, в самом деле. Надо нормально жить и порядок навести какой-то. Нельзя же так”. Если бы она знала, что со мной творилось. Я тянула из себя строки, потому что боялась потерять то сказочное ощущение полноты жизни, которое возникало, когда писала. Оно исчезало буквально на следующий день. Стихи, написанные вчера, уже не утешали сегодня. Тем более что они переставали нравиться, и надо было снова прислушиваться к себе и тянуть из себя строки. Я боялась потратить секунду драгоценного времени на что-нибудь, кроме стихов, и одновременно страшилась этих часов, которые могли кончиться ничем, полным фиаско, что чаще всего и случалось. И тогда я шла на свои вечерние курсы разбитая и подавленная. Утренняя неудача принимала глобальные размеры. Мир терял свою таинственность, казался плоским и будничным. Сумерки наводили тоску. Я чувствовала себя бездарной и конченной.

Тогда же, в начале 1960-х, я стала ходить в литобъединение при многотиражке “Знамя строителя”. Привел меня Вадим Ковда. Собирались по четвергам на Сретенке, в Даевом переулке. Занятия вел поэт Эдуард Иодковский. Иногда он приглашал к нам гостей. Приходили Лев Шилов, Генрих Сапгир. Был у нас и Дудинцев, чей правдивый роман “Не хлебом единым” наделал тогда много шума. Роман ругали в прессе, им зачитывались, его рвали из рук. Наши студийцы засыпали Дудинцева вопросами. Кто-то пришлый задал ему вопрос с подковыркой. Дудинцев помолчал и грустно спросил: “Зачем вам моя кровь?” Он выглядел усталым, говорил тихо, медленно, внимательно слушал стихи. “Это пока еще гаммы, но сыгранные бегло, чистенько”, – сказал он о ком-то. “А это уже этюды”, – отозвался он о стихах молодого человека, сравнившего лес с роялем – или рояль с лесом, в котором белые и черные стволы похожи на белые и черные клавиши.

Читал стихи немолодой учитель сельской школы Александр Дождиков, о котором говорили, что несколько лет назад он потерял жену и ребенка, живет один, писать начал совсем недавно и приезжает в наше литобъединение бог знает откуда. Дождиков читал неторопливо, задумчиво, глядя куда-то вдаль и отбивая такт рукой:

Тяжело бытовать при Батые.
При Батые законы крутые.
А законники – конники, конники.

Дудинцев заволновался: “О, вот это матерый волк. Это силища”. Миловидная юная Зиновья Палванова прошелестела трогательные строки об осени: “Приметы осени щемящи, как захворавшие щенята”, о любви и разлуке: “Дай мне, дай мне такую визу, / Я в тумане тебя не вижу...” Завсегдатаем нашего литобъединения был строитель Мартынюк, который часто провожал меня домой и душил стихами. Голос у него был зычный, стихи энергичные, крепкие:

“Лезу, братцы, лезу. Лезу по железу...” – писал он о работе на подъемном кране. И еще: “Старый голубь о юности плачет...” Ни Мартынюка, ни его стихов я больше никогда нигде не встречала. На четвергах бывал Зугман, врач-рентгенолог, умерший лет пятнадцать назад.

Стихов его совсем не помню, но помню, как, прочитав мое стихотворение на какую-то запретную даже по тем оттепельным временам тему, сказал: “Честные стихи в корзину”. Однажды на литобъединении появился ироничный, остроумный и доброжелательный молодой человек. Он всегда впадал и совершенно беззлобно комментировал происходящее, а когда смеялся, снимал очки и вытирал слезы. “Можно мне показать вам мои стихи?” – спросила я, подойдя к нему впервые. “Да, конечно, – с готовностью отозвался он. – Приезжайте в воскресенье.” “А можно приехать с мужем?” Молодой человек засмеялся: “Приезжайте с кем хотите”. Так началась моя дружба с Феликсом Розинером, поэтом, прозаиком, музыковедом. Тогда, в 1964-м, он работал инженером в Акустическом институте и писал стихи. Его манера была совершенно иной, чем у меня. Менее традиционной, более необычной или, как принято говорить, новаторской. Феликс обладал замечательным свойством внимательно и заинтересованно слушать чужие стихи, думать над ними, говорить о них. Благодаря ему я перестала слишком уплотнять строку, в стихах появился воздух. Феликс читал все, что я писала. Лишь одобренные им строки получали право считаться стихами. Он являлся как бы моим ОТК. “Казнит или милует?” – гадала я, оправляясь к нему в Черемушки с очередной партией стихов. И, если “миловал”, летела домой на крыльях, а если “казнил”, то еле ползла. Так и жила, раскачиваясь на гигантских качелях “между жизнью лучшей самой и совсем невыносимой”. Мои самые первые читатели – строгий и неподкупный Боря и все одобряющая мама, которая гордилась тем, что я пишу стихи, но боялась, что отнесусь к этому слишком серьезно и испорчу себе жизнь, забросив дом, семью, работу. Едва я начала писать, она повела меня к Михаилу Матусовскому, с которым в середине 1930-х училась вместе в Литературном институте. Не помню, как он отнесся к стихам, но помню, что спросил, почему их так мало и есть ли еще. Мама, опередив меня, ответила, что я уничтожаю все, что считаю негодным, и у меня всегда остается двенадцать стихов. Она явно хотела, чтоб Матусовский отметил мою требовательность к себе и умилился числу 12. А я испытывала неловкость, что с такой малостью пришла к маститому поэту.

Долгие годы мама дружила с Виктором Ефимовичем Ардовым. Мы часто бывали у него на Ордынке, а он у нас на Полянке. Однажды те же (а может, другие) двенадцать стихов легли к нему на стол. Он их прочитал, сказал в своей шутливой манере: “Ничаво”, – и размашисто написал на клочке бумаги, который приколот к стихам: “Преображенскому, в “Юность”. Сережа, по-моему, мило. Почитай, а?” Через несколько дней я пришла в “Юность”. Тот, с кем я говорила (вряд ли это был Преображенский), полистал мои стихи и сказал: “Сейчас пишут все. Писать надо, знаете, как будто бьете под дых, чтоб прочел – и дыхание прервалось”. Я собрала свои листочки и побрела домой. Под дых не получалось. “Полосой неудач, полосой неудач / Вдоль ослепших окон заколоченных дач...” Разве это под дых? И кому все это надо? Мне-то надо. Я без этого не понимаю, что происходит со мной и вокруг. Но если это надо только мне и никому больше, то стихи ли это? И я продолжала бродить по Москве с записной книжкой и ручкой в кармане, читать стихи Боре и Феликсу, ходить на четверги к Иодковскому, на литобъединение “Магистраль” к Григорию Михайловичу Левину.

При ЦДЛ существовала комиссия по работе с молодыми, которая устраивала семинары, чтения, обсуждения, прослушивания молодых. Активнее других нами занимались Лидия Борисовна Либединская, Нина Бялосинская и, по-моему, Николай Панов. На одном из семинаров выступал раскованный и остроумный Аронов, худой и спортивный Юдахин, чья манера чтения немного напоминала евтушенковскую. Читала свои детские и взрослые стихи Галина Демькина. Запомнились ее строчки о поезде, который ехал “мимо дома, мимо дыма, мимо мило и любимо...” Как-то раз Борис Слуцкий представил участникам семинара Кима и Ковалю. Сперва они пели под гитару собственные песни, а потом Коваль показывал свои картины, которые, к сожалению, плохо помню. Кажется, они были очень красочными и отнюдь не традиционными, что привело в ярость даму, сидевшую рядом со мной. Некоторое время она тихо возмущалась, а когда ее терпение лопнуло, встала и произнесла обличительную речь с массой

нелестных эпитетов в адрес художника. Ее тираду прервал старый писатель Рахтанов, который, вынув изо рта свою вечную трубку, негромко сказал: “Его картины очень красивы. Мадам, вы дура”. Женщина задохнулась от негодования и вышла, хлопнув дверью.

Однажды “молодых”, среди которых было немало людей в возрасте, собрали в просторной 8-й комнате Дома литераторов. Послушать нас пришли прозаики, поэты, критики. Рядом со мной сидели Феликс Розинер и Юра Денисов. Не помню, кто и что читал. Меня мутило от страха. Я мечтала лишь о том, чтоб это вечер поскорей кончился. Наконец очередь дошла до меня. Я прочла несколько стихов, почти не слыша собственного голоса, и села на место. Юра Денисов одобрительно покивал, а Феликс шепнул: “Молодец!” Я была на вершине блаженства: все позади, да еще одобрено близкими. Но самое страшное оказалось впереди. Началось обсуждение. Говорили о тех, кто читал до меня, и о тех, кто после, о сидящих справа и сидящих слева. Обо мне – ни слова. Я застыла с натянутой улыбкой. Феликс то и дело на меня поглядывал. Дискуссия становилась все более оживленной. Начались споры, выкрики с места. Кто-то читал по второму заходу. Шла бурная жизнь, из которой я незаметно выпала. Вечер кончился поздно. Всю дорогу Феликс старался меня развлечь, непрерывно острил и смеялся. Зашел ко мне домой и в шутилой манере рассказал все Боре, который, конечно же, понял, что со мной творится. Я провела бессонную ночь. Прошло немало времени, прежде чем острота исчезла. Наверное, кто-то, прочтя такое, пожмет плечами и подумает: “Ах, ребе, мне бы ваши заботы”. Но дело в том, что неверие в свои силы, ощущение своей малости уживались в душе с тайной верой в необходимость и силу своих стихов. С одной стороны, я могла легко поверить, что стихи слабы и недостойны внимания. С другой – была готова к чуду-сочувствию, восторгу. Произошло самое плохое: меня не ругали и не хвалили. Просто не заметили. Феликс уверял, что это случайность, что он видел, как меня слушали. Но я-то знала, что хуже не бывает.

Однако жизнь продолжалась. И было утро. И был вечер. И были новые стихи. И была встреча с Арсением Тарковским, занятия в его студии и тот невероятный день, когда он прочел мои стихи и написал мне письмо, которое просил не выбрасывать (замечательная просьба!). Помню, как той же весной я встретила возле ЦДЛ Зину Палванову.

“Слышала, что Тарковский очень хвалил твои стихи. Счастливая”, – сказала она. Да, я была счастлива, но и напугана.

Ведь он хвалил мои прошлые стихи. А что я стою сегодня? Напишу ли я еще хоть единую строчку?

В 1968 году родился сын. Свободного времени становилось все меньше. Я буквально отвоевывала у жизни каждый час для стихов. А вернее сказать, для одиночества. И еще вернее – для одинокой прогулки. Я выходила из дома часов в шесть утра и шла по слабо освещенному фонарями Ростокинскому городку, где мы тогда жили. В кармане авоська, блокнот и карандаш. Молочная откроется в семь, а до семи свободна. Можно идти и идти, глядя на снующий вокруг фонаря снег, слушая голоса и шаги прохожих. И неизвестно откуда возникали стихи:

Ни горечь, ни восторг, ни гнев
И ни тепло прикосновений,
Лишь контуры домов, деревьев,
Дорог, событий и явлений...

Этот предрассветный час был самым насыщенным, значительным временем жизни. В этот час воздух чист, снега нетронуты, голоса тихи, мысли ясны.

В 1971 году поэт Сергей Дрофенко пригласил меня в “Юность”, где он был заведомом поэзии, и предложил участвовать в совещании молодых литераторов. Совещание проходило в Москве и длилось пять дней. За эти пять дней я потеряла пять килограммов. Во мне осталось сорок девять, и я слегка качалась от слабости. Мне всегда было очень страшно выно-

сидеть на суд стихи. По закону свинства мне выпало читать самой последней в последний пятый день. Всех участников семинара распинали на моих глазах: Леню Латынина, Люду Мигдалову, Сашу Тихомирова, Лешу Королева. Одних ругали больше, других меньше, некоторых хвалили. Но все равно были судьи – руководители семинара (поэты Василий Казин, Василий Субботин, Владимир Соколов), свидетели обвинения, свидетели защиты и подсудимый поэт, который отважно или робко читал стихи и обреченно выслушивал приговор. Четыре дня я сидела в зале, а на пятый предстала перед судом. Я прочла десять стихотворений и получила единодушное одобрение. Меня не ругали даже те, кто всегда и всех ругал. Один из участников семинара сказал: “Мы, наверное, так долго всех бранили, что устали. Оттого и хвалим”. Может, и так. Но это был триумф. После семинара ко мне подошел талантливый и добрый Саша Тихомиров и, обняв за плечи, ласково сказал: “Солнышко русской поэзии”. И пусть моя первая книга вышла лишь через шесть лет, а вторая – еще через десять, но у меня есть письмо Арсения Тарковского и удивительные дни 1971 года.

Тогда же я познакомилась с Николаем Васильевичем Панченко, замечательным поэтом, руководителем другого поэтического семинара на том же совещании. Владимир Соколов прочел ему мои стихи, и Николай Васильевич пригласил меня к себе. С тех пор я часто приходила к нему в Крапивинский переулок с новыми стихами. Сказать, что Панченко читал каждое стихотворение внимательно, значит ничего не сказать. Он размышлял над ним, мучился, думал, откладывал и снова к нему возвращался. “Не случилось”, – произносил он сокрушенно. И после паузы:

“Стихотворение не случилось. Все погибло в третьей строке. В первых двух еще живет, а дальше – инерция”. Н. В. удивительно улавливал авторскую интонацию и прочитывал именно так, как писал автор. Пока он размышлял над стихами, я разглядывала полутемную, заполненную книгами и тишиной комнату, слушала воркотню голубей за окном, выходящим во двор, и с тревогой следила за выражением его лица, пытаясь угадать, что он думает. Наши встречи всегда строились одинаково. Панченко читал мои стихи, мы подробно о них говорили. Иногда разговор уходил в сторону и снова возвращался к стихам. Но я никогда не спрашивала его, над чем работает он сам, не просила почитать стихи, считая себя ученицей, не смеющей беседовать с мэтром на равных. По этой же причине, когда Тарковский читал мне свои новые стихи, я не высказывала вслух своего к ним отношения. Однажды после моего визита позвонила Татьяна Алексеевна: “Ларисочка, вам что, не нравятся Арсюшины новые стихи?” Я растерялась:

“Как? Почему?” “Но вы ничего не сказали”. С той поры я поняла, что каждому – молодому и старому, безвестному и прославленному – недостает внимания, душевного отклика, а главное, уверенности в себе. “И нам сочувствие дается, как нам дается благодать”. Оглядываясь назад, вижу, что проходила некий путь, пытаюсь найти себя и свое. И еще вижу, что далеко не благополучный мир, в котором жила, казался почему-то обжитым и домашним. Война, эвакуация в Куйбышев, где я, по рассказам близких, чуть не погибла в яслях от диспепсии, послевоенная убогая московская коммуналка на Полянке, класс, состоящий из пятидесяти девочек, из коих лишь у одной был жив отец; невнятные, приглушенные разговоры, во время которых мелькали малопонятные слова: посадили, космополит, *ex nostras*, – вечно пропадающие на работе взрослые... И все же у меня был ДОМ: длинные зимние вечера, когда бабушка шила из лоскутов одежды для моей куклы, сладкое воскресное утро, когда мама читала мне вслух, праздники, к которым готовились заранее: пекли коржи для “наполеона”, следя, чтоб я не отщипнула слишком много, варили фаршированную рыбу. “Бинечка, сделай вкус”, – кричала из кухни бабушка. И тогда дедушка засучивал рукава рубашки и делал “вкус”, добавляя соль, пряности и нечто известное ему одному и создающее тот необыкновенный аромат, который распространялся по квартире. В понятие ДОМ входили кусты сирени, посаженные когда-то бабушкой во дворе, кучи угля возле котельной, голубятня в соседнем дворе, улицы и переулки, по которым можно было гулять и разговаривать, не повышая голоса, аромат свежего

хлеба, доносящийся из соседней булочной “под навесом”, таинственный запах сырого, грибного леса в вестибюле Третьяковки, куда мы, живя неподалеку, часто бегали, звонок трамвая – всех этих “Аннушек” и “букашек”, – тихие, задумчивые вздохи троллейбуса. Все это называлось МОСКВА. Она еще оставалась такой в 1950–1960-е годы. По ней хотелось идти пешком. И шли. Из института через парк “Сокольники”, на Кузнецкий в книжный магазин, на улицу Разина в библиотеку иностранной литературы (вернее, в Разинку), чтоб послушать обзор новинок английской и американской литературы, на Цветной бульвар в студию алексеевской гимнастики. Студия располагалась в школе, рядом с которой прятался во дворе маленький, уютный, типично московский особняк, где некогда жил актер Михаил Щепкин. Я невольно пыталась заглянуть в окна особняка, надеясь увидеть картинки прошлой жизни. Нет, время определенно текло медленнее в те годы. Его хватало и на чтение, и на друзей, и на одинокие прогулки. Не покидало ощущение спиралевидного движения, постепенного роста. Все было исполнено смысла и значения. Вот загадка, которую не могу разгадать: почему в такое отнюдь не вегетарианское время мир представлялся более пригодным для жизни, чем сегодня. Ведь и “оттепель” не пастораль: наши танки в Венгрии и Чехословакии, суды над интеллигенцией, идеологическая кампания, невежество, раболепство, слепота. И все равно постоянно звучал “надежды маленький оркестрик”. А позже все надломилось и рухнуло. Ощущение стабильности сменилось предчувствием близкой катастрофы. Когда я думаю о конце 1970-х и начале 1980-х, на ум приходят слова “безысходность”, “тупик”, “могильная плита”. И одновременно непрерывная гонка, усталость от неподъемного быта и, главное, от невозможности воплотить задуманное. В моем случае – от невозможности выйти к читателю. Когда-то, в начале нашего знакомства, Николай Васильевич Панченко сказал: “Вам не надо суетиться, Ларисочка. У ваших стихов есть ножки”. Увы, все оказалось сложнее и безнадежнее. Груда неизданного росла и росла, грозя обвалом в домашнем масштабе. Стихи как дети, которые со временем должны покидать родителей и жить на своих путях. Узкий круг друзей и близких не спасает положения. Стихи должны выходить в мир к НЕИЗВЕСТНОМУ читателю и жить своей, НЕВЕДОМОЙ поэту жизнью. Пыльные папки на шкафах, столах и полках – не жизнь, а кладбище стихов. Строки, строки, строки. С кем говорю? Зачем пишу? Выходит, мой путь лежал от одного “зачем” к другому. А в 1990-м и подавно не до стихов. Можно ли расслышать стихотворную строку в надсадной какофонии: рынок, демократия, дефицит, коммерция, милосердие, погромы, омовцы, храм. Город, в котором живу, превратился в пустыню. Все в дефиците – воздух, еда, одежда, тишина, покой, радость. Унылые стены домов оклеены объявлениями, призывающими записаться в группу ушу, на блицкурсы иностранных языков, посетить видеосалон и помочь найти собаку. “Пропала собака, – вопиют стены города, – рыжая, черная, палевая. Помогите найти. Звонить по телефону... Вознаграждение гарантируем”. Помогите, мы тоже пропали и, бездомные, бесхозные, мечемся по призрачному городу при тусклом свете редких фонарей. Никогда еще мир не казался мне столь агрессивно-назойливым, взвинченным, неустроенным, угрюмым. Никогда еще не навязывал себя с такой яростью, лишая права на тишину и суверенность. Никогда еще я не чувствовала такой подключенности к абсурдным, жестоким, горьким и кровавым событиям сегодняшнего дня. Никогда еще мое занятие не казалось мне таким бессмысленным и ненужным.

Разговоры о музыке с Тарковским, чтение стихов Николаю Васильевичу Панченко, многочасовая прогулка с Григорием Левиным, шумные литобъединения, неторопливое чтение книг, всегда необходимых, всегда появлявшихся на моем столе вовремя, – все кажется несбыточным и невозможным сегодня. Неужели эта больная жизнь является естественным продолжением прежней? Неужели ПУТЬ продолжается и куда-то ведет? Неужели и это провальное время “не на погибель нам дано, а во спасенье?”

* * *

Ничего из того, что зовется броней, —
Ни спасительных шор, ни надежного тыла...
Как и прежде, сегодня проснулась с зарей,
Оттого что мучительно сердце заныло,
То ль о будущем, то ли о прошлом скорбя...
А удачи и взлеты, что мной пережиты,
Ни на грош не прибавили веры в себя,
Но просеялись будто сквозь частое сито.
Так и жить, как в начале пути, налегке —
Неприкаянность эту с тобою поделим.
Тополиная ветка зажата в руке —
Вот и руки так горько запахли апрелем.

* * *

Устаревшее – “сквозь слез”,
Современное – “сквозь слезы” —
Лишь одна метаморфоза
Среди тьмы метаморфоз.

Все меняется, течет.
Что такое “штука”, “стольник”,
Разумеет каждый школьник
И детсадовец сечет.

Знают, что “тяжелый рок” —
Это вовсе не судьбина,
А звучащая лавина,
Звуков бешеных поток.

От скрежещущих колес,
Вздутых цен и дутых акций, —
Обалдев от всех новаций,
Улыбаемся сквозь слез.

“А если был июнь и день рождения...” **(Памяти Арсения Александровича Тарковского)**

В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И, боже мой, из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.

Эти стихи были так не похожи на все остальные, напечатанные на той же странице журнала “Москва” (не помню номера журнала и года, но помню, что это было в начале 1960-х). Всего одно маленькое стихотворение, над которым стояло имя неизвестного мне поэта: Арсений Тарковский. Стихи запомнились. Имя тоже. Когда я хотела записать только что сочиненные строки, я подкладывала под листок бумаги журнал с полюбившимся стихотворением. Для вдохновения. Я недавно начала писать стихи и по вечерам ходила в литобъединение при многотиражке “Знамя строителя”. Литобъединение собиралось на Сретенке в Даевом переулке. Там читали стихи, курили, спорили, кого-то возносили до небес, кого-то ругали, приглашали в гости мэтров. Но имя Тарковского никогда не звучало. Он был еще малоизвестен²⁸.

Однажды я услышала, что при Союзе писателей открывается студия молодых литераторов. Меня пригласили в эту студию, и я с радостью пошла. Организационное собрание происходило в Малом зале Дома литераторов. Зал был набит битком. За длинным столом сидели писатели – будущие руководители семинаров. Речи, речи. По окончании собрания всем студийцам предложили подойти к спискам, висящим на доске, и посмотреть, в чей семинар они попали. Я мечтала оказаться в семинаре Давида Самойлова, но, увы, не оказалась. Я так огорчилась, что побежала к одному из организаторов студии, поэту Нине Бялосинской, с которой была знакома прежде, умоляя записать меня к Самойлову. “Не могу, – говорила Нина, – у него полно народу. Но я записала тебя к прекрасному поэту Арсению Тарковскому. Иди познакомься с ним. Вон он, пожилой, с палкой”. Робея, я подошла к поэту. Тот встал, уронил палку, протянул мне руку ладонью вверх и, мягко улыбнувшись, сказал: “Здравствуйте, дитя мое”. И происходило это в 1966 году. Тарковскому было пятьдесят девять лет.

На первом семинаре Тарковский произнес речь, если то, что он сказал, можно назвать речью. “Я не знаю, зачем мы здесь собрались, – говорил он с улыбкой. – Научить писать стихи нельзя. Во всяком случае, я не знаю, как это делается. Но, наверное, хорошо, если молодые люди будут ходить сюда и тем самым спасутся от тлетворного влияния улицы”. Вот с такой “высокой” ноты мы начали свои занятия. На каждом семинаре кто-то читал стихи, а потом семинаристы высказывались по поводу прочитанного. Почему-то на литобъединениях было принято нападать и кусаться. Тарковского такой тон шокировал. Было видно, что ему становилось неуютно в обществе юных волчат. Тарковский не хвалил всех подряд. Вышучивал неуклюжие строки, не пропускал ни одной плохой рифмы, но никогда не делал это грубо. Если же

²⁸ В 1946 году после постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград” издание первой книги Арсения Тарковского было приостановлено, а потом матрицированный набор был уничтожен.

стихи ему совсем не нравились, он говорил: “Это так далеко от меня. Это совсем мне чужое”. Арсений Александрович никогда не держался мэтром, вел семинары весело и любил рассказывать, как однажды Мандельштам читал в его присутствии новые стихи:

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа...

“Почему не Антуан?” – спросил Т. “Молодой человек! У вас совсем нет слуха!” – в ужасе воскликнул Осип Эмильевич. Как я узнала много позже, Арсений Александрович рассказывал нам историю, случившуюся не с ним, а с Семеном Липкиным. “Я не обманываю, я фантазирую”, – говорит герой одной детской книжки; то же самое можно сказать и про Тарковского.

В присутствии Тарковского, такого артистичного, живого, ироничного и простого, смешно выглядели юные неулыбчивые поэты, которые мнили себя гениями, говорили загадками, читали туманные стихи. Однажды во время занятия, когда кто-то читал стихи, вошел один такой юный “гений”, шумно подвинул стул на середину комнаты, взял со стола пепельницу, поставил ее возле себя на пол и, усевшись, закурил. В перерыве мрачный юноша подошел к Тарковскому и с ходу стал читать ему что-то заумное и длинное. А. А., который, видимо, надеялся в перерыве отдохнуть от стихов, покорно выслушал чтение до конца. Но, когда тот собрался читать следующее, прервал его, спросив, кто он и откуда. Молодой человек сказал, что работает в подвале. “Что вы там делаете? Пытаете?” – осведомился Тарковский.

А. А. был терпим. Он не любил конфронтаций, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Но он был непримирим и определен, когда речь шла о принципиальных вещах. Мой друг Феликс Розинер был свидетелем такой сцены на семинаре молодых литераторов в Красной Пахре в 1970-е годы. На общем собрании один из участников семинара вышел на трибуну и гневно заявил, что накануне вечером имярек пел под гитару антисоветские песни. “За такие песни расстреливать надо!” – кричал обличитель. И тут из зала раздался громкий голос Тарковского: “Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова”.

Наступил день, когда на семинаре в ЦДЛ обсуждались мои стихи. Не помню, что мне говорили, но помню, что я была удручена. Мне казалось, что Тарковского мои стихи оставили равнодушным. Некоторое время спустя А. А. вдруг попросил меня дать ему стихи. Он сказал, что хочет повнимательнее прочесть их. Когда я пришла к нему домой через несколько дней, Тарковский был в страшном волнении. Он шел мне навстречу. Вернее, не шел, а прыгал на одной ноге (он был без протеза), тяжело опираясь на палку. “Здравствуйте, детка. Я как раз пишу вам письмо. Вы чудо и прелесть, – говорил он. – И стихи ваши чудо. Вы все прочтете в моем письме. Пойдемте в комнату”. Мы сели на диван.

Голова моя кружилась. Мне казалось, что это сон. Арсений Александрович придвинул к себе лист бумаги и стал дописывать письмо. “Читайте”. Он подал мне густо исписанный листок бумаги. Я читала и не верила своим глазам. Когда я закончила читать и посмотрела на Тарковского, он, улыбаясь своей особенной, растроганной и ироничной, улыбкой, быстро провел ладонью по моим волосам: “Все правда, детка. Вы чудо. Только пишите”. Даже сейчас, вспоминая тот день, я завидую самой себе. Потом до меня доходили слухи, что А. А. читал знакомым мои стихи, носил их в журнал “Юность” и читал вслух в отделе поэзии, что он ездил в издательство “Советский писатель” на прием к главному редактору Соловьеву и пытался ускорить издание моей книги, которая лежала там без движения. Сам Т. никогда мне об этом не говорил. Разве что вскользь, без подробностей. Я не боюсь, что меня обвинят в нескромности, по нескольким причинам. Во-первых, как говорила Ахматова, беседа с кем-то из друзей, “мы

не хвастаемся. Мы просто рассказываем друг другу все подряд”. Могу ли я, вспоминая о своих отношениях с Тарковским, пропустить одно из самых важных в моей жизни событий, связанное с ним? И кроме того, поэт не рожден поэтом раз и навсегда. Он может иссякнуть. Любое его стихотворение может стать последним. И тогда он гол как сокол. И никакие прошлые стихи и успехи не утешат. Во всяком случае меня. И потому я позволю себе привести полностью письмо Тарковского.

“Дорогая Лариса!

Я прочитал глазами Ваши стихи, прочитал весь Ваш 1967 год моему приятелю Владимиру Державину и (как и он) нахожусь в состоянии восхищения, все радуюсь, каким очень хорошим поэтом Вы стали в ЭТОМ году. Раньше все было в начале шкалы отсчета, теперь же Вы занимаете наивысший уровень над поэтами послевоенного времени. У Вас уже есть все для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем в чьенбудь, я верю в Ваше будущее. У Вас свой взгляд на каждую изображаемую реалию, все проникнуто мыслью, Вы прямо (в лучших стихотворениях) идете к цели; мысль крепко сложена, и нова, и нужна читателю. Особенно внимательно я прочитал стихотворения 1967 г., пометил – что, по-моему, нужно исправить (ударения, звуки). На книгу стихов еще не набирается, не стоит хорошее разбавлять ранними (послабей) стихотворениями. Что еще у Вас хорошо – это большое дыхание: синтаксического периода хватает на всю строфу, и Вы прекрасно ее строите; что до формы, то идеалом мне кажется совпадение ритма и синтаксиса, а это у Вас есть. ПОСЛЕДНИЕ СТИХ-НИИ очень выигрывают от того, что Вы стали строго рифмовать. Вы прелесть и чудо; теперь все – для поэзии, я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только, ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее – не только как поэтессы, но и как поэта – у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Еще год работы – и слава обеспечена, причем слава еще более, чем Вам, нужна Вашим будущим ЧИТАТЕЛЯМ. Преданный Вам А. Тарковский, 10. IV. 1967 г.

Р. С. Не выбрасывайте этого письма, спрячьте его на год. Посмотрим, что принесет он Вам (нам), проверим мое впечатление. А. Т.”

С этого дня началась наша многолетняя дружба.

Так хочется удержать в памяти его мимику, голос и выговор. Он произносил какие-то усеченные, редуцированные гласные. Говорил так, будто ему не хватает воздуха, слегка задыхаясь. И стихи читал будто на последнем дыхании, замирая к концу. И тем не менее великолепно доносил каждое слово, каждый звук.

А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду – стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду – стоит
В семи шагах, рукою манит...

Сама строка здесь прерывистая, как дыхание. И последнюю фразу он произносил, как бы сходя на нет: “А мать пришла, рукою поманила – и улетела...” Кто бы и как бы ни читал стихи Тарковского, я всегда буду слышать только его голос, помнить только его интонацию:

Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
только этого мало.

А. А. делает глотательное движение, будто сглатывает то, что стоит в горле и мешает читать...

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло, —

и еле слышно:

Только этого мало.

Он читал абсолютно без пафоса, иногда с волнением, иногда почти индифферентно, но я не думаю, что кто-то может прочесть его стихи лучше, чем он сам. В 1970-е и 1980-е годы Тарковский нередко выступал в научных институтах, библиотеках, творческих союзах. А. А. всегда читал стоя.

“Из уважения к Музе”, – говорил он. В 1976 году мы с мужем купили магнитофон и приехали к Тарковскому, чтоб записать его чтение. Это была моя давняя мечта. А. А. читал долго и щедро. К сожалению, качество кассет оказалось низким, и сейчас их почти невозможно слушать. Слава богу, теперь выпущены пластинки.

Тарковский любил читать стихи других поэтов. Однажды при мне к нему пришел прощаться перед отъездом в Израиль Анатолий Якобсон²⁹, и они с Т. долго наперебой читали Пушкина. А. А. часто читал Тютчева, Ин. Анненского, Мандельштама, Ходасевича, Ахматову. По-моему, Тарковский очень тосковал без нее. Как-то он грустно сказал мне: “Вот нет Анны Андреевны, и некому почитать стихи”. Когда Тарковский читал Ахматову, на глаза его наворачивались слезы. “Ее рукой водили ангелы”, – говорил он.

Тарковский любил вспоминать шутки Ахматовой. У Татьяны Алексеевны даже есть записная книжка, в которую она все годы их знакомства записывала ахматовские остроты.

Как-то, придя к Тарковским в Переделкино, мы увидели у А. А. на кровати маленький сборник Георгия Иванова, изданный за рубежом. “Послушайте, какой дивный поэт!” – воскликнул Т. и, открыв книжку, прочел:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны,
Наследник, императрица,

²⁹ Анатолий Якобсон – литератор, преподаватель русского языка и литературы, активный участник правозащитного движения. В 1973 году под угрозой ареста был вынужден уехать из СССР. Несколько лет спустя покончил с собой в Израиле.

Четыре великих княжны.

Потом мы долго листали сборник и читали стихи по очереди. Арсений Александрович с удовольствием читал гостям стихи и прозу Даниила Хармса из хранившегося у него самодельного сборника. Часто читал понравившиеся ему стихи молодых своих друзей: Саши Радковского, Марка Рихтермана, Миши Синельникова, позже Гены Русакова. Всех нас он опекал, пытался помочь, хотя это было непросто и не всегда ему удавалось. “Плохие времена, детка, пятидесятилетие”, – со вздохом говорил А. А. еще в начале нашего знакомства.

На моей книжной полке стоит фотография, сделанная в 1972 году в Библиотеке им. Чехова, где мы, молодые поэты Саша, Миша, Марк, Алик Зорин и я, выступали со стихами. Тарковский вел вечер. “И как это было давно!” Марк Рихтерман умер в 1980 году. Он успел увидеть в печати несколько своих стихотворений³⁰.

Случилось это только благодаря усилиям Евгения Евтушенко, Арсения Александровича и его жены Татьяны Алексеевны Озерской, которая стала другом всех молодых друзей Тарковского. У Саши Радковского до сих пор нет ни одной книги и даже ни одной настоящей публикации³¹. А те несколько стихотворений, что напечатаны, тоже, по-моему, появились в печати не без помощи Тарковского. Остальным участникам того вечера больше повезло: у нас есть книги. Хотя и урезанные, препарированные, но есть, что само по себе чудо, если учесть, что пятидесятилетие плавно перешло в шестидесяти-, а потом в шестидесятипятилетие. И все это время мы ждали, когда кончатся “праздники” и начнется жизнь. Невольно приходят на память строчки из самодельной книги никогда не печатавшегося поэта Владимира Голованова “Сентяб, октяб, нояб, декаб, кап, кап, кап...” Одно время Тарковский, которому случайно попал в руки машинописный сборник Голованова, с удовольствием угощал гостей его странными, абсурдными, смешными и горькими стихами: “А ледники ползут, как змеи, и тают, гадины, как масло...” – громко хохоча, читал А. А.

Сентяб, октяб, нояб... Шли годы. И все это выморочное время Тарковский оставался для нас заповедником, где мы находили то, что исчезало на глазах: корневую, нерушимую связь с русской и мировой Культурой, благоговейное отношение к Слову, Музыке, Жизни. Арсений Александрович не любил пафоса, и мы ему никогда не говорили высоких слов, хотя каждый из нас понимал, что такое Тарковский. Его присутствие на земле вселяло надежду. И он сам всегда призывал надеяться, не опускать рук, хотя вовсе не был оптимистом. Вот как он надписывал свои сборники: «...с надеждой добра и пожеланием счастья, в ожидании новых стихов и книги, с заветом писать во что бы то ни стало... 18.8.69», «...с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они – хлеб насущный. 7.2.1975”.

Я всегда показывала Тарковскому свои новые стихи. Сперва читала их сама, потом он брал листки у меня из рук и прочитывал про себя или вслух своим особым вибрирующим голосом. Последние две строки он обычно произносил медленнее и тише, как бы замирая к концу и возвращая стихотворение туда, откуда оно пришло: в тишину, безмолвие, небытие. Тарковский редко ругал стихи, которые я ему читала, но я всегда видела, когда он по-настоящему взволнован. Иногда очень ценные замечания делала его жена Татьяна Алексеевна, переводчик художественной литературы с английского языка. У нее прекрасное чувство слова, и мне всегда было важно ее мнение. Когда я дарила Тарковским свой очередной самодельный сборник, я всегда поражалась тому, с каким вниманием Т. А. прочитывала его и потом звонила мне, чтоб поговорить подробно о стихах. Случалось, что Тарковский просил меня почитать новое,

³⁰ Проведя четыре мучительных года на гемодиализе, Марк Рихтерман написал роман “И в мрачных пропастях” и много замечательных стихотворений. См. публикацию в сетевом журнале “Заметки по еврейской истории”. № 7. 2007.

³¹ В 1993 году, уже после того, как этот текст был написан, в издательстве “Авиатехинформ” вышел сборник стихов Александра Радковского “Шершавая десь”, а в 2003-м в киевском “FLAMINGERГод” – сборник “Одножильная скрипка”.

но я вздыхала: “Новых нет. Не пишется”. “Ничего, – отвечал он, – это перед стихами”. Сам он некоторое время не писал и очень страдал от этого. И вдруг, по-моему, в середине 1970-х, произошел новый взлет. Он написал сразу несколько прекрасных стихов. Т. удивительно помолодел. И даже его реакция на чужие стихи изменилась. Он стал требовательнее, придирчивее, острее реагировать на то, что ему читали. После стольких лет привычного “Все у вас хорошо, детка” я вдруг услышала замечания, критику, что было неожиданно и необычно.

Я никогда не видела А. А. озабоченным литературными делами. Он был далек от всех и всяческих группировок, от редакционной суеты и сплетен. Он был сам по себе. Я думаю, что книги его вышли во многом благодаря трудам Татьяны Алексеевны.

Я никогда не видела Тарковского сосредоточенно работающим за письменным столом, как подобает профессиональному литератору. Может быть, он работал так прежде, когда был моложе. И тем не менее в те годы, когда я его знала, им была написана целая книга стихов. А среди них такие шедевры, как “Пушкинские эпитафии”, “Зима в детстве”, “Вот и лето прошло”, “Памяти Ахматовой”, “И я ниоткуда”. Да разве все перечислишь. Он записывал стихи в свой толстый небольшого формата кожаный блокнот с ленточкой-закладкой. Этот блокнот он всегда брал с собой на выступления и читал оттуда новое.

Конечно, я занимаюсь зряшным делом, пытаюсь передать словами его облик, живую мимику, жесты. Лицо Тарковского казалось чрезвычайно подвижным. В глазах была нежность, а в углах губ уже таилась ирония. Временами, когда он себя плохо чувствовал, глаза его были полуприкрыты и на лице появлялось страдальческое выражение. Но, услышав что-нибудь смешное, он мог мгновенно просиять и расхохотаться. Иногда он вздрагивал и стонал, жалуясь, что у него болит нога. Ампутированная.

“Где моя палка-упалка, палка-пропалка?” – говорил А. А., собираясь встать. Он часто ронял и терял свою палку. Но и когда тяжело опирался на нее, не было ощущения, что он устойчив. И правда, он нередко терял равновесие, падал. Наверное, потому что был импульсивен, порывист. И потому, быть может, что осмотрительность, осторожность не были свойственны ему. Т. мог полезть по приставной лесенке за книгой, лежащей на верхней полке. Мог встать на что-нибудь шаткое, чтоб починить лампу. Он ломал то руку, то ногу, но не менялся.

Тарковский часто немного играл, и не всегда удавалось понять, серьезен он или шутит. “Ой, умираю”, – вскрикивал он, хватаясь за сердце, за локоть или плечо. “Что с вами, Арсений Александрович? Что у вас болит?” – “Все болит. Душа болит. Я устал”. – “Отчего устали?” – “От всего устал. Жить устал. Обмениваться, дышать”. Когда раздавался звонок в дверь или телефонный звонок, Т. страшно вздрагивал, и лицо его искажалось, как от внезапной боли.

“Таня-а-а, – громко звал он жену. – Звонят”. Причем это “звонят” звучало как “пожар”. По-моему, у А. А. была телефонофобия. По телефону его голос звучал почти панически, и он быстро заканчивал разговор.

Вижу его большие крепкие руки. Руки мастерового. Тарковский и правда многое умел делать руками. Он мне показывал журнальный столик, который сам обтесал и отполировал. Он умел переплести книги и делал это изящно и со вкусом. В 1977 году А. А. подарил мне рукопись только что написанной шуточной поэмы “Чудо со щеглом”. Он сам переплел ее и оформил. Это был его подарок нам с мужем на наш пятнадцатилетний юбилей. Тарковский читал свою поэму вслух, хохоча так, что с трудом дочитал до конца. Он был очень артистичен. Удивительно красиво держал сигарету и ловко пользовался зажигалкой. В последние годы Т. А. запрещала ему курить. Он, как ребенок, пытался перехитрить ее, куря тайно и прося свидетелей его преступления не говорить Тане. “Из чего только сделаны мальчишки?” Тарковский всегда оставался мальчишкой. Если не карманы, то ящики его стола были набиты всякой всячиной: изящными зажигалками, красивыми записными книжками, разнообразными ручками, маникюрными наборами разного калибра. Он радовался красивым и экзотическим мелочам. Любил получать их в подарок и любил дарить. Когда родился мой старший сын, Т. подарил нам

золоченый стаканчик с изящным рисунком и золотую ложечку с орнаментом. “На зубок”, – сказал он.

Но главным его богатством были книги и пластинки. Если книги были навалены всюду и везде – на полках, на столе, на кровати, на полу, – то пластинки были тщательно разобраны, расставлены по местам. На них была заведена картотека, и Т. легко находил нужную. Когда у него появлялись дубликаты, он отдавал мне старые пластинки. Они и сейчас хранятся у меня в конвертах, на которых рукой Тарковского написано, что и кем исполняется. Однажды Арсений Александрович спросил, есть ли у меня сонаты Бетховена. Я сказала, что есть. “А кто исполняет?” – спросил А. А. Я не помнила. “Вы сами не знаете, что у вас есть”, – сказал он скучным голосом. Я очень расстроилась и с той поры изучила все свои записи и пластинки. У Т. пластинки никогда не лежали мертвым грузом. Он жил с ними. У него был прекрасный проигрыватель, и слушать музыку у Тарковского было особым удовольствием. И не столько из-за качества звука, сколько из-за самого хозяина. Трудно даже объяснить почему. Когда у него появлялась новая полюбившаяся пластинка, он сообщал об этом, едва вы входили в дом. Он как бы угощал вас ею. “Вот послушайте. Дивная вещь”. Он прыгал к полке, доставал пластинку и, сняв с нее рубашку, аккуратно ставил на проигрыватель. Затем плюхался на диван и, откинувшись на подушку, слушал. Иногда при этом курил, а иногда полировал специальной пилочкой ногти. Ничего особенного не происходило, но для меня он был, пожалуй, единственным человеком, в чьем присутствии мне было легко слушать музыку. Когда мы слушали Моцарта, он иногда брал с полки каталог Кехля и проверял, в какое время написана та или иная вещь. Он вообще очень любил словари и справочники. Когда я читала ему свои новые стихи, он, если в чем-то сомневался, посылал меня за словарем: “Ларисочка, вон словарь на нижней полке. Подите, детка, принесите, вы молодая, у вас ноги есть”.

Помню, как эти книги и пластинки превратились в бешеную взбунтовавшуюся стихию, когда Тарковские собирались переезжать с Аэропортовской на Садово-Триумфальную. Помню, как измученные хозяева пытались укротить ее с помощью коробок и бечевок. Помню, как на борьбу со стихией бросились Саша Радковский, мой муж и кто-то третий. В новой квартире оказалось шумно и пыльно и приходилось держать окна закрытыми даже летом. Все больше времени Тарковские проводили в домах творчества или на даче в Голицыне. А. А. не очень любил покидать свою московскую квартиру. Особенно жалко ему было расставаться с пластинками. Одно время он даже собирался завести лишний проигрыватель, чтобы возить с собой. Но так и не завел.

В начале 1970-х мы с мужем провели у Тарковских в Голицыне несколько летних дней. Дача казалась большой, тенистой. В комнатах, заставленных книжными полками, ностальгически пахло старыми книгами. Помню, что в одной комнате стоял тяжелый письменный стол, в столовой – камин, который иногда топили. Но главной достопримечательностью Голицына был старый телескоп. Когда-то А. А. очень увлекался астрономией, и в его огромной голицынской библиотеке было множество книг по астрономии. Он вообще интересовался науками: естествознанием, физикой. Любил беседовать с людьми, занимающимися наукой. Часто говорил с моим мужем, физиком, на разные космические темы. На дачном участке росли кусты сирени, шиповника, малины. Живя там, мы каждый день собирали к чаю мелкую сладкую малину. Дом казался загадочным, старым, скрипучим, хранителем многих тайн, свидетелем давних событий. Однажды я встала раньше всех и пошла на террасу пить кофе. Туда выходило окно комнаты, в которой спал Арсений Александрович. Он неровно дышал во сне, его рот был полуоткрыт, щеки ввалились. И я вдруг осознала, что Тарковский – старый человек и что он смертен. Когда он бодрствовал, лицо его становилось таким подвижным, он умел так смеяться и шутить, что подобные мысли не приходили в голову. Но сам-то он, как всякий поэт, думал о смерти и писал о ней.

А! Этот сон! Малютка жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши.
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

Невозможно в таком рассказе придерживаться хронологического порядка. Вспоминается то одно то другое. И хочется все удержать, все донести. Осень 1977 года. Мы с мужем едем к Тарковским в Голицыно. Я везу ему свою первую книгу, которая наконец-то после долгого ожидания вышла. Тарковский в постели. Он недавно упал, сильно ушибся и еще малоподвижен. Арсений Александрович берет книгу в руки, перелистывает страницы, кое-что читает вслух, изучает обложку и иллюстрации. Он рад моей книге, очень ждал ее появления и немало для этого сделал. Вижу, как он держит книгу своими большими сильными руками, как проводит по странице ладонью. Увы, когда десять лет спустя в 1986 году вышла моя вторая книга, Тарковский был уже почти отключен от внешнего мира. После операции под общим наркозом, которую он перенес в 1984 году, Арсений Александрович стал совсем плохо слышать и даже то, что слышал, не всегда понимал. Он почти не говорил. Единственной живой реакцией была паника, когда он не видел рядом Т. А. Он испуганно искал ее глазами и как ребенок, потерявший мать, восклицал: «Таня! Танечка! Где Таня?» На это было больно смотреть. В это не хотелось верить. Иногда вдруг случались просветы. Тарковский оживлялся, радуясь приходу знакомых, друзей. Шутил. Но это длилось недолго. И снова на лице возникало столь несвойственное ему растерянное, беспомощное выражение. Тарковский уходил. Помню один из последних разговоров, когда он был еще самым собой. Весна 1983 года. У меня только что умерла мама. Кто-то из друзей дал мне книгу Моуди «Жизнь после жизни». Эта книга была мне нужна как воздух. Благодаря ей мне казалось, что я сохраняю связь с мамой. Я сидела в переделкинской келье у Тарковских и рассказывала им содержание книги. Я видела, какое впечатление производят на Тарковского мои слова. Он слушал серьезно и напряженно, стараясь не пропустить ни слова. Как ему хотелось верить в те чудесные явления, о которых писал Моуди. Как хотелось ему верить в жизнь после жизни.

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть.
.....
А сколько мне в чаше
Обид и труда...
И после сладчайшей
Из чаш – никуда?

А тогда, в 1977-м, он читал и перелистывал мою книгу. Тогда же зашел разговор об Андрее. Арсений Александрович с грустью сказал, что Андрей давно не звонил, не появлялся и даже не знает, что отец болен и лежит в Голицыне. И – о чудо – возвращаясь в тот день из Голицына, мы оказались в вагоне метро рядом с Андреем. Я бросила случайный взгляд на рукопись, которую он читал, и увидела, что это сценарий о Моцарте. Велико было искушение сказать ему, что мы едем от отца, который болен и скучает, но мы не решились, так как не были знакомы. Я много раз встречала дочь Тарковского Марину, которая часто навещала отца. Мы подружились и иногда перезванивались. Андрея же я видела только дважды в жизни: в первый раз в Политехническом музее на вечере Арсения Александровича, второй – тогда в метро. Саша Радковский видел его чаще и говорил мне, что порой казалось, будто Арсений

младше Андрея. Рядом с А. А., который часто шутил и дурачился, Андрей казался молчаливым и серьезным. Саша видел, как они играли в шахматы. Когда А. А. проигрывал, он так расстраивался, что даже чувство юмора ему изменяло. Он требовал новых партий и играл до тех пор, пока не выигрывал. Если же не удавалось взять реванш, Тарковский долго оставался не в духе. Я не видела, как играл в шахматы А. А. с Андреем, но знаю, что он не мог равнодушно смотреть на чужую партию. Однажды в шахматы сражались мои сыновья. Я что-то рассказывала Арсению Александровичу, но увидела, что он меня не слушает и весь поглощен игрой моих детей. Младшему было тогда лет девять или десять. Он только учился играть. Ему требовалось время, чтоб обдумать ход. Но не тут-то было. А. А., передвинув на доске фигуру, требовал: “Ходи так”. Но мой сын хотел ходить сам. Он поставил фигуру на место и сделал другой ход. Нелепейший, с точки зрения Арсения Александровича. “Что ты делаешь? – кричал А. А. и хватался за голову. – Кто так ходит?” Он пытался повторить свой прежний ход, но мой сын вцепился в фигуру и не отпускал. Он был почти в слезах, Тарковский – в гневе, а я – в ужасе. Положение спасла Татьяна Алексеевна.

Она пришла (это было, кажется, в фойе переделкинского Дома творчества) и увела всех в парк.

Я почти не встречалась с Андреем, но Арсений Александрович нередко говорил о нем. Особенно во время съемок фильма “Зеркало”. Да и позже. Однажды А. А. сказал мне: “Сегодня был Андрей и рассказал сон: мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева, то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова...” Сон был длинный. Я не придала этому рассказу значения и мало что запомнила. А позже поняла, что этот сон был началом “Зеркала”, моего любимого фильма. А. А. видел фильм много раз, хотя это давалось ему непросто, и он всегда имел при себе валидол. Как больно смотреть “Зеркало” теперь, когда нет ни Андрея, ни Арсения Александровича, ни Марии Ивановны – матери Андрея. Какое счастье, что остаются стихи и фильмы. Какое счастье, что остался голос Арсения Александровича. Его неповторимый, глуховатый, вибрирующий голос:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокружение,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Думая о “Зеркале”, особенно о последних кадрах фильма, тех, где бескрайнее поле, через которое идут то мать с детьми, то бабушка с внуками, я невольно вспоминаю маленький любительский снимок, который я видела у Арсения Александровича: по тропинке, взявшись за руки, идут отец с сыном. Снимок довоенный. Отец еще без палки, молодой, в белой рубашке с закатанными рукавами, а сын маленький, стриженный. Они сфотографированы со спины, идущими через поле солнечным летним днем.

А. А. часто повторял: “Зачем они мучают Андрюшку? За что они его так мучают?” Когда Андрей уехал, Тарковский долго не имел от него прямых вестей. Получив наконец длинное письмо, он читал его, перечитывал, давал читать друзьям. В том письме Андрей писал о причинах своего отъезда, о своих многолетних мытарствах и горестях. Теперь это письмо опубликовано и многократно процитировано. Когда Андрей умер, Арсений Александрович уже мало осознавал происходящее. И тем не менее Т. А., боясь за него, старалась подготовить Тарковского к страшному известию. Узнав о смерти сына, А. А. плакал. И все же удар, наверное,

был смягчен тем состоянием, в котором он находился. Я была у Тарковских в Переделкине, когда туда приехала Марина, только что вернувшаяся из Парижа, с похорон. Она была утомлена и подавлена. Ей трудно было говорить. А. А. спал, одетый, на диване. Марина, несмотря на усталость, хотела дожидаться его пробуждения, чтобы поздороваться и поговорить. Наконец Тарковский открыл глаза. Марина наклонилась к нему: “Папа. Папа”. Т., увидев ее, спросил: “Что? Похоронили?” “Похоронили”, – ответила Марина. Больше А. А. ни о чем не спрашивал.

Случилось так, что Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна пережили своих сыновей. Андрей похоронен в Париже, а Алеша, сын Т. А., поблизости, в Вострякове, куда Тарковские часто ездили. Несколько лет назад поздней осенью мы сопровождали их на кладбище. А. А. с трудом шел по размокшим от дождя дорожкам. Сперва мы навестили могилу Алеши, а потом могилу Марии Ивановны, похороненной там же.

Жизнь меня к похоронам
Приучала понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очередность по годам.
Но ровесница моя,
Спутница моя бывшая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.

Пишу одно, а вспоминаю другое: и драматичное, и забавное, и смешное. Вспоминаю, как летом 1972 года Тарковские приехали навестить нас в Заветы Ильича, где мы снимали дачу. Мы пошли вместе на речку, и мой старший сын, которому тогда было четыре года, завел с дядей Арсюшей разговор о том, что каждый человек похож на какое-нибудь животное. “Ну а я на кого похож?” – спросил А. А. “Ты?” Мой сын задумался, внимательно разглядывая Тарковского. “На обезьяну”, – уверенно заявил он. А. А. расхохотался. По-видимому он был польщен, так как любил обезьян, считал их милашками и даже держал старую плюшевую обезьяну на своем диване. Когда мы собирались уходить с речки, мой ребенок отличился снова. Он долго следил за тем, как Тарковский пристегивает протез, а затем громко спросил: “А дядя что, разборный?” А. А. всегда запоминал чужие шутки и любил их повторять. Он не терпел котурнов и даже о драматичном и тяжелом в своей жизни умел говорить как о чем-то будничном и смешном. Однажды Тарковский рассказывал, как он со своими солдатами брал высоту. Мой муж спросил его: “А как вы поднимали солдат в атаку? Кричали? Приказывали?” “Нет, – ответил Т., – я им сказал: “Ребята, надо взять эту высоту. Если не возьмем, меня расстреляют”. Даже о том, как он потерял ногу, А. А. рассказывал как о забавном эпизоде. Он уже погибал, нога загнивала, а раненых все несли и несли. Госпиталь был переполнен. Врачи не справлялись, санитары спали на ходу. Тарковского спас лежащий рядом офицер, который выхватил пистолет и, направив на вошедшего хирурга, приказал нести раненого на операцию.

Интонация, междометия, улыбка Тарковского – этого не передашь. И все же, вспоминая один эпизод за другим, не хочу отпускать их в небытие. Даже мелочи. Вот идет разговор о фильме, который Тарковский видел накануне. “Что вы вчера смотрели?” – спрашиваю я А. А. “Таня, что мы вчера видели?” Т. А. называет фильм. “Хороший?” “Чудовищный”, – отвечает А. А. “Как! Арсюша, – возмущается Т. А., – ты вчера говорил, что хороший”. “Я же не воробей, чтоб каждый день чирикать одно и то же”, – невозмутимо отвечает Тарковский. Однако были фильмы, о которых Т. всегда “чирикал одно и то же”: фильмы Чаплина. Как он любил Чаплина! Как оживлялся, когда говорил о нем! Я всегда вспоминала его строки из стихотворения, посвященного Мандельштаму:

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Все, что происходило в жаркий майский день 1989 года в Большом зале Дома литераторов, казалось, не имеет никакого отношения к Тарковскому. На сцене гроб с телом покойного. Справа от гроба стулья, на которых сидят родные: жена, дочь, внуки. В полутемном зале те, кто пришел проститься с Тарковским. Обычная церемония: почетный караул, речи, цветы, музыка. Но Тарковского здесь нет. Мертвое лицо с ввалившимися щеками – разве это он? И вот я еду с панихиды, вспоминаю его стихи, говорю с ним, смеюсь его шуткам: “Ларисочка, приезжайте, детка. Я купил ваше любимое желе – тварь дрожащую”. Я вижу, как он характерным движением откидывает прядь со лба, слышу его голос:

И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить...

Наступило лето. Месяц назад, 25 июня, был день его рождения. Первое лето без Тарковского. Первый день рождения без поэта. Но без поэта ли? Ведь я слышу его голос:

А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женщин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливый,
И завиток волос неповторимый,
И этот поцелуй неотвратимый...

Июль 1989

“Поговорим о странностях любви” (Заметки о любимых книгах и стихах)

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над книгой дорогой,
Которой мучимся как музыкой и словом.

Трудно поверить, что я росла, не зная ни этих, ни других строк Мандельштама. И не знала я ни единой цветаевской строки. Даже таких хрестоматийных, как

Тоска по Родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой Быть...

Из ахматовских стихов я знала только тот, который часто слышала в детстве, потому что его любила читать мама, когда собирались гости:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Мама читала стихотворение, держа в руках малоформатный сборник, который ей подарила сама Ахматова вскоре после войны. Читала с выражением, с красноречивыми паузами. А прочитав, эффектным движением захлопывала книжку и бросала на диван. Вот и вся Ахматова, которую я знала. После того как мне однажды сказали, что в моих стихах есть ахматовские интонации, я даже боялась прикоснуться к ее поэзии. И лишь много позже, когда можно было не опасаться подражательности, открыла для себя Ахматову целиком.

Удивительно, начиная писать, я совершенно не была “обременена” знанием великой поэзии. Но, может быть, такое невежество необходимо, чтоб на что-то решиться. Конечно, я росла на сказках Пушкина. Даже разговаривала цитатами из этих сказок: “Дурачина ты, простофиля”, – говорила я своим обидчикам. Школьницей знала наизусть многие страницы из “Горя от ума”. И, влюбившись в грибоедовские строки, влюбилась в самого автора и часто бегала смотреть на его портрет, висящий в витрине книжного магазина на соседней улице Малой Якиманке. Пять раз видела пьесу “Грибоедов” и даже от избытка чувств звонила актеру Левинсону, игравшему Грибоедова. Позже я долгое время жила Лермонтовым. Не стихами его, а “Героем нашего времени”, которого читала, перечитывала и учила наизусть. Но в своих детских стихах

я подражала не Пушкину, не Лермонтову, а Агнии Барто. И даже ее стихи считала своими и декламировала, как свои:

Весна, весна на улице,
Весенние деньки!
Все утро заливаются
Трамвайные звонки...

В 1961 году, будучи студенткой, я впервые прочла Цветаеву в альманахе “Тарусские страницы”. Этот сборник, едва появившись в продаже, исчез и стал раритетом. Мои сокурсники купили несколько экземпляров не то в Калуге, не то в Туле, и я оказалась одним из немногих счастливых обладателей сборника.

Тогда же я прочла напечатанные на машинке стихи Пастернака из “Доктора Живаго” и, следуя девчачьей школьной привычке к переписыванию, прилежно переписала несколько стихотворений, ничего в них не поняв и не запомнив.

Много лет спустя я, случайно познакомившись с папиным фронтовым другом, узнала, что единственной книгой, которую папа, уйдя добровольцем на фронт, взял с собой, был томик Пастернака. Вскоре там же, на фронте, он подарил ее своему приятелю на день рождения. Тот не хотел брать, зная невероятную любовь отца к Пастернаку. “Бери, бери, – говорил отец. – Я все помню наизусть. Тебе нужнее”.

Отцу было тогда немногим больше, чем мне в 1961-м. Он жил тем, чего для меня в моей юности не существовало. В годы его юности (конец 1920-х и 1930-е) еще слышны были отголоски Серебряного века. Еще можно было купить у букиниста или где-то достать редкие сборники, что и делал отец. Но он погиб на фронте в 1942-м, а собранные и читанные им книги оказались задвинутыми вглубь нашего книжного шкафа томами поновее. Мама, хоть и любила стихи, редко доставала с полки отцовские книги. Она жила другими именами. Читала Щипачева, Симонова, Веру Инбер, Иосифа Уткина. Особенно его “Рыжего Мотеле”.

Что же до меня, то однажды в детстве, повертев и понюхав эти рассыпающиеся сборники (мне нравился запах старых книг), я забыла о них и с головой окунулась в современность. Читала и перечитывала Веронику Тушнову, повторяя про себя:

Не отрекаются, любя,
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно...

С воодушевлением переписывала стихи Евтушенко:

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суете
Разнообразные не те.

Любила стихи Юнны Мориц:

Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта,
Остановись, окрикни этот сброд.
Зачем ты так чудовищно одета,
Остра, отпета,

Под линейку рот?..”

Мне нравились строгие и несколько назидательные строки Слуцкого:

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки умные читать....

И особенно такие:

А мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.

Я читала все стихотворные колонки в периодике, покупала уйму сборников, что-то вечно переписывала. Но отцовское наследие осталось невостребованным.

И все же мне повезло: я встретила людей, которые вернули меня к моим же истокам.

Татьяна Александровна Мартынова – геофизик, дочь старого большевика, редактора “Искры”. Несмотря на то что ей было под пятьдесят, ее почему-то все называли Таней. Оттого, наверное, что она была общительна, подвижна и удивительно легка на подъем. Я познакомилась с ней в Москве, но подружилась в Коктебеле, куда впервые попала летом 1961 года. Однажды на тропинке, ведущей к морю, я неожиданно увидела Таню. С этой минуты моя коктебельская жизнь переменилась. “Завтра мы пойдем в горы, – заявила она, не спрашивая моего согласия. – Я постучу тебе в окно в шесть утра”. И она постучала. Через пять минут мы уже были на рынке и завтракали только что купленным молоком и творогом, а еще через несколько минут поднимались по тропинке в горы.

Боже, что мне открылось! Дивный вид на море и поселок. Холмы, поросшие неведомыми мне травами. Таня, указывая на вершины, называла их странно звучащими татарскими именами. “Видишь те скалы над морем? Они похожи на волошинский профиль”, – сказала она. Еще до приезда Тани я много раз слышала имя Волошина, проходила в двух шагах от его дома, видела открытую веранду, откуда доносились голоса и смех. Но жизнь моя текла мимо: пляж, дом, пляж, столовая. И вдруг: “После обеда пойдем к Марии Степановне – вдове Волошина”. Волошин – имя из моего детства. Когда-то давным-давно я держала в руках его сборник в линияло-матерчатом переплете и читала золоченую надпись: “Максимилиан Волошин. Иверни. 1918 год”.

Запомнив имя, я не знала ни строки, ни судьбы поэта.

И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Она, не приглашая нас в комнату, усаживает тут же на веранде, садится рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать Таню о Москве. Я разглядываю древесные корни, висящие на стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла один корень и протянула его мне. “Габриак”, – услышала я странное слово. Так коктебельцы называли эти фигурки. Я гладила корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной Волошиным загадочной поэтессы Черубины де Габриак. Мимо дома тек пестрый, летний людской поток, слышалась музыка, доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и терзают. Все иное: море, берег, звуки, запахи.

Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель 1961-го как девственную и безнадёжно утраченную планету с еще не исчезнувшими окончательно разноцветными камуш-

ками на берегу, с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мертвой бухте.

Какую жизнь вели мы с Таней тем летом! Бегали в горы, купались голышом в далеких безлюдных бухтах, плавали на лодке к Золотым Воротам. А главное, приходили в Дом поэта слушать рассказы Марии Степановны о Максиньке и беседовать с древними старушками, которые говорили о давно ушедшем как о вчерашнем дне. Но, увы, слушая во все уши и глядя во все глаза, я мало что понимала, так как понятия не имела о том времени, о котором шла речь. И все-таки, обладая еще почти детской памятью и вниманием к деталям, я многое запомнила на всю жизнь: волошинские неяркие акварели, конторку, стоящую возле двери, тусклое зеркало над конторкой, огромную перламутровую раковину из Индийского океана, привезенную Волошиным из дальних странствий, бесконечные книжные полки, вид из окна на море, профиль поэта. А главное, висящую на стене мастерской маску египетской царицы Таиах – ее загадочную полуулыбку. В один из своих приездов в Коктебель на диванчике под маской ночевала Таня, о чем часто с гордостью рассказывала. Где она только не ночевала в своем легком и теплом пуховом мешке, который всюду возила с собой: и в лесу, и в горах, и у моря, и в Доме поэта возле бессмертной Таиах.

Однажды мне было разрешено принять участие в уборке дома. Вытирая пыль с книг, я то и дело слышала восхищенные восклицания и бормотания Тани, натолкнувшейся на очередную редкую книгу. Она тут же опускалась на табурет и принималась читать. Мне тоже хотелось восхищаться и трепетать, но я не знала чем и от чего. Тем не менее я тоже садилась на деревянные ступеньки, ведущие на галерею и в верхнюю комнату дома, и листала пожелтевшие страницы. Уборка продвигалась медленно, и за эти долгие часы в меня, кажется, на всю жизнь ввелся запах старых книг.

На следующий день в награду за труды Мария Степановна вынесла целую кипу волошинских статей и стихов и разрешила читать. И вот жарким летним днем я сидела в прохладной полукруглой комнате за столом и переписывала все подряд под насмешливым взглядом египетской царицы. Она-то знала, что я слепой щенок, который тычется во все эти мудрые строки, ничего в них не смысля.

Еще целых двенадцать лет оставалось до того дня, когда старый ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов – завсегдатай Коктебеля, лермонтовед и знаток Волошина – пригласит меня почитать стихи в Доме поэта, и строгая и резкая Мария Степановна, дослушав чтение до конца, скажет: “Спасибо. Мне стало интересней жить”.

Виктор Андроникович – любимец студентов и аспирантов, всегда окруженный людьми, всем необходимый, вечно занятый, с постоянной горкой писем на столе. Он неизменно излучал приветливость и радушие и по старой университетской привычке, всех, даже юных, уважительно называл по имени-отчеству. Я впервые увидела Мануйлова, когда он водил по дому гостей и что-то им тихо рассказывал, боязливо поглядывая на дверь. Позже я узнала, что он, поддавшись на уговоры, пустил в дом посетителей, нарушив запрет уставшей от летних гостей Марии Степановны. И, зная ее крутой нрав, просил их ходить на цыпочках и говорить шепотом. Когда же она все-таки появилась в дверях, он начал оправдываться, смущенно и виновато улыбаясь.

У него была замечательная внешность: младенческирозовое лицо, смеющиеся глаза, оттопыренные уши и вечная тюбетейка на лысом черепе.

Когда я попала в его поле зрения, он воскликнул:

“Да вы же фаюмочка, вас непременно надо писать”. И повел меня к московскому художнику Валерию Всеволодовичу Каптереву, тоже завсегдатаю и патриоту Коктебеля. Каптерев жил возле рынка в маленьком белом типично коктебельском доме. Стены его комнаты были завешены простынями. “Я закрыл ими пестрые хозяйские коврики, чтоб не отвлекали”, – объяснил он. Валерий Всеволодович усадил меня посередине комнаты на табурет и, вцепившись

в мое лицо хищным, прищуренным глазом, принялся писать. Я же тем временем разглядывала его картины. Картон небольшого формата населяли мидии, странные рыбки, петухи необычайной расцветки, цветы – все знакомое и незнакомое, здешнее и нездешнее. Каптерев писал быстро. Он сказал, что это его первый портрет после двенадцатилетнего перерыва. Взглянув на портрет, я обомлела: передо мной была восточная красавица с нежной смуглой кожей лица, миндалевидными глазами и ломаной линией бровей. Она смотрела в пространство капризно и отчужденно, как бы говоря: “Надеюсь, ты понимаешь, что не имеешь ко мне ни малейшего отношения?” “Но ведь на тебе мой розовый халат в белый горошек и у тебя коса как у меня?” – с робкой надеждой задала я свой немой вопрос. Но та, на портрете, отказывалась продолжать беседу. Она уже жила своей, недоступной мне жизнью. Позже в Москве Валерий Всеволодович рассказывал, что многие молодые люди, увидев портрет, просят у него телефон юной красавицы. Я заклинала его не давать никому моего телефона, с тоской предвидя реакцию бедных поклонников.

Виктор Андроникович, обрадованный удачей с портретом, собрался идти со мной к скульптору Григорьеву, чтоб тот меня лепил. Но я категорически воспротивилась. Мне хватило и портрета.

Таня Мартынова, Виктор Андроникович Мануйлов, а позже Арсений Александрович Тарковский – незабвенные мои проводники в затонувший град Китеж – не знаю, как назвать разрушенный, почти уничтоженный мир, который я потом всю жизнь пыталась восстанавливать по крохам, дорожа каждой строкой, каждым штрихом, каждым упоминанием.

Таня Мартынова открыла мне истинный Коктебель – Коктебель художников, поэтов, странников.

Она познакомила меня с картинами Фалька, приведя в дом на берегу Москвы-реки, где жила его вдова. И хотя я мало разбиралась в живописи, но понимала, что дышу особым воздухом и соприкасаюсь с тем миром, который изгнан из обыденной, повседневной жизни.

Она возила меня в Мичуринец к Валентину Фердинандовичу Асмусу, своему доброму другу. И я на всю жизнь запомнила, как пожилой ученый-философ, слушая свою любимую пластинку, ходит взад-вперед по кабинету, улыбается и потирает от волнения руки. Таня показала мне комнату, в которой останавливались Гаррики (так друзья называли Генриха Густавовича Нейгауза и его жену), когда приезжали к Асмусам на дачу.

Благодаря Тане я имела случай наблюдать, как Нейгауз слушает на отчетном концерте своих учеников, то нетерпеливо отбивая костяшками пальцев такт, то напевая себе под нос, то выкрикивая с места что-то грозное и уничтожающее.

Спасибо судьбе, что я застала этих людей. Они – почти последние звенья оборванной цепи. Лишь гораздо позже я смогла в полной мере оценить, с чем соприкоснулась, и пожалеть, что так мало смыслила.

Дружба с Мануйловым длилась много лет, до самой его смерти в 1987 году. Для меня Мануйлов – это не только Коктебель, но и Ленинград и Комарово.

Году в 1973-м мы всей семьей жили несколько дней у него в огромной ленинградской коммуналке, в которой ему принадлежала поделенная пополам комната непонятной формы (часть бывшей залы, наверное) с камином и лепными потолками. Странно выглядела на мраморном камине жестяная мыльница, с которой Виктор Андроникович ходил в ванную комнату умываться. Эта ванная комната была замечательна тем, что по стенам ее сверху донизу стояли полки со старыми газетами и журналами. Надо было быть Виктором Андрониковичем, чтоб многочисленные соседи не возражали против этого.

Живя у Мануйлова, я впервые прочла Ремизова, Ю. Анненкова. Я бы прочла и многое другое (книги лежали на рояле, на полу, на столах и полках), но мне было отпущено только пять дней.

Трудно себе представить, что больше не существует мануйловской комнаты на 4-й Советской. Печальная вещь – демонтаж такого мира.

Низкий поклон Виктору Андрониковичу. Как удивительно он умел слушать стихи! Он откидывался на спинку дивана и буквально внимал с видом мечтательным и счастливым. Виктор Андроникович любил разделенную радость и потому всегда приглашал “на стихи” гостей. “Отлично, отлично, – взволнованно говорил Мануйлов. – Баховская патетика”. После таких слов хотелось творить чудеса. Жизнь казалась осмысленной, наполненной, беспредельной.

“Я счастливый человек, – говорил Виктор Андроникович. – Мне нечего терять: ни жены [он разошелся с ней незадолго до нашего знакомства], ни машины, ни дачи”.

Однажды, уже совсем старым человеком, он застенчиво признался, что всю жизнь пишет стихи. И рассказал, что в давние годы его руку посмотрел один хиромант (Виктор Андроникович очень верил в эту науку и хорошо знал ее) и посоветовал не печатать и не показывать стихов в течение пятидесяти лет. Мануйлов последовал этому совету и выпустил свой единственный стихотворный сборник в восемьдесят лет.

Коктебель без Мануйлова. Ленинград без Мануйлова.

Комарово без Мануйлова. Скучно думать об этом.

Вижу его стоящим на зимней платформе Комарово в длинном черном старомодном пальто и галошах. Снег ложится на шапку и воротник. Виктор Андроникович улыбается и машет рукой. Электричка увозит меня в Ленинград. А вечером я уеду в Москву, куда будут время от времени приходить короткие, но вдохновенные письма из Ленинграда. Летом 1961-го на пяточке перед Домом творчества, на второй день нашего знакомства, Виктор Андроникович читал мою руку. “Вы будете писать. У вас огромная тяга к самовыражению”. Сказал он и многое другое. Позже я удивлялась его прозорливости, но в ту пору спала младенческим сном. Во всяком случае, на слово не откликалась, хотя на звуки откликалась уже давно. Мама рано начала таскать меня на концерты, иногда играла дома сама, и музыка часто доводила меня до слез. Я этого очень стеснялась и с ужасом вспоминала поездку в Клин, в Дом-музей Чайковского, где я прилюдно расплакалась, слушая запись Пятой симфонии. Не найдя платка, давась слезами, я в конце концов выбежала из зала.

Так действовали звуки, а слова оставались словами. Я все еще жила по эту сторону слов, не проникая в их глубины и тайны, не постигая чуда их сцепления и звукописи.

Но когда я наконец стала откликаться на слово, то полюбила вот что:

Жизнь моя все короче, короче,
Смерть моя все ближе и ближе,
Или стал я поэтому зорче,
Или свет нынче солнечный ярче,
Но теперь я отчетливо вижу,
Различаю все четче и четче,
Как глаза превращаются в очи,
Как в уста превращаются губы,
Как в дела превращаются речи.
Я не видел все это когда-то.
Я не знаю... Жизнь кратче и кратче,
А на небе все тучи и тучи,
Но все лучше мне, лучше и лучше,
И богаче я все и богаче...
Говорят, я добился удачи.

Я покупала все сборники Леонида Мартынова, какие могла достать. Мне доставляли удовольствие его четкие формулировки, логические умозаключения:

Из смирения не пишутся стихотворенья,
И нельзя их писать ни на чье усмотренье,
Говорят, что их можно писать из презрения.
Нет! Диктует их только прозрение.

Еще один кумир моей юности – Евгений Винокуров:

Я чуть не плакал. Не было удачи!
Задача не решалась – хоть убей.
Условье было трудным у задачи.
Дано: “Летела стая лебедей...”
Я, щеку грустно подперев рукою,
Делил, слагал – не шли дела на лад!
Но, лишь глаза усталые закрою,
Я видел ясно: вот они летят...
Они летят над облачною гущей
С закатом, догорающим на них,
Закинул шею тонкую ведущий
Назад и окликает остальных...

Строка “вот они летят” казалась мне особенно поэтичной. Хотелось тут же сесть и написать что-нибудь подобное.

Не помню, как это получилось, но однажды году в 1963-м или 1964-м в Доме литераторов мне удалось встретиться с Винокуровым и показать ему свои стихи. Он почитал их и спросил, нравится ли мне писать. Я обиделась и ответила, что меня мама заставляет. Он усмехнулся и, выбрав одно стихотворение из десяти принесенных мной, сказал:

“Вот так пишете. Остальное плохо”. После этого я некоторое время совсем не могла писать, потому что постоянно сравнивала написанное с “тем” стихотворением и не понимала, “так” я пишу или “не так”. Вот они, “те” стихи:

Хрустит ледком река лесная,
И снег от солнца разомлел...
А я опять, опять не знаю,
Как жить на обжитой земле.
Опять я где-то у истока
Размытых мартовских дорог,
Чтоб здесь, не подводя итога,
Начать сначала – вот итог.

Позже я влюбилась в стихи Владимира Соколова. Те строки, которые любила тогда, трогают меня и сегодня:

Прошу тебя, если не можешь забыть
И если увидеться хочешь,
Придумай, о чем нам с тобой говорить
(Ты женщина – ты и хлопчешь).

О прежнем не скажешь моим языком,
Как дождик оно перестало,
Увяло под беглым твоим каблуком,
Крапивою позарастало.
Прошу тебя, если надежд не унять
И тянет, убив, повидаться,
Придумай, как лучше тебя мне узнать,
Во множестве не обознаться.
Скажи: мой единственный, под фонарем
В толпе, задохнувшись от бега,
Стоять буду в шляпке – с вуалью, с пером,
В слезах прошлогоднего снега.

Где-то в моих заветных папках и сейчас хранятся вырезанные из журналов и газет под-
борки его стихов.

Не смейтесь под окном, когда так грустно в доме.
А впрочем, как вам знать, вы молоды совсем.
Рассвет или закат на вашем окоеме,
Вы знаете одно: так значит, завтра в семь!
Что может завтра в семь смертельного случиться!
Разлука навсегда? Но это как восторг,
Как встреча с морем, зыбь, где может приключиться
Лишь лучшее, чем то, что Бог навек отторг...

Естественность его интонации поражала. Стихи запоминались сразу. Вернее, их невоз-
можно было забыть. И, даже не помня слов, я помнила интонацию.

Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной... Должен быть сад
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.
Должны быть большие сирени —
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.
И чья-то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.

В середине 1960-х, прочтя в журнале “Москва” крошечное стихотворение “Конец навига-
ции”, я открыла для себя поэта Арсения Тарковского. Две его книги, “Перед снегом” и “Земле
земное”, стали настольными. Из уст Тарковского я снова услышала и наконец-то расслышала
Пушкина, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Цветаеву. Арсений Александрович пода-
рил мне “Вечерние огни” Фета и двухтомник Тютчева. Помню тот зимний вечер, когда я впер-
вые раскрыла подаренного мне Тютчева. В доме было непривычно тихо. Сын спал. Я сидела в
полутемной комнате и при свете настольной лампы читала:

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души не витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Сердце болело от этих стихов.

Знакомство с Арсением Тарковским – начало новой эпохи в моей жизни. Я недавно написала об этом и не могу здесь повторяться.

И подумать только, мне было почти тридцать лет, когда я наконец вернулась к истокам. Наконец мне стал открываться истинный ландшафт моей духовной родины, о которой я долгое время не подозревала, но с которой всегда была связана какими-то мне самой неизвестными нитями. Когда же все постепенно встало на свои места, когда, как на контурной карте, вместо едва намеченных линий появились заштрихованные территории, я поняла, что это и есть мой дом и я жила в нем с рождения.

Как же долго я спала и как медленно просыпалась!

А проснувшись, растерялась от богатства, которое мне открылось.

В 1971 году я купила книгу Р.-М. Рильке “Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи”. Роден, как и Волошин, – имя из моего детства. В моем старом книжном шкафу были три отцовские книги, которые я рассматривала чаще других: большая, на грубой серой бумаге, с множеством цветных репродукций книга “Тоген на Таити”, Босх, вызывавший у меня сладкий ужас, и книга о Родене, чьи скульптуры “Поцелуй”, “Вечный кумир”, “Данаида” пленяли и завораживали. Точеные юные тела были предметом моих восторгов и грез.

Купив книгу Рильке, я буквально набросилась на эссе о творце столь любимых мною скульптур. Вот что пишет Рильке о жизни Родена: “Было детство, некое детство в бедности, темное, ищущее, неопределенное. И это детство осталось, ибо – как сказал однажды святой Августин – куда ему деваться? Остались, может быть, все прошедшие часы, часы ожидания и заброшенности, часы сомнения и долгие часы нужды; это жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, жизнь, которая сосредоточивалась, проходя. Может быть, мы ничего о ней не знаем. Но только из подобной жизни, думается нам, возникает такое изобилие и переизбыток действия; только такая жизнь, в которой все одновременно, все бодрствует, ничего не миновало, способна сохранить силу и юность, вновь и вновь возноситься к высоким творениям”³².

Как мне дороги эти слова о единстве, неслучайности всей жизни человеческой, которая уходит корнями невесть в какую глубину и длится долго после конца, а может, и не кончается, преобразуясь в нечто иное. “Жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, в которой все бодрствует, ничего не миновало”.

Книга эта бесконечна и бездонна. К ней можно возвращаться снова и снова, открывая новое, незамеченное прежде. А не заметить немудрено, потому что трудно поспеть за каждым новым образом и новым поворотом мысли.

Тьму уроков извлекла я из этого чтения. Губы сводит от бесплодной попытки назвать их и обозначить. “Есть в Родене темное терпение, делающее его почти безымянным, тихая, неодолимая выдержка, нечто подобное великому терпению и доброте природы, начинающей на пустом месте, чтобы тихо и серьезно, долгой дорогой идти к изобилию. И Роден не отважился сразу делать деревья. Он начал словно бы с подземного ростка. И этот росток укрепился, пустил корень за корнем вниз, прежде чем начал маленьким побегом пробиваться вверх. Требовалось время и время. “Не нужно спешить”, – говорил Роден немногим близким друзья, когда те его торопили”.

³² Здесь и далее – пер. В. Микушевича.

Душа резонирует с каждым словом. Конечно же, это проза поэта, действующая на подкорку раньше, чем на сознание. Только поэт может сказать, что скульптуры соборов – это “крестный ход зверей и обремененных”.

Только поэт способен сказать о скульптуре птицы, что “небо выростало из нее и окружало ее, на каждом из перьев складывалась и укладывалась даль, и можно было развернуть эту даль в ее необъятности”.

Только поэт может дать такое описание моста: “А как великолепно мост в Севре перемахивает через реку, отступая, переводя дух, разбегаясь и снова прыгая трижды”.

Если говорить о чтении, то я проживала не дни, не месяцы, а книги: Гете, Томас Манн, Цветаева, Пастернак.

Лето и ранняя осень 1971-го прошли под знаком Заболоцкого. В ту пору я жила на даче с маленьким сыном. Лето было яблочным, и, проснувшись на заре, я слушала стук яблок о землю и повторяла про себя:

О сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей.

Наверное, только тогда я научилась по-настоящему слышать и видеть природу, и строки Заболоцкого стали частью ее:

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью, и скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним...

Заболоцкий буквально вел меня по земле, заставляя временами останавливаться, и, замедлив, смотреть и слушать.

Осенних листьев ссохлось вещество
И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь...

Архитектура Осени. Расположение в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет —
Вот то, что выберем среди других примет...

Заболоцкий пишет “Осень” с заглавной буквы, как имя собственное. Единичность, единственность, особенность, неповторимость, значительность каждого мгновения – вот что внушает поэт каждой своей строкой.

Впервые в жизни я столь отчетливо ощутила биение жизни, ее тайные и явные метаморфозы, происходившие в душе и в природе. И многие мои стихи, написанные в ту пору, об этом:

Где ты тут в пространстве белом?
Всех нас временем смывает.
Даже тех, кто занят делом —
Кровлю прочную свивает.
И бесшумно переходит
Всяк в иное измеренье,
Как бесшумно происходит
Тихой влаги испаренье...

И еще:

Осенний дождик льет и льет —
Уже и ведра через край,
Не удержать — все утечет.
И не держи — свободу дай.
Пусть утекают воды все,
И ускользают все года —
Приснится в сушь трава в росе
И эта быстрая вода.
В промозглую пустую ночь
Приснится рук твоих тепло.
И этот миг уходит прочь,
И это лето истекло.
Ушла, позолотив листья,
И эта летняя пора,
Прибавив сердцу чистоты,
Печали, нежности, добра.

В разные периоды жизни книги читаются по-разному. И чтение становится праздником лишь тогда, когда включаются внутренний слух и внутреннее зрение. К сожалению, эти мгновения не столь уж часты, но я пишу только о них.

В 1976 году мой приятель поэт Алексей Королев дал мне маленькую ксерокопированную книжку в матерчатом переплете с ленточкой-закладкой. Это был роман Набокова “Дар”. Да, это был *дар*. Я читала книгу медленно, боясь, что она кончится. Читала, празднуя каждое слово, каждое сравнение, каждую строчку небывалой прозы. И, странное дело, хотелось срочно начать писать. Бывают великие таланты, которые подавляют: зачем писать, когда уже такое написано. Меня всегда подавлял Блок. Подавлял Мандельштам, которого я запоем читала в середине 1970-х. При чтении Набокова возникало ощущение неисчерпаемости Слова, Жизни и человеческих возможностей. После “Дара” я прочла “Другие берега”, затем рассказы. И во всем, что читала, даже не в лучших вещах, находила крупинцы золота. Как я завидую тем, кому еще только предстоит прочесть: “Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час”. Отголоски его прозы долго жили в моих стихах:

...Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра

Люльку с ночи до утра...
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.

И еще:

Есть удивительная брешь
В небытии, лазейка меж
Двумя ночами. Тьмой и тьмой..."

Я сейчас снова открыла "Дар" и не могу оторваться: удивительное сочетание стремительности и обстоятельности, легкости и внимания к подробностям. А главное, необычайная новизна, свежесть языка, где все слова будто только родились. Вот кусочек прозы о главном герое, который провел утро в постели, пытаясь писать стихи: "В полдень послышался клонувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна [дивная инверсия]. Шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора "Москвы". Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего Средневековья. Но и с этим тоже придется тебе когда-нибудь проститься..."

...Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь..."

При чтении этих слов возникает чувство, что ты присутствуешь при сотворении мира, и трудно поверить, что мир, который столь конкретен, осязаем и зрим, творится лишь с помощью слов.

Вот строки о предчувствии свидания с любимой: "Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала – и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего на тумбе пробегает, как соболев пробегает через пенев. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях. Венеция сквозит, – а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгой висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена".

Этот небывалый набоковский мир – плоть от плоти традиционной российской словесности, имеет с ней единое кровообращение и общую дыхательную систему. Этот мир – не результат отрицания, ломки, разрушения традиций. Он при всей ошеломляющей новизне возник в том же доме, но на ином этаже, куда, перелетев через несколько лестничных пролетов, попал автор.

"От жажды умираю над ручев" – вот что я испытывала при чтении "Дара". А через год я узнала его стихи. И впечатление от лучших стихов было столь же сильным, как от прозы. Поэт Набоков гораздо открытее, раннее Набокова-прозаика, которого часто обвиняют в холодности, высокомерии. Если говорить о его вершинах (а лишь по ним и стоит судить о писателе), то не миф ли его холодность? Можно ли, будучи холодным, так тосковать по России, так поклоняться Пушкину, так боготворить отца, так чувствовать природу, так любить женщину?

Набоков многих шокирует, так как он не *comme il faut*: смеется над тем, над чем смеяться не положено, говорит о том, о чем принято молчать. Но из-за непредсказуемости его следу-

³³ Вийон Ф. Баллада поэтического состязания в Блуа. Пер. И. Эренбурга.

ющего слова и возникает состояние невесомости, как при падении в воздушную яму, когда невольно восклицаешь: “Ах!”

Говорят, что писатель, прозаик боится белого листа, тянет время, не желая садиться за работу. Мне кажется, что Набокова белый лист притягивал, как магнит, что писать было для него наградой, праздником, великим счастьем, сладкой неизбежностью. И читать его – счастье.

Близкое чувство я испытала при чтении Синявского (Абрама Терца). Особенно его книги “Голос из хора”, написанной в мордовских лагерях.

Вот послушайте: “Угостили медом. Какой у него витиеватый вкус и сколько вложено в эту зернистость, в сверкающую плотную вязкость всякого ума и таланта из полосатых пчелиных пузичек, из цветов и воздуха! Мед для нашего рта все равно что благоуханное лето, лес в красках и пение птишек. Все напихано сюда и все сгустилось в один эликсир жизни”.

Это же стихи. Вслушайтесь в звучание слов: ВитиеВатый ВкуС, ЗерниСтоСТЬ, Сверкающая Плотная ВяЗкость, Полосатых Пчелиных Пузичек, Благоуханное Лето, Лес, эЛиксир...

То, что я хотела бы сказать об этой прозе, сказал сам автор: “Появилось странное чувство романтической, я бы сказал, увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинаются где-то под языком, в пищевode, и с одного небольшого куска пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта”. Точно так же, “переваривая и всасывая без остатка” каждое слово, я “пьянела и беспредельно оживлялась” при чтении этой книги. И причина тому – чистота и точность слова, отношение автора к обыденному и ничтожному как к драгоценному. “Закон Робинзона Крузо”, сказано в книге.

Я написала уйму стихов, читая “Голос из хора”. И подумать только, что такой импульс давали строки, рожденные в неволе.

“Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь, и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей... Задача иллюстрации (чуть не вырвалось – иллюминации) состоит в поддержании света, исходяемого непрочитанной книгой. Бессильная имитировать текст, ненужная в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь...

Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, лишь приглядываясь к тому, как она мерцает”.

Читая эти строки, я невольно вспоминаю, как в детстве любила читать и нюхать книгу, как подробно до каждой мелочи, помнила иллюстрации, как мой сын изучал билибинские сказки, медленно переводя взгляд с одной картинки на другую.

Люблю начало речи плавной,
Причуды буквицы заглавной,
С которой начинают сказ:
“Вот жили-были как-то раз...”
Гляжу на букву прописную,
Похожую на глушь лесную:
Она крупна и зелена,
Чудным зверьем заселена.
“Вот жили-были...” Запятая,
И снова медленно читаю:
“Вот жили...” И на слово “вот”

Опять гляжу, разинув рот.

Книга Синявского, изданная в Лондоне в 1973 году, лишена картинок, да и не нуждается в них. Роль художника, о которой так романтично говорит Синявский, выполняет сам автор. Я вижу все, о чем он пишет. Мне бы даже помешали иллюстрации, навязав какое-то другое видение. Слово Синявского – пластично. Оно имеет вкус, запах и цвет.

И это роднит его с Набоковым.

“Голос из хора”: поводом для праздника становилось все что угодно – случайная фраза, услышанная мелодия, цвет неба, запах травы. Как же это может быть? Ведь я читаю записки заключенного. Автор сам отвечает на этот вопрос: “Вероятно, все дело в пространстве. Человек, открытый пространству, все время стремится вдаль. Он общителен и агрессивен, ему бы все новые и новые сласти, впечатления, интересы. Но если его сжать, довести до кондиции, до минимума, душа, лишенная леса и поля, восстанавливает ландшафт из собственных неизмеримых запасов. Этим пользовались монахи. Раздай имение свое – не сбрасывание ли балласта?”

Не отверженные, а погруженные. Не заключенные – а погруженные. Водоемы. Не люди – колодцы. Озера смысла...”

Сколько же успел передумать и перечувствовать человек за шесть лагерных лет. И как он щедро одарил своего читателя! По-моему, лучше Синявского о роли художника и не скажешь. В своих размышлениях о Свифте Синявский говорит: “Открытие Свифта, принципиальное для искусства, заключалось в том, что на свете нет неинтересных предметов, доколе существует художник, во все вперяющий взор с непониманием тупицы”.

Эта книга заставляет жить медленнее, напряженнее и внимательнее. Недаром Синявский то и дело возвращается к разговору о детстве и детском чтении, детских книгах, о замедленном темпе жизни: “Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери – переход на взрослый язык”. Я читала эту книгу “глубоко” и медленно, как в детстве.

Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши.
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно...
Ты увидишь, жизнь безбрежна
И такая сладость в ней...
Но плавней, плавней, плавней.

Вся моя жизнь – постоянный ликбез. Окончив Институт иностранных языков, я обнаружила, что не знаю английского, и начала спешно его учить. К тридцати годам поняла, что не знаю истории, и принялась читать исторические книги, труды античных и христианских авторов, книги по восточной философии. И все же спустя годы могу сказать то же, что Сократ: “Я знаю только то, что ничего не знаю”. Правда, на этом и кончается мое сходство с Сократом. Тем более что мой уровень незнания иной, чем у него.

Но я пишу не просто о чтении, а лишь о том чтении, которое давало творческий (ненавистное слово) импульс. О тех книгах, которые поражали словесной тканью. Поэтому я не называю здесь множества книг, сыгравших огромную роль в моей жизни и перевернувших душу. Не пишу и о поэтах, которых читала в переводе, так как никогда не знала, кто мне нравится – автор или переводчик. Мне кажется, что оригинал отличается от перевода, как живая птица от чучела. Я понимаю, что это очень субъективный подход. И тем не менее не люблю

читать переводных стихов. Писание стихов – интимнейший процесс, где слово не равно самому себе. Оно живет в особой среде, в окружении, созданном всем сказанным и несказанным. Оно живет среди звуков и пауз, в строке и между строк. И если мысль, изреченная даже на родном языке, есть ложь, то переведенная на чужой и подавно. С прозой это может быть иначе, но со стихами... Впрочем, не буду настаивать. Говорю только о себе, объясняя, почему я пишу только о русских поэтах. Мне кажется интересным проследить, что было кормом для души, взрослевшей в конце 1950-х и начале 1960-х, когда многие славные имена находились еще под запретом или только-только начинали звучать; когда классика XIX века была заформулирована и разложена по полочкам в школьном учебнике Флоринского. Когда о Серебряном веке многие и слыхом не слыхивали.

Пробуждаясь к жизни, я выбирала из того, что было на слуху, и влюблялась в своих избранников безоглядно. А позже появились сам– и тамиздат. Круг чтения расширялся. И сейчас, когда наконец прорвало и читатель буквально сбит с ног и заверчен потоком хлынувшей литературы, выяснилось, что я почти все прочла в годы “вечной мерзлоты”. Тем и жила. Но как я рада, что прочла все это не сейчас, а тогда, когда, получив драгоценную книгу, могла утащить ее в свою берлогу и не спеша, не отвлекаясь вкушать. Что же это за страна такая: “Разом пусто – разом густо”. Ведь где “густо”, там и “пусто”, потому что душа меру знает и больше меры воспринять не может. И проходят удивительные вещи незамеченными. Так, я думаю, по-настоящему не прочитан Набоков. Его время не настало. Но оно настанет, благо он разрешен и издан.

Как бы то ни было, я с благодарностью вспоминаю тех, кто вдохновлял и будоражил, радовал и окрылял все оттепельные и застойные годы, как их принято теперь для краткости именовать. Слава богу, в России всегда были таланты.

Я долго носилась с первой книгой Олега Чухонцева, сделав в ней уйму закладок, которые почти выросли в книгу:

Я был разбужен третьим петухом,
Будильником, гремучими часами,
Каким-то чертом, скачущим верхом
На лошади, и всеми голосами...

И, пытая вечернюю тьму,
Я по долгим гудкам парохода,
По сиротскому эху пойму,
Что нам стоит тоска и свобода...

Прочтя книгу Кушнера “Канва”, я написала ему длинное письмо. Письмо писалось светлой июньской ночью и столь же вдохновенно, как стихи. Очнувшись, я увидела, что оно состоит из строк Кушнера и моих междометий.

Письмо я все же отправила, чтоб куда-то деть эмоции. Слава богу, Кушнер письма не получил, вовремя поменяв квартиру.

Давным-давно на заре туманной юности я побывала у Михаила Светлова, к которому меня послала Лидия Борисовна Либединская, прочитав мои робкие стихи. Светлов, назвав меня “старой большевичкой” и посетовав, что ношу не “славянскую” фамилию и что печататься мне будет трудно, дал один очень дельный совет: “Стихи, как любой роман, должно быть интересно читать. Пиши интересно”.

К сожалению, я не выполнила завета. Мой младший сын считает, что пишу я скучно и всегда об одном и том же.

Устами младенца...

А говорю я все это потому, что Кушнер пишет как раз так, как советовал Светлов – интересно.

Прозаик прозу долго пишет,
Он разговоры наши слышит,
Он распивает с нами чай,
При этом льет такие пули,
При этом как бы невзначай
Глядит, как ты сидишь на стуле...

А вот еще:

Эти сны роковые – вранье,
А рассказчикам нету прощенья!
Потому что простое житье
Безутешней любого смещения.
Ты увидел, когда ты уснул,
Весла в лодке и камень на шее,
А к постели придвинутый стул
Был печальней в сто раз и страшнее
По тому, как он косо стоял, —
Ты б заплакал, когда б ты увидел, —
Ты бы вспомнил, как смертно скучал
И как друг тебя горько обидел...

Но, кажется, я увлекаюсь и снова начинаю переписывать стихи Кушнера.

Непонятно, почему одни стихи вдохновляют на собственное творчество, а другие, отнюдь не худшие, а иной раз и лучшие, мешают писать. Я почти не знаю стихов наизусть. Наверное, это защитная реакция организма. Гораздо больше, чем поэзия, будоражат, раскрепощают и помогают писать, развязывая язык, смежные искусства: музыка, живопись, книги о музыке и живописи. Был незабываемый год, когда я жила Ван Гогом: его картинами, книгами о нем, перепиской с братом. Вдохновившись живописью и личностью Ван Гога, я написала кучу стихов. Стихи были плохие и ушли в корзину, но одно, написанное много позже, осталось:

Еще холстов, холстов и красок,
Для цветowych, бесшумных плясок,
Еще холстов, еще холстов
Для расцветающих кустов
И осыпающихся снова,
Для неба черного, ночного,
К утру меняющего цвет...
Еще холстов, и сил, и лет.

Не могу равнодушно смотреть на полотна Борисова-Мусатова. Даже на бледные копии с его картин. Хватательный инстинкт велит что-то срочно предпринять, чтоб удержать любимое. Вот я и расставляю словесные сети:

Осыпающийся сад
И шмелиное гуденье.

Впереди, как сновиденье,
Дома белого фасад.
Сад, усадьба у пруда,
Звук рояля, шелест юбки...
Давней жизни абрис хрупкий,
Абрис зыбкий, как вода,
Лишь в душе запечатлен.
Я впитала с каплей млечной
Нежность к жизни быстротечной
Ускользящих времен...

И такую же потребность поймать, удержать вызывают у меня картины Марка Шагала и Зинаиды Серебряковой. Их живопись – это детская улыбка на сумрачном лице века. Еще более мучительное томление духа испытываю при слушании музыки. Одним из самых сильных впечатлений было знакомство с последней сонатой Бетховена в исполнении Юдиной. Тогда же я прочла “Доктора Фаустуса” Томаса Манна и была ошарашена конгениальным описанием этой сонаты в лекции Кречмара. Было наслаждение слушать музыку и читать о ней точные, пронзительные строки Томаса Манна: «...а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничтожение, робкий испуг, испуг перед тем, что такое могло свершиться. Но до конца свершается еще многое, а под конец – в то время как этот конец наступает – в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врываются мрак, одержимость, упорство. Долго звучащий мотив, который говорит “прости” слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, – это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После печального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не “синь небес” или “будь здоров”, а “о ты, синь небес!”, “будь здоров, мой друг!”, “зелен дольний луг” – и нет свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий глубокий взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняло крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимало ее к груди слушателя для последнего лобзания с такой болью, что глаза наполнялись слезами: “по-за-будь печаль!” “Бог велик и благ!” “Все лишь сон один!” “Не кляни меня!” Затем это обрывается”³⁴.

“Глаза наполняются слезами” не только при слушании Бетховена, но и при чтении этих строк. Томас Манн совершил невозможное: дал словесную запись труднейшей сонаты. Я читаю его текст как партитуру. Читаю и слышу звучание конкретной музыкальной фразы. Это чудо. Прочитанные строки отзывались в моих стихах через много лет:

Мой любимый рефрен: “Синь небес, синь небес”.
В невесомое крен, синевы перевес
Над землей, над ее чернотой, маемой,
Я на той стороне, где летают. На той,
Где звучит и звучит мой любимый напев,
Где земля с небесами, сойтись не успев,
Разошлись, растеклись, разбрелись – кто куда...
Ты со мною закинь в эту синь невода,

³⁴ Пер. С. Аппа.

Чтобы выловить то, что нельзя уловить,
Удержать и умножить и миру явить.

Эти лишённые четкого жанра записки – попытка объясниться в любви тем книгам и людям (пишу только об ушедших, потому что о живых писать трудно), которые сопровождали и вели меня, ещё незрячую или едва прозревшую.

Пишу о времени, когда я могла сказать о себе словами Заболоцкого: “Как все меняется и как я сам меняюсь, / Лишь именем одним я называюсь...”

О тех годах, “куда [лучше Рильке не скажешь] каждое простое событие вступало словно в сопровождении ангела”.

О тех годах, когда мною владело счастливое чувство пути, о головокружительных временах, когда писала:

Гуси-лебеди летят
И меня с собой уносят.
Коль над пропастью не сбросят,
То на землю возвратят.

Но отныне на века —
Жить на тверди, небу внемля,
И с тоской глядеть на землю,
Поднимаясь в облака.

* * *

Муза. Оборотень. Чудо.
Я тебя искала всюду.
Я тебя искать бросалась —
Ты руки моей касалась.
Ты всегда была со мною —
Звуками и тишиною,
Талым снегом, почкой клейкой,
Ручейка лесного змейкой.
Без тебя ломала руки,
Ты ж была – мои разлуки,
Смех и слезы, звук привета,
Мрак ночной и столбик света,
Что в предутреннюю пору
Проникает в дом сквозь штору.

* * *

Послушай, комарик, мы крови одной!
Пока я спала, своего ты добился!
Ты крови моей до отвала напился,

И ты мне теперь ну совсем как родной,
А значит, как я, на лету, в кураже
Ты кровью, насыщенной адреналином,
Напишешь стихи о житье комарином.
Летаешь? Зудишь? Может, начал уже?

* * *

Легкий крест одиноких прогулок...
О. Мандельштам

Пишу стихи, причем по-русски,
И не хочу другой нагрузки,
Другого дела не хочу.
Вернее, мне не по плечу
Занятие иного рода.
Меня волнует время года,
Мгновенье риска, час души...
На них точу карандаши.
Карандаши. Не нож, не зубы.
Поют серебряные трубы
В соседнем жиденьком лесу,
Где я привычный крест несу
Своих лирических прогулок.
И полон каждый закоулок
Души томлением, тоской
По женской рифме и мужской.

* * *

Никто ведь не должен тебе ничего.
Ты праздника хочешь? Придумай его.
По песне тоскуешь? Так песню сложи
И всех окружающих приворожи.
По свету скучаешь? Чтоб радовал свет,
Ты сам излучай его. Выхода нет.

Глава 7

Туда, туда...

О штампах с любовью

Это скучное слово “шаблон”, существующее в толковом словаре с пометкой “неодобрит.”. Это сладкое слово, означающее устойчивость и стабильность.

Шаблон – скрепа, соединяющая грандиозную и хрупкую конструкцию – жизнь.

Шаблон – припев, творящий песню: что бы ни звучало до или после, он все увяжет.

Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка – это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!

Шаблон – то, чему покоряется житейское море; то, что способно хоть как-то обуздать его и ввести в рамки.

Шаблон – стройматериал, кирпич, из которого Наф-Наф складывает жилище, недоступное волку.

“Чур-чур, я в домике”, – кричали мы в детстве, забегая в кружок, очерченный мелом на асфальте или прутиком на земле. Все круги были похожи, но каждый знал свой и, очутившись в нем, чувствовал себя в полной безопасности. Салка в полушаге, а осалить слабо, потому что ДОМ сакрален и недоступен. Заперев его изнутри – “трик-трак”, – мы вступаем в таинственную область привычек, привязанностей и любимых штампов. И не дай бог лишиться хоть одного из них. Нарушение стереотипа – испытание для взрослого и катастрофа для ребенка. Лишить его привычного – все равно что резко выдернуть пеленку из-под младенца. Однажды я проделала нечто подобное со своим новорожденным сыном и увидела панику на его лице, увидела, как быстро и беспорядочно задвигались его крохотные конечности – он летел в пропасть. Рутинная жизнь священна. Она спасает от хаоса и держит на плаву. “Кто пил из моей чашки и сдвинул ее с места? Кто сидел на моем стуле и сломал его?” – визжит Мишутка из сказки “Три медведя”. Горе Маше, вторгшейся в святая святых и там набедокурившей. Ребенок (а “ребенок” и “душа” – почти синонимы) вступает с каждой вещью, с любым, даже самым будничным явлением жизни в тайный сговор. Поедая кашу из СВОЕЙ тарелки, он не просто ест, а близит встречу с Дюймовочкой, живущей на дне ее. Прихлебывая молоко из любимой треснутой чашки, общается с трещиной, имеющей богатую и бесконечную историю. Ложась спать, разглядывает потолок, по краям которого бегут провода и ходят маленькие люди в валенках и ватниках. Садясь за стол делать уроки, принимается исследовать пещеру, образовавшуюся в доисторические времена до его дня рождения, когда легкомысленная мама оставила на столе включенный утюг. Любимая дыра – необходимое условие существования. Устранить ее, поменяв старый стол на новый, значит разрушить устойчивый мир, выдуть тепло из обжитого пространства.

Штамп удивительно разнообразен и многолик. Устойчивость вовсе не означает оседлость. Не так давно я прочла в газете о семействе бродячих артистов, которые уже несколько лет колесят на своем фургоне по югу Франции, давая представления в провинциальных городках. Они перемещаются со своей маленькой дочкой, которая, привыкнув просыпаться каждый день на новом месте, не мыслит себе другого существования. Жизнь на колесах – ее неруши-

мый мир. Фургон – отчий дом, а вечно новый вид из окна ей так же дорог, как нам неизменный, до мельчайших подробностей изученный, незабываемый двор нашего детства.

РУТИНА И НОВИЗНА, ПРЕДСКАЗУЕМОЕ И НЕОЖИДАННОЕ. Точная мера того и другого – великая удача, которая редко кому выпадает в жизни. Затянувшаяся рутина душит, а непрошенный, нежеланный сбой ломает. НОВИЗНА ХОРОША ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ НЕКИЙ ИНВАРИАНТ, нечто незыблемое, не зависящее от случайностей. В противном случае она подобна разрушительному землетрясению, смертоносному торнадо. Только в сказке ураган может поднять маленькую героиню в воздух вместе с домиком и любимой собачкой и опустить в волшебной стране, из которой после ряда увлекательных приключений она целой и невредимой вернется обратно к любимым родителям. В жизни все куда безрадостней и безнадежней. Необратимая утрата родимых стереотипов и необходимость вживаться в чуждые – явление мучительное и страшное. Кто-то сказал, что ностальгия – болезнь носа, лишенного привычных запахов. Но это и болезнь глаза, уха, заболевание всех органов чувств. Существо, изъятое из своей среды, становится тем самым младенцем, из под которого резко выдернули пеленку.

Однажды мой друг затеял странную игру с моим малолетним сыном: притворившись, что забыл его имя, стал называть его то Сережей, то Петей, то Вовой. Сын, который сперва растерянно улыбался, вдруг насупился, часто задышал и с громким плачем бросился ко мне. Утратив родной ярлычок, он потерял самого себя и прибежал ко мне, чтоб я ему все это вернула, назвав тем единственным именем Павлик, на которое он способен отзываться в этом пестром и хаотичном мире.

Недавно мне попала на глаза детская книжка какого-то английского автора про мальчика, который не желал жить под собственным именем и категорически отказывался быть самим собой. Каждый день он менял свой имидж, выдавая себя за очередного героя любимой сказки. Сегодня он Румпельштилцхен, завтра Питер Пэн, послезавтра Робин Гуд. Родители растерялись: ребенок стал неуправляемым. На помощь призвали друзей, родственников, врачей все напрасно. И вдруг случилось ЧП: маленький фантазер потерялся и попал в полицейский участок. На все вопросы он, как всегда, отвечал очередной порцией небылиц: то он Мальчик-с-Пальчик, то Гулливер, то Робинзон Крузо, то заявлял, что живет в замке у великана, то в стране Лилипутии, то на необитаемом острове. Но время шло, а за ним так никто и не приезжал. Ближе к вечеру мальчик затосковал. Он подумал о маме, о вкусном ужине, об уютной постели и с ужасом представил, что никогда больше ничего этого не увидит. “Я Джимми Браун, – закричал он задремавшему полицейскому. – Мой адрес – Парк-лейн, 9”. Вскоре счастливые родители обнимали усталое чадо. Маленький герой этой нехитрой истории пережил то, что ведомо каждому из нас. Он на своем детском уровне испытал те же противоречивые чувства, которые бушуют любого: жажду новизны и боязнь необратимой утраты привычного мира; желание примерить на себя чужую судьбу и страх потерять собственное Я. Но что оно такое, это самое Я? Разве данное при рождении имя носит одна и та же неизменяемая личность? Разве Я – понятие устойчивое и не знающее сложных превращений?

Я, я, я. Что за дикое слово!
 Неужели вон тот – это я?
 Разве мама любила такого,
 Желто-серого, полуседого
 И всезнающего, как змея?³⁵

Но если Я есть величина, постоянно претерпевающая всяческие изменения, то почему человеку свойственно испытывать синдром Джимми, хлопоча о каких-то дополнительных

³⁵ Отрывок из стихотворения Владислава Ходасевича “Перед зеркалом”.

превращениях? Потому, наверно, что внутренний процесс обновления творится подспудно, неявно и слишком растянут во времени, чтоб восприниматься как событие.

У каждого в жизни наступает момент, когда, устав от рутины, душа требует новизны любой ценой:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной... —

когда собственная оболочка начинает казаться тюрьмой, из которой надо бежать немедленно:

Но иногда – другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным³⁶...

Однако если бы Господь Бог вздумал в такой момент поймать человека на слове и исполнить его желание, то вряд ли бы его осчастливил. Потому что слова эти – крик души, жаждущей перемен, но при этом ни на секунду не забывающей о хрупкости и превратности земного существования:

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом³⁷.

Нет, не “гибели всерьез” хочет он, не потери себя ради нового имиджа, не утраты своего мира. Он хочет той новизны, которая так тяжело и так легко дается и которую шутя творит ребенок, строя фантастические замки из стандартного набора кубиков. В одной мудрой книге я прочла такой диалог:

– Все в силе! – сказал он мне по секрету.

– Все – в силе страсти! – добавил я и задохнулся³⁸.

Страсть, жар души, вдохновение – вот что превращает привычную дыру в столе в темную пещеру, а обыкновенные щипцы для орехов – в Щелкунчика. Пока есть этот жар, в любом штампе таится новизна, как бабочка в коконе, как птенец в гнезде; за любым проеденным молью ковриком – дверца клада, а в задней стенке старого, пронафталиненного гардероба – счастливый выход в непознанное и непредсказуемое.

Жар души может преображать даже те штампы, которые существуют в словаре с пометкой “неодобрит.”. Именно это происходило со штампами, которыми “кормил” нас Брук, забывший учитель музлитературы в моей музыкальной школе. Худенький и маленький, он всегда являлся на урок с толстой, большой тетрадкой – неизменным предметом нашего неутолимого любопытства. Тетрадь содержала все, что, по его понятиям, полагалось знать о музыке. Словесные клише перемежались в ней музыкальными примерами, фиолетовые чернила – красной тушью. Кое-что было подчеркнуто, кое-где стояли восклицательные знаки. “Когда они были поставлены?” – гадали мы. Об этой старой лохматой тетради ходили легенды. Говорили, что по ней когда-то учились некоторые преподаватели нашей школы. Особенность Брука заключалась в том, что, открыв тетрадь в нужном месте, он больше ни разу в нее не заглядывал,

³⁶ Отрывок из стихотворения Владимира Набокова “Безумец”.

³⁷ Отрывок из стихотворения Владислава Ходасевича “Ни жить, ни петь почти не стоит...”

³⁸ Сияевский А. Голос из хора.

с точностью до буквы воспроизводя написанное. Да что там до буквы! До запятой, до восклицательного знака. Да-да, до восклицательного знака! Речь его, состоящая из давно обкатанных шаблонных фраз, была настолько эмоциональна, что мы, как говорят англичане, висели у него на губах. Он то растягивал слова, то произносил скороговоркой, то выкрикивал, то шептал. Время от времени учитель присаживался к инструменту и, шлепая мимо клавиш, иллюстрировал только что сказанное. “Слышите? – вопрошал он, пытаясь перекрыть собственную игру. – Вот главная тема, а вот побочная. Ля-ля, пам-пампам”. Прodelывая все это, Брук ни на секунду не разлучался с тетрадкой. Он трогал ее, поглаживал, брал в руки, клал на колени, не забывая в нужный момент перевернуть страницу. Казалось, тетрадь служила ему аккумулятором, заряжая энергией, которую он столь безоглядно на нас тратил. “Обидели юродивого, отняли копеечку”, – пел Брук надтреснутым фальцетом, и кадык ходил на его худой плохо выбритой шее. “Борис, а Борис, зачем ты убил царевича?” – выкрикивал учитель, судорожно прижимая тетрадь к груди. Я слушала его, и мурашки бегали у меня по спине. Его душевный жар, помноженный на нашу восприимчивость, творил чудеса.

“Все – в силе страсти”. А иначе как объяснить тот удивительный факт, что, несмотря на беспробудную скуку наших уроков литературы, на безнадежные клише, которыми изобилывал учебник Флоринского, согласно которому поэзия делилась на гражданскую и остальную, а любой персонаж являлся продуктом эпохи, – вся прочитанная мной тогда классика стала частью моей жизни. Проглотив положенную по программе “Войну и мир”, я ходила как потертая. Реальная жизнь казалась куда более бледной, чем та, которой только что жила. О, этот волшебный процесс превращения казенного списка рекомендованной литературы в нечто столь же интимное и от меня неотделимое, как собственное детство, в драгоценную и не подлежащую переоценке константу всей жизни. Несчастный Герасим, утопивший Му-Му, забытый в усадьбе Фирс, брошенный дочерью станционный смотритель, обиженный Печориным Максим Максимыч – все это пережито и оплакано. “Тебе нравится “Горе от ума”?” – спросил меня однажды сын. Как ответить на этот вопрос? Нравится ли мне дом, где я родилась, улица, на которой жила, двор, в котором выросла? Учась в пятом классе, я посмотрела пьесу “Грибоедов”. Не знаю, хороша ли была пьеса, но она меня потрясла. Потрясла настолько, что я влюбилась. Влюбилась во все сразу: в самого поэта, в его поэму, в его вальсы, в его Нину, в его судьбу. Поэму и вальсы я выучила наизусть, как и пьесу, которую видела несметное множество раз. Судьбу изучила по доступным источникам. Нашла на карте города Тавриз и Тегеран, с которыми была связана роковая миссия поэта. Совершила паломничество на соседнюю улицу, где в витрине маленького книжного магазина висел плакат, по краям которого располагались овалы портреты русских классиков. И наконец решилась на отчаянный шаг: позвонила в театр. К телефону позвали актера Левинсона. Выслушав мою взволнованную и сбивчивую речь, он поблагодарил меня за интерес к его работе и пригласил на спектакль, в котором тоже играл главную роль. Спектакль назывался “Правда о его отце”.

“О чьем отце?” – поинтересовалась я и, поняв, что к Грибоедову пьеса отношения не имеет, потеряла к ней интерес. “Хочешь побеседовать с Лилией Гриценко?” – спросил “Грибоедов”. Я ответила сплошными междометиями. Вскоре в трубке раздался знакомый до мельчайших оттенков голос Нины Чавчавадзе. До чего же я любила этот голос и как хотела обладать таким же, чтоб тихонько беседовать с НИМ, грациозно облокотившись на крышку рояля, на котором он наигрывает свои вальсы!

Это загадочное понятие – шаблон. Что может быть шаблоннее тридцати трех букв алфавита и семи нот звукоряда, и что может быть непостижимее поэзии Пушкина и музыки Моцарта, сотворенных с помощью этих стандартных знаков? Каким образом простые нераспространенные предложения превращаются в бессмертные стихотворные строки:

Не пылит дорога,

Не дрожат листы...
Погоди немного,
Отдохнешь и ты³⁹.

Что может быть обыкновеннее времен года и почему первый снег, первая трава, весенняя гроза, падающий желтый лист – всегда откровение?

Казалось бы, все мечено,
Опознано, открыто,
Сто раз лучом просвечено,
Сто раз дождем промыто.
И все же капля вешняя,
И луч, и лист случайный,
Как племена нездешние,
Владеют речью тайной.
И друг, всем сердцем преданный,
Давнишний и привычный, —
Планеты неизведанной
Жилец иноязычный.

Новизна и штампы – граница между ними размыта и подвижна, как между тьмой и светом:

И тьма – уже не тьма, а свет.
И да – уже не да, а нет⁴⁰.

Но что делать, когда внутренний свет начинает мигать и готов погаснуть, когда организм перестает вырабатывать вещество, способное преобразовать унылые штампы в нечто живое? Одну талантливую актрису как-то спросили: “Что вы делаете, когда вам плохо?” “Прихожу в отчаяние”, – ответила та. Эта возможность есть всегда. Но существуют ли другие?

Беда в том, что, когда садится аккумулятор, требуется помощь извне. Когда задыхаешься “в однообразье нестерпимом”, нужно, чтоб кто-нибудь пришел и хоть на мгновение выдернул тебя из опостылевшей рутины, как когда-то в мой десятый день рождения сделала мама, уведя меня с последних двух уроков в детский театр. Спектакля не помню совсем, потому что весь запас эмоций израсходовала, пока спешила по непривычно тихому школьному коридору и безлюдным лестницам в пустой гардероб, торопилась по залитой солнцем улице, ехала в полупустом троллейбусе на любимом месте у окна и, жуя специально припасенные мамой бутерброды, думала о предстоящем представлении, вечерних гостях и подарках. Это было то самое счастливое “вдруг, откуда ни возьмись”, которое почти каждый испытал в детстве и, увы, далеко не каждый – во взрослой жизни.

Травка зеленеет, солнышко блестит,
Ласточка с весною в сени к нам летит, —

этот стишок вертелся у меня в голове, когда нас везли вдоль зеленеющих полей с аэродрома в гостиницу. То была моя первая поездка за рубеж, когда в конце 1980-х “оковы рух-

³⁹ Отрывок из стихотворения Иоганна Гете “Горные вершины” в переводе Михаила Лермонтова.

⁴⁰ Отрывок из стихотворения Георгия Иванова “Ни светлым именем богов...”

нули” и “свобода вручила” мне авиабилет до Бостона с пересадкой в Шенноне. Пересадка предполагала ночевку в ирландском городке Лимерике. Покинув несколько часов назад темную, холодную январскую Москву, мы приземлились в цветущем майском мире, где над головой летали какие-то экзотические птицы, добавляя красок и без того красочному зрелищу. Засыпая в уютной, похожей на старинную усадьбу гостинице, я вспоминала, как когда-то поразила мое воображение давняя, 1960-х годов, конечно, не заграничная, но все же приграничная поездка по живописному Закарпатья. Вспомнила, как автобус, двигаясь вдоль границы с Румынией, однажды настолько приблизился к колючей проволоке, что можно было отлично разглядеть иностранного мужика в фетровой шляпе и потертой кацавейке, который, размахивая кнутом, загонял в хлев иностранную корову. Я извертелась, стараясь досмотреть до конца сценку из запретной, неведомой жизни.

Эти мелькающие картинки пестрого мира, дальняя дорога, шуршание шин, перестук колес, гул мотора – спасибо им! Они иногда способны выручить того, кто уже не в силах помочь себе сам. Они тормозят, морочат, кружат голову до тех пор, пока душа не соскучится по себе самой, по тем чудесам, которые творит сама, заставляя обыкновенный лист бумаги фосфоресцировать в ночи в ожидании стихов.

О мир, твои прекрасны штампы:
То свет с небес, то свет от лампы,
То свет от белого листа...
Прекрасны общие места.
Что за окошком? Там светает.
Что будет завтра? Снег растает.
О Божий мир, моей душе
Дари не ребусы – клише.

Весной средь бела дня

Весна – странное время. Чем больше неба и света, тем очевидней несовершенство мира и собственная некондиционность. Весна проливает свет на все, всякий раз заставляя мир врасплох и не в лучшем виде. Вот он – воинственный, грохочущий, захламленный, больной. Вот они, вернее, мы, сделавшие его таким и требующие Всевышнего к ответу за все несчастья. Но Всевышний повинен лишь в том, что создал нас, а мы, вообразив себя его соавторами, творим и творим. И в основном безобразия. На дворе теплынь, пушистые облачка плывут над крышами бетонных крупноблочных кварталов, а возле домов валяются вылезшие из-под растаявшего снега пустые молочные пакеты, банки, жестянки, селедочные хвосты, куриные кости, грязные бинты – щедро освещаемые солнцем отходы бытия.

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ, больше жизни,
Поспевай, не задерживай, шагай!

Эту песню пели несколько десятков лет назад, когда считалось, что “человек рожден для счастья, как птица для полета”. А почему бы и нет? Кто откажется подежурить ночь в саду, чтоб выследить и ухватить за крыло Жар-Птицу, которая, по слухам, летает туда за золотыми яблоками? Хотя садов поубавилось, Жар-Птица все равно иногда опускается на землю. Это знает каждый. Особенно в детстве. Я, например, до сих пор храню книжку, сочиненную и нарисованную специально для меня моими любимыми друзьями дядей Лешей и тетей Лизой, подаренную мне весной 1947 года на мой седьмой день рождения.

Речь ведет теперь Жар-Птица,
Раскрасавица-Девушка:
“Слушай песенку мою,
Будешь петь, как я пою!”
И перо приносит в дар,
Не перо – огонь, пожар!..

Слева от стихов красовалась Жар-Птица с короной на голове и длинным пестрым хвостом, а справа – огненное, рассыпающее искры перо. Обещанная мне в детстве Жар-Птица и впрямь прилетала, делая невозможные подарки.

Однажды она появилась среди зимы и, осветив все вокруг, подарила мне ЕГО. Казалось, само небо спустилось на землю. Казалось... Много чего казалось. Но пришла весна, и ЕГО неповторимый голос неожиданно сел и зазвучал хрипло и отчужденно. “Ничего, – утешала я себя, – весна – тяжелое время для астматиков. Вон сколько раздражителей: пух, пыльца, солнечный свет”. Но дотошный и пронизывающий луч не оставлял места для самообмана и велел смотреть, не отводя взгляда. Смотрю и вижу... уютную кухню моей близкой подруги. За столом ОН, она и я. Я появилась без звонка, неожиданно для них обоих. Пришла, потому что не находила себе места после вчерашнего телефонного разговора, состоявшего в основном из пауз и ЕГО натужного кашля. “Болен, – твердила я себе, – очередной приступ астмы”. А сегодня, слушая ЕГО богатый модуляциями голос и видя счастливую улыбку, я убедилась, что он действительно болен, “прекрасно болен”, но – не мной. Для меня все кончено. Утопающая в солнечных лучах кухня, украшенная нарядным абажуром и забавной настенной росписью, стала местом моей казни, довершить которую выпало моей подруге с помощью черного зеленоглазого кота

по кличке Мао. Погуляв по кухне и потеревшись о ноги, Мао прыгнул к НЕМУ на колени. Боясь нежелательных последствий (пушистый кот мог вызвать удушье), подруга наклонилась и осторожным, бережным, интимным движением сняла кота с ЕГО колен. Этот ее жест оказался для меня смертельным: голова моя покатилась с плеч. На лице еще играло подобие улыбки, губы дергались, произнося какие-то слова, но приговор был приведен в исполнение.

Этих дней белоснежная кипа.
В перспективе – цветущая липа.
Свет и ливень. Не диво ль, не диво,
Что жива на земле перспектива?
С каждым шагом становятся гуще
Чудо-заросли вишни цветущей,
Птичьи трели слышнее, слышнее,
А идти все страшнее, страшнее.
Ведь осталась любовь неземная
За пределами этого рая.

Весна – время катастроф. Весной я впервые наблюдала агонию. Умирала бабушка. Она страшно вскрикнула и повалилась на спину, дергаясь и выгибаясь так, будто через нее пропустили ток, а потом резко вытянулась и затихла. Я держала еще теплую, знакомую до каждой трещинки на пальце руку и ловила замирающее дыхание. На ночном столике лежала красная подушечка для иголок, стояла катушка с нитками, валялась моя кофта, на которой она собиралась укрепить пуговицу. Уведя на улицу потрясенных детей, я тупо следовала за ними по золотому полю одуванчиков, пестрому от медуницы склону оврага, по хлипкому мостику через ручей. Пели соловьи, куковала кукушка – происходило то, чему положено происходить весной. Когда мы вернулись домой, постель была пуста: чтобы не терзать детей, бабушку увезли в морг. Она умерла в мае, в том самом месяце, в котором за 65 лет до того родила маму. А тремя годами позже умерла мама. И тоже весной, в марте, в том месяце, в котором когда-то произвела на свет меня. На мой день рождения несли мимозу, на мамин – сирень.

Сирень, именины, веселье, звонки,
Недуги, усталость, прощанье, венки...
Букеты вначале, букеты в конце...
Живем, постепенно меняясь в лице,
Меняясь настолько, что нас не узнать.
О вечная присказка: “Время не трать”, —
То самое время, которого нет —
Легчайшее бремя опущенных лет.

Последний мамин день не был солнечным, но свет струился неведь откуда. Его источали остатки снега, лужи, ручьи, стволы деревьев, его жадно ловили окна домов. Одно из них было маминым больничным, последним. Сквозь него она видела большое старое дерево и пролетающих птиц. Она любила наблюдать за ними, пока была надежда. А в ТОТ день ее серое лицо не выражало ничего, кроме усталости и смертной муки. Войдя к ней в палату и убедившись, что она не дышит, мой отчим принялся хлестать ее по щекам, видимо вспомнив, что так поступают, когда кто-то теряет сознание. Его оттащили и заставили выпить успокоительное.

Весна – место встречи конца и начала, время их братания. Накануне весны родился мой младший сын, меченный множеством золотых веснушек. А за четыре дня до его появления на свет умер дедушка, немного не дожив до своего девяностодвухлетия. Весной что-то тво-

рится с нитью жизни. Она становится почти зримой на весеннем свету, запутывается, дрожит, натягивается, утончается, рвется. Ей на смену появляется другая, тоже непрочная, но гибкая и живучая.

Весной происходит ломка стереотипа, нарушение уклада. Даже если не весной, а позже, то zaczynaет ее весна. С детства помню, как сосало под ложечкой в предчувствии “перемены участи”: конца учебного года, последней контрольной, неотвратимых экзаменов, сулящих торжество или поражение.

Весной из “медвежьих” углов неизменно извлекали чемоданы с надписью “лето” и производили инвентаризацию моих летних вещей. Глядя, как бабушка вдевает нитку в иглоку, делает на ней узелок или перекусывает ее, пришив очередную метку на трусы и майку, я впадала в тоску и лила “невидимые миру слезы”. Потому что все это предвещало скорый отъезд и лагерную жизнь в “здоровом коллективе”: побудку, отбой, ненавистный “мертвый час” среди бела дня, когда, закрыв глаза и притворяясь спящей, слушаешь доносящиеся с “воли” голоса и мечтаешь вырасти и дожить до тех времен, когда... дальше мысли путаются и наступает сон.

Весна – время тайных притязаний, головокружительных и туманных замыслов. Прежняя жизнь раздражает, как надоевший хомут, так и подмывает взбрыкнуть, вырваться, умчаться в пампасы или хотя бы к подмосковным прудам на лягушачью свадьбу. Весна сама провоцирует на шатания и взбрыки, затевая с нами игру, подобную той, что вел персонаж чеховской “Шуточки”. “Сюда, сюда”, – звучит над ухом, а оглянешься – нет никого. Только ветка хрустнула, лед треснул, луч скользнул по щеке. Сплошные заморочки. Пора бы привыкнуть и не попадаться на удочку. Но, если не попадаться, стоит ли жить?

Именно ранней весной, а никак не накануне календарного Нового года в существовании образуется крен, происходит сбой, нарушение ритма – нечто, заставляющее пересмотреть самые основы бытия.

Еще немного все сместится —
Правее луч, южнее птица, —
И станет явственнее крен,
И книга поползет с колен.
Сместится взгляд, сместятся строчки,
И все сойдет с привычной точки,
И окажусь я под углом
К тому, что есть мой путь и дом...

Как ни парадоксально, но именно в пору высокой воды оказываешься на мели, на нуле, на голодном пайке, запасы витальности оскудевают, и наступает авитаминоз, дефицит вещества, от которого зависит следующий шаг, кон, виток спирали. И неоткуда ждать помощи. Ищи недостающие элементы сам, как собака свою травку. Но, чтобы искать, нужен тонус. А откуда ему взяться при авитаминозе? Проблемы, проблемы, но проблема одна. Имя ей – Я. То самое Я, которое заставляет художника метить своим именем холст, а поэта – лист бумаги, как будто взывая: “Вот я, Господи. Весь как на ладони. Нет у меня тайн от Тебя, и нет сил творить анонимно, подобно средневековым мастерам. То ли гордыня мешает, то ли столь необорима потребность в суде Твоем, в защите Твоей”. Я – странное существо, вечно чего-то требующее для себя и вечно стремящееся от себя освободиться, облегчить душу, выговориться, сбросить часть своей ноши, остаться налегке, стать прозрачным, как весенний день, сквозь который плывут облака и летают птицы. И зачем только мир обременен войнами, эпидемиями, стихийными бедствиями, если и без них бытие – испытание и любая человеческая особь, если только ее душа не спит, являет собой болевую точку и очаг напряжения: обида жжет, жалость мучает, совесть терзает, страсть сжигает, нежность переполняет. С самого рождения каждый из нас

приговорен к высшей мере всего земного. Каждому из нас суждено провести жизнь, путаясь в многочисленных пестрых тканях, которыми Господь задрапировал ТО, ЧЕМУ НЕТ ИМЕНИ. Весной эта ткань, ЭТА МАЙЯ становится почти прозрачной, но просвечивает сквозь нее лишь небесный ультрамарин. И ничего больше. Спаси меня, майя. Поддержи, как держит на плаву соленая вода Мертвого моря. Дай пройти нулевой цикл, не опустившись на дно.

Весна – это страсти, завершающиеся испусканием духа и воскресением. Это точка, откуда просматривается земля обетованная, вход в которую нам заказан. Да это и к лучшему. Стоит на ней осесть, как она исчезает. Всякая оседлость лишает свободы. Едва остановишься, облепят мелкие заботы, как кровососы на привале. Прийти нельзя, можно только идти. Идти, обмахиваясь зеленой веточкой, похожей на ту, что когда-то давным-давно стояла на моем столе в стеклянной банке. Была весна. По радио звучал фортепианный концерт Рахманинова. Окна были распахнуты. До экзамена оставался день. Я смотрела в книгу и видела гортань в разрезе, твердое и мягкое небо, язычок и прочие детали, необходимые для произнесения звуков. Но фонетика жила своей жизнью, а я своей. И моя была полна весенних запахов и грез, рахманиновских разливов и раскатов и залетающего в окна тополиного пуха.

Музыка. *Musica*

Слово “мúка” целиком помещается в слове “музыка”. И не случайно. Музыка и мука – две вещи нераздельные. Разве не мука слышать внутри себя мелодию и не уметь ее воспроизвести, потому что тебе не подчиняется твой аппарат – пальцы и голосовые связки? Именно так обстояли у меня дела в музыкальной школе, где за семь лет учебы я по-настоящему “преуспела” лишь в одном: в виртуозном “заигрывании” любого произведения.

“Ты музыкальна”, – говорили мне тем же тоном, каким дурнушке говорят, что у нее красивые волосы или выразительные глаза. “Участнице конкурса на лучшее исполнение Баха, ученице музыкальной школы № 1 Ленинского района г. Москвы Миллер Ларисе за музыкальность”, – гласила надпись, сделанная наискосок на обложке “Мелодии” Рахманинова. Что скрывалось за благозвучным словом “музыкальность”, помню во всех деталях. В применении ко мне оно означало, что уже со второго такта пьесы, требующей хоть какой-то беглости, мои пальцы откажутся меня слушаться и станут жить собственной непредсказуемой и неуправляемой жизнью, то убегая вперед, то еле плетясь, то вовсе соскальзывая с клавиатуры. О, как мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, но я была прикована к инструменту, как Прометей к скале, и мне надлежало до конца исполнить свой долг, дотерзав слушателей, пьесу и себя саму. Когда наконец я имела моральное право снять с клавиатуры руки и уйти со сцены, то обнаруживала, что мне перестали повиноваться ноги: они дрожат, заплетаются и не гнутся в коленях. “Поклонись, поклонись”, – кричал мне вслед завуч. Но до поклонов ли мне? О музыка, музыка...

О ее существовании я впервые узнала в двухлетнем возрасте в годы эвакуации в Куйбышеве в один из тех вечеров, когда бабушка совершала ритуал моего купания. Как выяснилось позже, эта процедура давалась ей с трудом и считалась одним из ее многочисленных подвигов, о которых она спустя много лет не без гордости вспоминала. Еще бы! Война, холод, голод, длиннющие продуктовые очереди, которые приходилось занимать затемно. Но “каждый вечер в час назначенный” на стол водружались привезенная из Москвы цинковая ванна и ее непременный спутник – старый обшарпанный коричневый камин. Бабушка терла меня мочалкой, поливала из кувшина, а потом, завернув в большую простыню, относила на пружинный матрац, где я прыгала, кувыркалась и тараторила без умолку. Но однажды из угла комнаты, вернее из висящей там черной тарелки репродуктора, донеслись звуки, заставившие меня затихнуть и замереть.

Возьмем винтовки новые,
На штык – флажки,
И с песнею в стрелковые
Пойдем кружки... —

пел приглушенный и как бы удаляющийся голос, отрывисто произнося шипящие, свистящие и от того еще более загадочные слова. Мне почему-то казалось, что под эту песню гуськом и в полуприседе (наверное, чтоб не заметил враг) шагают дети, и у каждого в руках винтовка, а на голове буденовка, украшенная красной звездочкой. Я слушала этот постепенно замирающий голос, и мурашки бегали у меня по спине. Что-то новое и тревожное вошло с этой песней в комнату, где по-прежнему уютно подмигивал красной спиралью камин и привычно пахло свежевывмытыми полами.

С этого мгновения начались мои многолетние разнообразные и весьма сложные отношения с музыкой. Одна музыкальная влюбленность сменяла другую, и каждая походила на болезнь, протекающую в острой форме. Помню, как, заглянув однажды в партитуру “Евгения

Онегина”, которую обычно подкладывала под себя, садясь заниматься музыкой, я, сама не зная почему, вдруг начала одной рукой наигрывать увертюру. Это занятие меня так увлекло, что я начисто забыла свои этюды и пьесы, прислушиваясь к сдержанным и печальным вздохам, какими кончалась каждая музыкальная фраза.

Но если “Евгений Онегин” волновал ученицу начальной школы, то душу отроковицы томило “Танго соловья”. Какие там звучали скрипки, как они заливались, вздыхали, плакали – и как скоротечна оказалась моя к ним любовь. И умерла она в тот мартовский день, когда на мои именины пришли наши с мамой друзья: писатель дядя Леша и музыковед тетя Лиза. Едва они перешагнули порог нашей комнаты, я потащила их к проигрывателю, чтоб поставить слегка поцарапанную от неумеренной моей любви пластинку. Как только застонали скрипки, я взглянула на своих друзей, готовясь увидеть на их лицах волнение и слезы. Ведь плакала же тетя Лиза, когда я читала свои прозаические и поэтические опыты. Но вместо волнения и слез я обнаружила недоуменные взгляды и насмешливые улыбки. Когда отзвучали последние аккорды, дядя Леша принялся молча барабанить пальцами по столу, а тетя Лиза с состраданием в голосе спросила: “Тебе это нравится?” – на что я, неожиданно для самой себя, ответила предательским “не знаю”. Чары рассеялись.

Любовь и вероломство, музыка и неверность почти всегда неразлучны. Сколько их было в моей жизни – zalюбленных, заигранных, загубленных неумной страстью пластинок, к которым я потом долгие годы не могла прикоснуться. Так, в разные периоды своей жизни я до отвращения заслушала “Карнавал” Шумана, некоторые сонаты Бетховена, “Бранденбургские концерты” Баха, фортепианные – Шопена, его же *B-moll* ную сонату, чье порывистое, полное тоски и смятения начало чуть не свело меня с ума. Я не знала, что с ним делать. Оно преследовало меня с утра до вечера, звучало во мне, чем бы я ни занималась, но, едва я ставила пластинку, быстро кончалось, исчезало, не оставив мне ничего, кроме томления по началу.

Как-то раз мама, отправившись по заданию редакции “Советской музыки” на студию “Мелодия”, вернулась оттуда с двумя огромными роскошными пластинками западного производства. На глянцевой цветной рубашке одной красовались американский флаг, исписанный нотный лист, военная фуражка, пенсне и надпись по-английски: *A TRIBUTE TO GLENN MILLER*. На другой рядом с чернокожей красавицей, сидящей за стойкой бара, крупными белыми буквами было написано: *GERSHWIN. PORGY AND BESS*. В моей жизни началась новая эпоха – эпоха джаза. Рядом с дисками Гершвина и Миллера встали пластинки Эллы Фитцджеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Фрэнка Синатры. Я не столько слушала, сколько все это танцевала, изгибаясь, вращаясь, выдумывая какие-то немыслимые движения в неутолимом стремлении слиться с музыкой, стать частью ее и хоть ненадолго избавиться от мучительного чувства неразделенной к ней любви.

Однажды я поверила, что музыка и в самом деле может мне принадлежать и звучать для меня одной. В этом убедила меня Он – мой белокурый и голубоглазый однокурсник, который дивно играл на рояле, посвящая мне каждую сыгранную ноту.

“Как это ужасно, что вы вместе учитесь”, – посетовала в разговоре со мной умудренная жизнью студентка пятого курса. “Почему?” – изумилась я, купаясь в волнах безмятежного счастья. В правоте ее слов мне пришлось убедиться слишком скоро. “Что ты в ней нашел?” – читалось во взгляде его мамы, когда я пришла к ним в гости. “Что ты в ней нашел?” – читалось в его взгляде на следующий день. Мы еще продолжали встречаться, он еще играл мне “Трезвы любви” Листа, “Посвящение” Шумана и что-то другое из клибернаовского репертуара, которым увлекался в незабвенном 1958-м. Но теперь каждая нота твердила об одном: “Не тебе, не тебе, не тебе”.

“Тебе, тебе, тебе”, – слышала я много лет спустя из других уст. Мне снова пытались подарить то, что нельзя удержать, чем невозможно владеть: любовь и музыку. Капало с крыш, и звук капли удивительно напоминал интермеццо Брамса, которое особенно часто звучало в ту пору.

Каждая нота, одинокая, как падающая с крыш капля, пройдя гибельный путь, исчезала в пространстве. Ее так неудержимо влекло на грешную землю, будто кто-то посулил ей, что, лишь пройдя все земные круги и совершив ряд болезненных превращений, она обретет новую жизнь и поднимется на новую высоту. Впрочем, в музыке все возможно. Реприза позволяет вернуть прошлое, фермата – остановить мгновение, тоника – обрести устойчивость. Музыка – попытка рая на земле (вот они, райские ключи на нотной странице), попытка заковать судьбу, навести мосты над бездной, соединить несоединимое. Попытка отчаянная и безнадежная. Недаром одна из самых пленительных мелодий Шнитке вдруг расползается, растекается и, будто глумясь над собственной красотой, превращается в нечто уродливое и бесформенное. Музыка – оборотень, принимающий то ангельский, то дьявольский облик. Музыка – великий соблазн, вавилонская башня, лестница, вечно тянущаяся к небесам и готовая в одночасье рухнуть. И счастье – всего лишь возможность не погибнуть под обломками.

“Musica, musica”, – кричал гид в Венеции, призывая кого-то. “Музыка” явилась в облике веселого, толстого и короткого синьора с аккордеоном в руках, который, ловко и уверенно шагнул в гондолу, разместился на отведенном для него месте и запел нечто страстное, томное, итальянское. Запел так, будто единственной причиной, побудившей к пению, были любовь, луна, ночь, канал, а вовсе не группа богатеньких американских туристов, нанявших его за сколько-то лир. Вот она, родина всех этих значков, заморочек и ласкающих слух музыкальных терминов: легато, фермата, кантабиле. Вот она, страна, где одним и тем же словом “лира” обозначают музыкальный инструмент и денежную единицу, символ вдохновения и символ торговли. А может, это и есть верный способ соединить земное и небесное – дать им одно имя. Не все ли равно, что за лира царствовала в ту ночь, когда над водой неслась песня, над городом висела луна, а я смотрела на все это с моста не то Вздохов, не то Слез, но чего-то такого, что непременно сопутствует любви и музыке.

Музыка, музыка, музыка, мука —
Древняя тайна рождения звука,
Что существует, в пространстве кочуя,
Мучая душу и душу врачуя.

Музыка, музыка, форте, пиано —
Ты и бальзам, и открытая рана,
Промыслы Бога и происки черта...
Музыка, музыка, пьяно и форте.

Фермата

Листая незадолго до поездки русско-итальянский разговорник, я наткнулась на слово, знакомое мне со времен музыкальной школы, – “фермата”. *Dove’è la fermata dell’autobus numero tre?* “Где остановка автобуса № 3” – гласил перевод. Невероятно! Я ехала в страну, где слово “фермата” переводится как “остановка”, где даже проза жизни музыкальна. Ступив на итальянскую землю, я, дабы удостовериться, что попала действительно туда, стала искать глазами вывеску “Фермата”, но не нашла. Кругом была вода. Много воды. На воде покачивались лодки. Будь я англоязычной туристкой, я бы непременно воскликнула: “Фэнтестик!” А если еще при этом пострекотать фотоаппаратом и пожужжать видеокамерой, то достопримечательность в кармане. А иначе как быть со всеми этими улочками, каналами, мостами, домами, площадями? Как быть с Венецией? Она-то сама отлично знает, как быть с нами, зеваками, куда вести, что показывать, чем занять, как заморочить, чтобы, сделав вид, будто она вся как на ладони, незаметно ускользнуть, улетучиться, уйти под воду, скрыться в тумане, рассеяться в воздухе. Нет, не на этих путях происходят встречи, но других мне не отыскать: слишком краток визит. И я подчиняюсь. Иду стандартным маршрутом на площадь Святого Марка, где полным-полно голубей и туристов, где под каждой аркой играют музыканты, вздыхаю на мосту Вздохов, катаюсь на гондоле, дивясь тому, как высокий стройный светловолосый итальянец виртуозно работает веслом, в нужный момент грациозно отталкиваясь ногой от стены дома. А навстречу другая гондола, в ней певец с аккордеоном. Значит, туристы побогаче заказали музыку. “*Santa Lucia, Santa Lucia*”, — несется над темной водой. После получасовой прогулки по вечерним каналам – снова суша, узкие улочки, яркие витрины, где помимо всякой сверкающей всячины продаются резиновые сапоги любого размера и фасона. Еще бы! Венеция – это частые туманы, сырость, дожди, наводнение. Сегодня солнце, но за два дня до нашего приезда по площади Святого Марка можно было передвигаться только в высоких сапогах. “Из Венеции жители бегут, – сказала мне экскурсовод Паола, – сыро, нижние этажи то и дело заливают. Всюду плесень, со стен сходит штукатурка, а на ремонт не хватает денег”. Когда я повторила эти слова экспансивной Лизе, нашему гиду во Флоренции, та возмутилась: “Кто вам сказал! Ах, Паола? Пусть не говорит чепухи. Никто из Венеции не бежит. Там все богатые. У них столько туристов и такой доход, что им никакая сырость не страшна”. Говоря это, Лиза подвела нас к баптистерию Св. Иоанна Крестителя, вернее, к знаменитым Вратам Рая. Где же им еще быть, как не во Флоренции, городе, само имя которого значит “цветущая” – *Fiorenza*. Здесь и кафедральный собор называется Санта-Мария-дель-Фьоре (“Святая Мария с цветком”). Флоренция окружена холмами, на которых растут виноградники и пинии. Те самые, которые изображены на Вратах Рая и которые я столько раз видела на полотнах великих мастеров, полагая, что это не имеющие названия условные деревья. Оказывается, они существуют, их полным-полно на тосканских холмах, куда меня собирается повести моя добрая знакомая ленинградка Галя, живущая во Флоренции. Она приехала сюда ухаживать за восьмидесятивосьмилетней полуслепой старушкой Ниной Харкевич. Написала “старушка” и запнулась. Не идет ей это слово. Слишком ясная у нее голова, слишком живой интерес к собеседнику. Она попросила меня почитать стихи, а в ответ подарила свой сборник, в котором кроме стихов репродукции ее картин. Нина родилась во Флоренции в русской семье. Ее отец – воспитанник Петербургской духовной академии, мать – дочь священника, по инициативе которого в конце прошлого столетия была построена во Флоренции церковь Рождества Христова. Нина долгие годы проработала врачом, но с детства увлекалась живописью и поэзией. Можно ли, родившись в Италии и проведя всю жизнь вне России, не только говорить на чистом русском языке, но и писать стихи по-русски? Оказывается, можно.

Осень. Деревья
Трепетно машут,
Прощаясь,
И плачут
Золотистыми листьями
Слез.
Тихо ветер ласкает
Все то,
Что уходит,
И шепчет: “Не плачьте,
Вас ждет тишина
И счастье забвенья”.

В книге почти совсем отсутствуют реалии итальянской, российской или какой-нибудь другой жизни. В ней только природа, память, тишина, печаль.

Душа моя таинственно молчит,
Как зимней ночью лес глухой
В дремоте замирает...

“Потаскать тебя по холмам Тосканы?” – смеется Галя. Она помогает спуститься Нине, усаживает ее в машину, и мы едем по утопающим в зелени улицам мимо храмов и парков, выезжаем за черту города и поднимаемся все выше и выше. Закатное солнце просвечивает сквозь ветки пиний. Влево и вправо убегают тропинки, по которым идти бы да идти. Но, увы, еще день-два – и чао, Фьоренца. “Где-то здесь я в молодости лезла по крутому склону напрямик, без всякой дороги”, – говорит Нина, испытывая видимое волнение от того, что оказалась в любимых и редко навещаемых местах. По пути мы делаем две остановки. Фермата прима – у родника, из которого пьем чистую целебную воду. Фермата секунда – возле маленькой церкви, где, на мой взгляд, гораздо больше горнего, чем в роскошных и помпезных храмах.

Вечером мы с Галей идем в гости. Хозяйка дома – художница, гречанка – давно живет в Италии. У нее две юные дочери – тоненькие, с точеными лицами. Обе учатся музыке: одна играет на скрипке, другая на флейте. Галя предупредила меня, что хозяйка дома придерживается левых убеждений. Беседуя со мной, она выражает надежду, что если в России победят коммунисты, то наконец-то кончится хаос и воцарится порядок. Я не спорю. Не хватало еще, приехав в Италию, говорить о российской политике. Собираются гости. Пришло семейство: муж, жена, малолетняя дочь и сын-даун. Он казался подростком, но выяснилось, что ему двадцать два года. Подойдя ко мне, он представился: “Горький”. Заметив мой недоуменный взгляд, Галя тихонько объяснила, что, поскольку здесь все левые, пролетарский писатель Горький, в честь которого назвали парня, – их кумир. На прощанье мне устроили экскурсию по квартире. Дому, где живет гречанка, почти два века. Просторные комнаты с лепными потолками, изразцовыми каменными полами, массивными стенами и арками вместо дверей больше походили на залы дворца. А на древних стенах – фото работников Коминтерна, открытки с изображением красного знамени с Лениным-Сталиным в профиль. На столе – музыкальный ящик, исполняющий “Интернационал”. И все это – в волшебном городе, на тихой улице, в старинном доме, в квартире, где живет утонченная, артистичная, красивая семья. Загадки странного мира. *Non capisce*. Не понимаю.

Ночью мне приснился сон: горы, необъятное небо, освещенное мощными закатными лучами грандиозного, постепенно исчезающего солнечного диска. Все слишком большое, чересчур яркое. Я в страхе проснулась и почувствовала озноб, который бывает при перегреве.

Италия – сплошная превосходная степень. Здесь все в избытке – скульптура, картины, руины, храмы. В Венеции – избыток воды, в Сорренто – солнца, в музыке – мелоса, в разговоре – жеста, в речи – суперлатива. “Брависсимо!” – восклицает Лиза в ответ на какую-то мою реплику. “Кариссимо!” – обращается мать к ребенку. “Аква белissima!” – улыбается мне синьора, погружая свое необъятное смуглое тело в Неаполитанский залив.

Юг, Сорренто, залив. До чего же долго мы туда ехали и как душно было в автобусе! Спасали только магнитофонные записи нашего весельчака водителя, нескончаемые итальянские песни, которые он ставил всю дорогу. “Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю”, – напевали мы по-русски. “Вернись в Сорренто-о-о, я жду тебя!” Нет, в Сорренто я вряд ли вернусь. И не только потому, что меня там никто не ждет, но и потому, что Сорренто – безумный город, в котором безостановочно движется гудящий, грохочущий транспорт. Юркнешь в узкий проход между рядами домов, надеясь спастись от шума, тебя тотчас же настигнет оглушительный треск мотоцикла или мотороллера, на котором мчится какое-нибудь юное создание. Мотоцикл – транспорт молодых. Они часто ездят четверо в ряд и весело общаются друг с другом, перекрикивая рев мотора. Но, несмотря на грохот и бешеную скорость, итальянский транспорт не агрессивен. Стоит пешеходу сойти с тротуара на мостовую, как рыкающие звери на колесах замедляют ход и терпеливо ждут. Первое время я не верила в их кротость и не решалась идти дальше. Но, приглядевшись, увидела, что из-под грозных мотоциклетных шлемов выбиваются девичьи завитушки, что с мотороллера на меня смотрят веселые глаза, что темпераментный водитель открытого автомобиля делает красноречивый жест рукой: “Проходи, мол, да поживее. Престо, престо”.

Сорренто – курорт, город роскошных отелей, окна которых смотрят все на те же надсадно ревущие, забитые транспортом улицы, город многочисленных кафе, посетители которых неспешно потребляют пищу, попивают капучино и оживленно беседуют в двух шагах от проносящихся мимо мотоциклов. Странная, странная дольче вита! После целого дня, проведенного в душном автобусе, везущем нас из Тосканы на юг, мы мечтали об одном: затащить вещи в гостиницу – и к морю, которое так призывно сверкает внизу под скалой. “Как прекрасно это море, как волнуется оно, в голубом его просторе много душ погребено”. Но погребенной оказалась и наша мечта о близком счастье. В тот жаркий день нам не удалось не только окунуться, но даже приблизиться к морю. Оно оказалось запертым. Его запирают в шесть вечера и отпирают в восемь утра. И не море отпирают, а зажатый с трех сторон кусочек залива, где пляжем служит черный, видимо вулканического происхождения, песок и длинные каменные плиты, на которые, заплатив две-три тысячи лир, можно поставить лежаки и шезлонги.

Итак, в тот вечер море смеялось. Смеялось над нами, жадно глядящими на него сверху, со смотровой площадки. Ну ничего. Завтра оно будет нашим. А сегодня нам остается бродить по городу, глазеть на богатые виллы, кипарисы, пальмы, магнолии и слушать – нет, не плеск волн, а грохот машин. Италия и впрямь страна превосходных степеней: бешеное движение, запредельный шум, неправдоподобное количество бродячих собак и кошек. Они греются на солнце, слоняются возле пиццерий и трапторий, лежат на ступеньках храмов. Но особой любовью у них пользуются античные руины. В Помпеях собак не меньше, чем туристов, а кошки вполне обжили Колизей и Форум. Когда видишь спящую на древних камнях кошку, следишь за тем, как она уютно потягивается и бесшумно перепрыгивает с одной нагретой солнцем плиты на другую, начинаешь верить, что ей столько же лет, сколько самим развалинам, что она знает о них все и хранит их тайну. “Колизей, Форум”, – пишу я. Да полно, была ли я там? Видела ли все это? Входя в очередной собор или музей, я с беспокойством прислушиваюсь к себе: где благоговейный трепет? Почему его нет? Глядя на великие руины, уникальную роспись, мировые шедевры, я чувствовала себя тем индейцем из старого фильма “Маленький большой человек”, который, обхватив руками свою бедную голову, безуспешно пытается понять слова и поступки загадочного белого брата. Все, что мне открылось, было слишком значительным и

огромным, чтоб я могла это вместить: Пантеон, Капитолий, Ватикан, бесчисленные соборы – Санта-Мария-Маджоре, Сан-Джованни, Сан-Паоло, Сан-Пьетри, Сан, Санта, Сантиссимо...

В непостижимом мире огромных величин, который я должна была вобрать в себя за короткий срок, в безумном мире, живущем в темпе *presto*, самым желанным и ласкающим ухо словом стало “фермата”. “Фермата”, – сказала я себе, когда, прогуливаясь по залам Капиталийского музея, набрела на белокаменную Венеру. Дальше идти было не к чему. Здесь была сосредоточена вся мировая гармония, весь покой. Слово “фермата” снова стало музыкальным термином, приказывающим мне, забыв об общепринятом темпе, длить паузу. Я села напротив и собралась сидеть вечно. Но не тут-то было. Сперва мою визави загородили японцы, потом американцы, потом возле нее долго шепталась молодая пара, потом набежали немецкие школьники. А она все стояла в своей непринужденной позе и улыбалась углами губ. Поняв, что я обречена общаться с ней только урывками, я ушла. Пожалуй, в Риме существует лишь одна достопримечательность, которую не в силах заслонить никакие толпы. Это фрески Микеланджело на своде Сикстинской капеллы. Они высоко. Их можно рассматривать среди бурлящего моря людского. Что я и делала, пока не устала и не выплыла из храма на улицу в потоке туристов, немедленно попав в новый поток. В Риме всюду туристы. Одни сосредоточенно изучают карту и путеводитель, другие поспешают за цветным флажком своего гида. *O, mama mia*, что же будет твориться в 2000 году, в котором Вечный город собирается с особой торжественностью отметить свой юбилей. К нему готовятся давно и серьезно. Многие закрыты на реставрацию. Закрыта знаменитая лестница на площадь Испании. Та самая, из фильма “Римские каникулы”, в котором незабвенная Одри Хэпберн на вопрос, какой город ей нравится больше других, восклицает: “Рим, конечно Рим!” Этот возглас постоянно звучал у меня в ушах, когда я гуляла по городу. Пьяцца, палаццо, фонтаны, толпы молодежи жующей, снующей, поющей, целующейся, играющей на гитаре, молодежи в мини и макси, в шинелях и дырявых джинсах, в пончо и шляпах, наголо бритой и с гребешком в фиолетовых волосах, с серьгой в ухе и с кольцом в носу...

Чужая жизнь плещется вокруг, дразня и завораживая пестротой и дивной речью. В каждом итальянском городе, даже в самом шумном, существует праздничная аура. Улицы ярко освещены, фонтаны подсвечены, возле открытых кафе играют музыканты. И даже в стороне от центра на захудалой и грязной улице, на которой находилась наша убогая двухзвездочная гостиница, оказавшаяся по совместительству домом терпимости, шла совсем не мрачная, весьма бурная жизнь и встречались живописные, вполне феллиниевские типы: прощелыги с напыженными волосами, грудастые женщины в кричащем наряде с сигаретой в ядовито крашенных губах. А ночью меня разбудил топот ног и громкий стук в соседнюю дверь. Кого-то выпроваживали, кто-то возмущался, кто-то обещал привести полицию. Наверное, однажды во время подобной сцены из окна моего номера были выброшены дамские сапожки, которые я постоянно вижу на крыше соседнего флигеля. А через дорогу, в доме напротив, за широким окном находится что-то похожее на студию. Там стоит мольберт, на подоконнике гипсовый бюст, на стенах полотна. Кто-то ходит, жестикулирует, курит. А надо всем этим висит неправдоподобно большая и круглая луна. Это значит, сна не будет. Я не умею спать в полнолуние. А утром взойдет солнце и осветит аквамариновое небо, на котором вот уже вторую неделю ни облачка. Вечное небо над Вечным городом.

Мы жили по соседству

Я увидела их впервые в огромном подвальном помещении, где располагался комиссионный мебельный магазин. В том далеком 1972-м мы только-только переехали в новый дом возле платформы Яуза и занимались покупкой недорогой мебели, благо магазин был совсем рядом. Заинтересовавшая меня тройца – он, она и девочка лет шести – занималась тем же: открывала и закрывала дверцы допотопных шкафов, выдвигала и задвигала ящики столов, изучала ценники. Все трое настолько завладели моим вниманием, что я автоматически следовала за ними: они к шкафам, и я туда же, они к диванам – и я. Все трое казались диковинными птицами, невесть как залетевшими в этот промозглый, пропахший плесенью и морилкой подвал. Видавшее виды пальто отца семейства, длинный яркий вязаный шарф, небрежно намотанный вокруг шеи, темные, слегка выующиеся волосы, тонкие черты лица – все это полностью соответствовало моим представлениям о бедном художнике с Монмартра. На женщине была короткая латаная дубленка, полы которой разлетались в разные стороны при каждом движении ее стройных ног. А темноволосая девочка с огромными глазами и тоненькой фигуркой казалась маленькой Одри Хэпберн. Изящество, ленивая грация, элегантность были присущи всем троим.

Оказывается, они уже приметили нас прежде и знали, что мы живем на четвертом этаже той же новостройки, где тремя этажами выше живут они. Мы стали часто бегать друг к другу. Их малогабаритная квартирка отличалась тем же изяществом, что они сами. Все в ней, кроме разве что старинных, доставшихся по наследству часов, было сделано или украшено руками хозяев: причудливой формы книжные полки (чья причудливость объяснялась необходимостью уместить большое количество книг на малом пространстве), затейливые абажуры, фантастической расцветки шторы на окнах – и картины, картины, картины, автором которых была Галя (так звали хозяйку дома), работавшая художником на Мосфильме. Откинув пестрое покрывало, можно было увидеть, что лежанкой служила старая дверь, а приподняв веселую скатерку – обнаружить, что стол сколочен из найденных в куче строительного мусора досок. Попавшие в этот дом вещи преображались и начинали новую, куда более одухотворенную жизнь. Художественная жилка была и у дочери Маши, которая постоянно что-то рисовала, лепила, клеила. Экспозиция над ее столом менялась чуть ли не каждый день, и руководил этим папа Женя – кинорежиссер, так и не снявший за свои тридцать с лишним лет ни единого фильма. Дыры и прорехи в доме латались столь виртуозно и высокохудожественно, что, казалось, возникали с единственной целью – сделать квартиру еще краше. Галя ходила по дому в старых вытянутых на коленях рейтузах. Но когда она, ловко подогнув под себя ногу, усаживалась латать эти самые прорехи или, накинув дубленку и повязав голову серым платком, отправлялась на студию, от нее *не можно было глаз отвести*. Галя с утра до вечера вкалывала, а Женя...

Что делал Женя, сказать трудно. Он был непригеном (пользуясь словом, придуманным моим другом-писателем), то есть непризнанным гением. Его обуревали идеи, воплотить которые мешали, по его мнению, исключительно внешние обстоятельства, а точнее, режим, царящий на шестой части суши, где он, Женя, имел неосторожность *родиться с душою и талантом*. Идеи роились, планы множились, уверенность в их неосуществимости крепла, время шло, жизнь проходила мимо, Женя страдал, мрачнел и наконец родил безумную по тем временам идею, вытеснившую все остальные, – идею отъезда. С ее возникновением походы с седьмого этажа на четвертый и обратно участились. Но если раньше Женя забегал, чтобы поделиться впечатлениями от только что увиденного на закрытом просмотре шедевра, то теперь – чтобы поговорить об ОВИРе, отказах, разрешении на выезд и прочем. Назревала драма: Галя уезжать не хотела, а Женя считал отъезд единственным для себя выходом. Наступил черный день, когда он впервые произнес слово “развод” (неразведенных не выпускали, у них даже не принимали документы). “Отъезд, развод, отъезд, развод”, – вот что постоянно звучало в сте-

нах нашего дома. “Галка уперлась, ехать не желает, жизнь одна, я должен работать”, – твердил Женя.

Мой муж, при любых обстоятельствах сохраняющий способность мыслить ясно, повторял одно: “Только не развод. Развестись – значит потерять семью. Твою русскую жену, если она вдруг надумает ехать, никто никогда не выпустит, а без Гали и Маши ты там повесишься”. Послушавшись совета, Женя пошел ва-банк: явился в ОВИР не разведясь. Случилось чудо – свирепейшая дама по фамилии Израилова (!) была в отъезде, а другой инспектор, видимо, просто проглядел. Документы приняли.

Шло время. Осунувшаяся Галя продолжала таскать на студию огромные папки с эскизами, Машенька, сверкая дивным личиком, играла во дворе с детьми, а Женя, страдая от собственной неприкаянности, с нетерпением и страхом ждал разрешения на выезд. Не зная, куда себя деть, он часто увязывался за мной в молочную, булочную, обувную мастерскую. Его общество временами тяготило, потому что строчки, которые крутились в голове и обещали стать стихами, при его появлении исчезали. Но что было делать. Ведь не прогонишь человека, которому худо. Женина неприкаянность росла день ото дня. Однажды, когда мы ехали в трамвае, он внезапно вскочил и направился к выходу. “Куда? Почему?” – недоумевала я. “Никуда. Так просто”. Трамвай тронулся, а я смотрела из окна, как Женя с присущей ему небрежной грацией медленно пересекает огромную пустую площадь, на ходу комкая и отбрасывая в сторону трамвайный билет, немедленно подхваченный и унесенный ветром... Законченный кадр из не снятого Женей фильма.

Зимой нас позвали на проводы. Народу собралось немного. Мы сидели за столом в уютной, обжитой, знакомой квартире, которую ранним утром должен был навсегда покинуть один из ее обитателей. Далеко за полночь мы ушли к себе, а на заре улетел Женя.

Мой муж оказался прав. Едва прибыв “на пересылку” в Италию, Женя смертельно затосковал. Он то и дело вызывал Галю на переговорный пункт (в нашем доме телефона не было). И вскоре случилось то, что должно было случиться: Галя сообщила нам, что они с Машей решили последовать за ним. И снова та же волокита, которую я, впрочем, помню слабо, потому что к тому времени родила второго сына. Галя заходила взглянуть на новорожденного, потом принесла специально для него сшитый теплый синий конверт, потом забежала рассказать, что ее навещали сотрудники госбезопасности и уговаривали не уезжать, а через некоторое время сообщила, что получила разрешение.

Придя на проводы, мы с грустью обнаружили, что уютного жилища больше не существует. “Живите в доме, и не рухнет дом...” В доме не жили, а доживали. Утром мы посадили Галю и Машу в такси и долго им махали. А днем, не веря своим глазам, увидели, как они снова входят в наш подъезд. Что стряслось? В чем дело? “Какие-то неувязки, – усталым голосом сказала Галя, – летим завтра утром”. Их неожиданное появление казалось таким же диким и противоестественным, как если бы они вернулись с того света. Жизнь дала им редкую и мало-приятную возможность еще раз перешагнуть порог навсегда покинутого дома и провести в нем еще одну тревожную ночь. Наутро отъезд состоялся.

А за несколько дней до того с седьмого этажа на наш четвертый перекочевали огромные напольные антикварные часы, которые нам предстояло сдать в какой-то музей. Они погодили у нас недели две, наполняя комнату задумчивым звоном и звуками старинного марша, а потом уехали. От распавшегося на наших глазах уклада нам на память остались лишь несколько Галиных картинок, выполненных цветными мелками. На одной были пестрые геометрические фигурки на зеленом фоне, на другой – яркие цветы на черном, на третьей – крупные бабочки, порхающие среди кладбищенских крестов.

Через некоторое время мы получили открытку из Вены (из Вены ли?), позже – несколько художественных альбомов из Нью-Йорка, где обосновалось семейство. Дальше тишина. И лишь пятнадцать лет спустя, в начале перестройки, мы совершенно случайно узнали, что Галя

умерла от рака, Маша играет в маленьких театриках, которые возникают и лопаются, как мыльные пузыри. Она талантлива, хороша собой, русский не забыла и дважды приезжала в Россию. А Женя... Женя, как всегда, полон планов, но ничего определенного. Как и в России, семью долгие годы кормила Галя. Ее поделки, шитье, вышивка в русском стиле пользовались большим спросом. У нее были золотые руки. Жаль ее.

Я слушала все это и вспоминала, как много лет назад, поднявшись на седьмой этаж, застала Женю за учебником английского. “Ты вовремя как никогда, – обрадовался он, – сейчас ты мне объяснишь разницу между *live* и *leave*. Я их все время путаю”. “*Live* – жить, а *leave* – уходить, покидать”, – сказала я.

А впрочем, как их не путать? Ведь они синонимы. Жить значит уходить: сегодня – от себя вчерашнего, завтра – от себя сегодняшнего. Говорят, от себя не уйдешь. Еще как уйдешь. Вопрос лишь в том, как далеко... И так ли уж судьбоносно физическое перемещение в пространстве? Тогда, объясняя Жене разницу между *live* и *leave*, я сказала, что в первом случае гласная короткая, а во втором – долгая. И то правда: живем стремительно, а уходим долго, всю жизнь.

Dahin, dahin⁴¹...

Тебе, с кем я блуждаю во времени и пространстве

Шевелил ли нам волосы ветер дальних странствий? Шевелил. Пел ли нам песню веселый ветер? Пел. Звал ли ты меня в даль светлую? Звал. Мы только поженились, ноги были резвыми, а песни манящими: “Нам нет преград ни в море, ни на суше...”, «...и мелькают города и страны, параллели и меридианы...” Ну, страны, положим, не мелькали, но нам вполне хватало городов и весей. Набив рюкзак тушенкой, сгущенкой и сухарями, мы отправлялись в дорогу. Ехали в плацкартном вагоне на верхних полках. Лежа на животе, смотрели в окно. В нос набивались пыль и копоть. В вагоне стойко пахло туалетом, в котором денно и нощно качалась вода (вода ли?). Она была на полу, в раковине и даже на полочке под зеркалом. За каждым выходящим из туалета долго тянулся влажный след. Но это не портило нам ни настроения, ни аппетита, который рос по мере удаления от постоянного места жительства. Куда мы ехали? Куда-нибудь туда. К примеру, на Мещеру. Почему на Мещеру? Потому что о ней необычайно ярко написал Паустовский, чем, говорят, сослужил этим краям дурную службу.

Хотя поезд нас нисколько не утомлял, выйти из него и отправиться куда глаза глядят было ох как приятно. Если бы только не рюкзаки, которые превращали нас в тупо передвигающих ноги и мечтающих о привале выючных животных. Когда мы присели отдохнуть в какой-то деревушке, к нам подошла крохотная бабуля в ослепительнобелой косынке и, примостившись рядом, угостила пучком молодой морковки. Пока мы ее грызли, бабуля смотрела на нас ласково и жалостливо. “А я в окно глянула, вижу – бредут, сердешные, под мешками гнутся. И кто вас гонит с таким грузом-то? Что за ирод проклятый?”

В самом начале 1960-х Мещера казалась местом тихим и даже патриархальным. Как-то раз, проходя мимо избы, мы услышали монотонный скрип и заунывное пение. Заглянув в окно, увидели как молодая женщина, напевая колыбельную, раскачивает висящую под потолком люльку. Видели мы и старуху, которая пряла на старинной прялке. А однажды попали на хутор, где жил молодой пасечник с женой и сопливым мальцом. Пасечник усадил нас за стол, принес тазы с разными сортами меда и не отпускал, пока мы все не перепробовали. Ночевали мы в просторной комнате на полу. Постелив под себя палатку, залезли в спальные мешки и приготовились спать. Но не тут-то было. Едва наступила тишина, как вся комната наполнилась шуршанием и шорохом. Изба оказалась густонаселенной. Жили в ней мыши и тараканы, которые определенно были рады новым людям. Пугались они только тогда, когда мы направляли на них луч фонарика. Но, ненадолго исчезнув, возвращались и с новыми силами принимались за дело: сновали в головах, в ногах, ползали по палатке, норовя залезть в спальник. Когда наутро хозяин опять принес тазы с медом, мы с воодушевлением подумали о хранящейся в рюкзаке тушенке и сказали, что теперь угощать будем мы. Хозяин подвел нас к сложенной во дворе печке, и мы принялись за дело. В какой-то момент, оглянувшись, обнаружили, что за нами внимательно следят два рогатых существа – бык и корова. Но если бык, пытаясь сохранить свое мужское достоинство, вел себя так, будто ему совсем неважно, что там кипит и булькает, то бесстыжая корова, неистово мыча, лезла мордой прямо в котелок.

Однако в домах мы ночевали редко. Чаще в лесу или на реке. “Есть речка по имени Пра, / Там стелется дым от костра...” – охваченная романтическим порывом, записывала я в свой блокнот. Однажды утром, выйдя из палатки, мы увидели... Но в том-то и дело, что ничего мы не увидели, кроме накрывшего реку и окрестности густого белого тумана. Все отсырело. Даже не пытаясь развести костер, мы снялись с места и побрели в тумане. Совсем рядом

⁴¹ Гете И. Туда, туда.

лаяли собаки, переругивались рыбаки, но все закрывала молочная пелена. А была ли Мещера, ночевка у реки, болото, где мы перепрыгивали с кочки на кочку, чтоб в конце пути обнаружить, что рядом идет нормальная проселочная дорога, бабуля с морковкой, сельпо, в котором пахло свежим хлебом, резиной да бензином? Вот, однако, куда завел меня туман, какие элегические ноты он извлек из меня. И в самом деле, что остается в памяти от всех этих путешествий? Туман, один туман – да кое-какие детали.

Следующим летом ты снова позвал меня в даль светлую. Такую светлую, что светлей не бывает. Мы отправились на Белое море. Причем в самый разгар белых ночей. (А может, это я, прочитав северные рассказы Юрия Казакова, позвала тебя в даль светлую.) Мы доехали до Архангельска, про который местные жители шутили: “Треска, доска, тоска”, – остановились на ночь в плавучей гостинице на причале, и тут я заболела. Войдя в крохотный гостиничный номер, почувствовала, что не стою на ногах. Только этого не хватало – в чужом городе, в самом начале пути. “Меня качает”, – сообщила я. “Меня тоже”, – признался ты. Значит, и ты болен. И тут нас обоих сильно качнуло. Мы глянули в окно и увидели за окном воду. Господи, да мы ж в плавучей гостинице, под нами плещется Северная Двина – вот нас и качает. Слава богу, мы здоровы и завтра поплывем дальше, к самому Белому морю.

“Пароход, он белеет на просторе, – пароход”. На просторе белел целый теплоход – огромный и величественный. К тому же полупустой. Пассажиров раз, два и обчелся. Мы облазали его сверху донизу. Впрочем, плавание на теплоходе помню смутно. Зато во всех подробностях помню спуск по трапу в карбас (так местные называли баркас), который подплыл к теплоходу, чтоб забрать пассажиров. В тот день штормило. Мы долго следили с палубы, как карбас то исчезал в волнах, то появлялся. Наконец он остановился (если считать остановкой постоянную болтанку), с теплохода спустили трап и объявили, что можно выходить. Трап мотало во все стороны. Единственно, куда он не попадал, это в карбас. Его держали сверху, ловили снизу, но волны и ветер делали с ним что хотели. Тот самый веселый ветер, который пропел нам песню, позвав в дорогу. Что ж, спускаться так спускаться. Только страх мог заставить меня ринуться вперед и ступить на трап первой. Хоть в воду, хоть в лодку, но лишь бы поскорее. Ждать не было сил. Волны шумели, люди кричали, трап мотало, кто-то протягивал мне руку, за которую я уцепилась, плохо понимая, что происходит. Все. Вроде бы я в лодке. “Садись, садись”, – кричали мне, указывая на скамейку, но я плюхнулась на дно карбаса. Чем ниже, тем лучше – не видно волн. Если я была первой, то ты шел последним, пропустив впереди себя всех, кому не терпелось попасть в лодку. Наконец несколькими рывками завели мотор и поплыли к берегу. Теплоход проводил нас низким прощальным гудком. Однако до берега мы не доплыли – был отлив. Мужчины вынесли на берег детей и женщин. “Здесь есть опасные места, – говорили нам, – после отлива песок вязкий. Засосать может”. “А как узнать, где вязко?” – “Да разве объяснишь? Мы-то знаем, чутье у нас. И то, бывает, попадаемся”.

Поселок, в который мы прибыли, назывался Майда. В Койду мы приехали позже. Наши попутчики пригласили нас к себе на ночевку. Угощали рыбой – вареной, жареной, соленой, в том числе и семгой, которую, как нам объяснили, ловить после недавних испытаний на Новой Земле было строго запрещено. Ели все из одной миски, руками. Постелили нам на печке, но не спалось. Мешали свет и духота. На следующий день нас отвели к старикам, у которых была пустая комната на втором этаже. Оттуда открывался дивный вид: мшистое поле да небо. И больше ничего. “На приполярном белом свете / Белы ночами кочки мхов. / Опять не сплю до самых третьих, / Горластых самых петухов...” Стойкое романтическое настроение диктовало множество стихотворных строк. Завидую самой себе: как дышалось, как писалось, как не спалось! Не так, как сейчас, тяжело и безрадостно, а совсем по-другому – легко и тревожно, в ожидании стихов и всяческой новизны. Новизна была всюду. Завтра за морошкой идем с двумя бабулями. “Хóди, девка, хóди”, – звали они нас, когда мы отставали. К мужику, старухе, ребенку – ко всем здесь обращались “девка”. “Хóди, девка, пóспевай”. С кочки на кочку, с

кочки на кочку – и полная банка морошки: «...И перед нею на колени / В тепло и влагу мшистых кочек. / Да будет на зиму варенье, / Чтоб коротать длинноты ночи”. “Кушайте”, – угощали нас всюду. “Кушайте”, – говорили с ударением на последнем слоге. И подставляли рыбу, варенец с коричневой пенкой, морошку или сваренную в печи рассыпчатую кашу. В соседней деревне Жуковка жило всего две старухи. Одной дома не было, а другая пригласила нас в избу и, приподняв кружевную покрывку, долго демонстрировала все свои перины да одеяла. И того и другого было в избытке. Вдоволь нахваставшись, она позвала нас к столу, налила чаю и, приговаривая певучее “кушайте”, смотрела, как мы прихлебываем пустой чай.

“Море смеялось”, – писал классик. У него смеялось море Черное, а у нас Белое. Положишь на песок свои вещи, пойдешь плавать, оглянешься, а на берегу нет ничего. Куда все подевалось? Да вон оно, плывет. Вон полотенце, вон одежды. Вода пришла. Здесь ведь приливы и отливы. Забыла разве? Беги лови свое добро.

Когда это было, в первое наше северное путешествие или во второе, – не помню. Да и неважно. Помню, что долго шла по пустынному берегу и вдруг увидела влажное бревно с вырезанными на нем тремя буквами. Нет, не с теми, о которых вы подумали. На бревне аршинными буквами было вырезано слово “РАЙ”. Да, это был рай. Особенно для тех, кто приехал в самое светлое время года, чтоб, побродив да поглядев, в то же светлое время и уехать. Правда, уехать оказалось не так-то просто. У моря погоды, а значит, и теплохода пришлось ждать трое суток. Но что за беда? Спешить было некуда. Мы даже решили на обратном пути попробовать наняться на работу. Нам посоветовали добраться до поселка Каменка в устье реки Мезени, где есть большая лесобиржа и всегда нужны люди. Начальник долго обнюхивал наши паспорта, удивляясь тому, что у нас чудные да к тому же разные фамилии, но на работу взял. Какую работу выполнял ты – не помню. Мне велели перетаскивать и складывать штабелями ровные, дивно пахнущие свежей древесиной доски. Я работала на некоторой высоте. Что подо мной было? Возможно, все те же доски. Помню, что однажды, задумавшись и заглядевшись на реку, я чуть не рухнула вниз. “Куда, девка!” – крикнули над ухом, хватая за плечо.

В самом деле, куда? Куда опять влечет нас неведомая сила? *Dahin, dahin*, туда... То в Башкирию, где столько земляники, что можно собирать ее, лежа на животе и лениво переползая с места на место. То на Оку, где, заночевав в лесу, мы проснулись от истошного визга электрической пилы и дикого хруста. Оказалось, совсем рядом рухнуло огромное спиленное дерево. То в Эстонию, где, набредя на брошенный хутор, мы увидели в окно висящие на вешалке старые плащи, куртки, шапки и стоящие под ними отжившие свой срок сапоги и туфли. А может, хозяева еще собирались за ними вернуться? Во всяком случае, дом был заперт, но сарай открыт, и дверь сарая тоскливо и жалобно скрипела. Ночью над нашей палаткой с диким граем летало воронье, шумели на ветру деревья и безостановочно скрипели ворота сарая. Прислушиваясь к этим ночным звукам, я вспомнила брошенные в пустом доме вещи и поняла, что это привидения, которые, снявшись с места, бродят где-то рядом. Ндаром все вокруг шуршит, шелестит, шепчется и вздыхает. Не в силах выдержать охвативший меня ужас, я уже готова была разбудить тебя, как вдруг ты громко и с большим воодушевлением запел “Добровольческий марш” Петра Старчика на стихи Марины Цветаевой:

“И марш вперед, уже трубят поход...” Присмотревшись, я увидела, что ты крепко спишь и будить тебя не имеет смысла. Оставалось воспитывать волю и ждать утра.

Была еще Волга, где вечерами так приятно наблюдать с высокого берега за разноцветными огнями проплывающих мимо катеров и так неприятно беседовать с подвыпившими парнями, которые, завидев костер, непременно подходили и принимались весьма нагло разглядывать двух москвичей и особенно молодую москвичку, не то евреечку, не то армяночку.

А может, махнуть на Алтай? Но почему на Алтай? Ведь я боюсь высоты и не люблю горы. Решено – Алтай. Когда вся наша компания вышла из поезда Москва – Барнаул, лил дождь, который не прекращался целых две недели. Это было настоящее стихийное бедствие. Обезу-

мевшие реки с диким грохотом несли свои мутные воды. Штампы, сплошные штампы. Ну как еще описать бешеный Чулышман, над которым мы шли по склону холма. То есть шли все, кроме меня. Я ползла на полусогнутых. Кто-то нес мой рюкзак, кто-то крепко держал за руку. Кто-то проводил со мной на ходу психотерапевтический сеанс. Спасибо всем, не давшим мне пропасть в трудную минуту. Однако алтайское путешествие почти целиком состояло из подобных минут. Разверзлись хляби земные и небесные. Вода была всюду, сверху и снизу. Горы походили на тучи, тучи на горы. Реку мы узнавали по грохоту. Однажды, подойдя к притоку Чулышмана, через который нам надлежало переправиться, мы увидели жуткую сцену: пастухи и присланный им в помощь милиционер пытались перегнать на другой берег стадо яков. Бедных животных, не желающих лезть в ревущие, клокочущие воды, загоняли туда силой. На них орали, их били кнутом, в них швыряли камни. Они пытались убежать, но их ловили и гнали в реку. До сих пор не могу забыть огромные полные тоски и ужаса глаза беспомощных яков, которых стремительно уносила река. Только у молодых и крепких хватало сил бороться со стихией. Остальные были обречены. Милиционер объяснил нам, что начальство, учтя обстоятельства, спустило им некую процентную норму. Так что потери запланированы.

Переправившись на другой берег, мы, конечно же, снова оказались под дождем и пощиколотку в воде. Хлюпая давно промокшими сапогами, добрались до одинокой избы и попросились погреться. Лучше бы мы этого не делали. Нет ничего хуже, чем после тепла и уюта, тарелки манной каши с малиновым вареньем и двух стаканов горячего чая снова влезать в мокрые сапоги и пускаться в путь, не сулящий радости. “А не рвануть ли нам во Фрунзе? – предложил кто-то из нашей команды. – Там, говорят, жара сорок градусов”. Прекрасная идея. Пожалуй, так мы и поступим. Хорошенького помаленечку. Но нам не удалось осуществить свой дерзкий план. Выйдя утром из палатки, мы чуть не упали от неожиданности: в чистом небе светило солнце. Это было 16 августа, в твой день рождения. Мы развели гигантский костер, сварили огромную кастрюлю киселя из брикетов и подарили тебе букет полевых цветов. Нет ничего глупее, чем дарить цветы в чистом поле. Но что поделаешь, если ничего, кроме бутылки вина, у нас для подарка не было.

Именинное настроение, возникшее по причине хорошей погоды и твоего дня рождения, не покидало нас ни на следующий день, ни через день. Оно не покинуло бы нас и дальше, если бы не случайно подслушанный на почте междугородний разговор с Москвой. Почта находилась в живописном окруженном горами поселке, куда мы зашли, чтоб пополнить свои запасы и отправить весточки в Москву. Выглядела почта совсем по-домашнему – светелка с чисто вымытыми полами и тюлевыми занавесками на окнах. Переступив порог, мы увидели румяную девушку, которая выполняла все функции сразу: продавала почтовые принадлежности, принимала телеграммы и служила телефонисткой. Мы попытались купить у нее открытки, но поняли, что она нас в упор не видит, прислушиваясь к хриплому мужскому голосу, доносившемуся из телефонной будки. Оглянувшись, мы увидели молодых ребят, с которыми три недели назад садились в поезд Москва – Барнаул. Тогда их было пятеро. Сейчас трое. Двое, как мы поняли из телефонного разговора, утонули, когда перевернулся плот, на котором они пытались сплавиться по бешеному Чулышману. Об этом сбивчиво, с дрожью в голосе говорил кому-то (родителям погибших? своим близким? друзьям?) низкорослый паренек – тот, что тогда, на платформе, поразил меня своей причудливой, тирольского вида шляпой с пером. Серые, осунувшиеся, заросшие густой щетиной лица ребят, их воспаленно-красные глаза и страшная новость, которую выкрикивал по телефону один из них, абсолютно не вязались с безмятежно ясным днем, тишиной поселка и тюлевыми занавесками на окнах. Прислушиваясь к разговору, я снова вспомнила ревущую реку и полные тоски глаза гибнущих яков.

Снова туман. Но уже не мещерский, а соловецкий. Он настиг нас на реке на полпути к Анзерам – заповедному острову, куда диких туристов старались не пускать. В обход всех правил нам удалось договориться с местными рыбаками, чтоб они ночью перевезли нас, человек

пятнадцать дикарей, на остров в своей моторке. Мужики были в сильном подпитии, но трезвых не нашлось. К тому же путь предстоял недолгий и хорошо им знакомый. Однако на середине пути случилось непредвиденное: на море спустился туман, да к тому же заглох мотор. “Все. Приехали”, – сообщил один из наших проводников в наступившей тишине. “А бензин?” – поинтересовался кто-то. “Нет бензина. Не взяли”. – “Что же делать?” – “Что делать – грести. Но теперь дольше будет”. Рыбаки налегли на весла. “Давай, молодежь, запевай, а то больно тихо стало”. Кто-то из пассажиров затянул “Дубинушку”. Но набиравшая силу песня была прервана лаконичным и уже знакомым: “Все. Приехали”. “А теперь что?” – “Как что – туман. Суши весла. Все равно ни хера не видно”. Мужики завели между собой тихую ленивую беседу: “Вот так Федора прошлый год унесло, помнишь?” – “Ага”. – “Тоже туман накрыл, и все. Вроде близко, а ни х** не видать”. “А ракетница?” – спросил один. “Что ракетница? Может, забыл, а может, отсырела”, – отозвался другой. “А мы взяли?” – “Я не брал. А ты?” – “Да на кой она мне. Я ее отродясь не беру”. Мы напряженно прислушивались к беседе. “Что теперь будет?” – робко спросил кто-то из пассажиров. “Что будет? Унесет в открытое море, и с концами”. – “Как это – с концами?” – переспросила я, вцепившись в скамейку. “Ну, может, о валуны разобьет. Здесь же валуны кругом – не подберешься. Есть только одно место, где подплыть можно. Да поди найди его в тумане. Вот прошлый год Федька...” Меня била мелкая дрожь. И куда нас, дураков, занесло? Дома сын маленький. Разве мы имеем право пропасть в открытом море или разбиться о валуны? “Есть у кого-нибудь поблизости карта?” – спросил ты. Нашли карту и компас. Ты сел за руль, кто-то взялся за весла, и лодка поплыла в неизвестность. “Господи, наставь на путь истинный, помоги нам выбраться. Я больше никогда...” – мысленно молилась я, не зная, что пообещать. И вдруг резкий толчок. У меня упало сердце. Но, увидев просветленные лица проводников, я мгновенно поняла – остров. Вот когда до меня дошел истинный смысл ликующего вопля мореплавателей, о которых я так любила читать в детстве: “ЗЕМЛЯ-А-А!” “Земля, земля”, – твердила я, ступая на скользкие мшистые камни. Сам остров, прогулки по нему, скит, путь обратно – все сегодня покрыто туманом. Зато я с редкой ясностью помню туман, закрывший от нас Анзеры, бессрочное пребывание в лодке с заглохшим мотором, пугающую тишину, эсхатологическую беседу пьяненьких мужичков, свой ужас, надежду, молитву и наконец – внезапный толчок и береговые камни, которые хотелось целовать и поливать счастливыми слезами.

Куда теперь? Пожалуй, в Закарпатье. Ведь именно там я испытала особенно острое чувство восторга от пребывания в новых, доселе неведомых краях, казавшихся нам почти заграницей: шикарный, хоть и не очень ухоженный Львов, напоминающий старого, обнищавшего, но все еще гордого аристократа; тесные, средневековые, весьма живописные, игрушечные города Мукачев, Ужгород, Хуст; окруженная зелеными горами турбаза в Ясенях, где веселый инструктор каждое утро будил постояльцев одной и той же песней: “Ой, Маричка, чичери, чичери, чичери, расчеши мя кучери, кучери, кучери...” Но главное – горы, которые в отличие от суровых и сумрачных алтайских ласкали взгляд зелеными склонами, ублажали слух звуками пастушьей длиннющей трубы марицы и перезвоном овечьих колокольчиков, угощали белым и нежным овечьим сыром, звали остаться, рухнуть в траву и все забыть. Правда, не всегда они были столь уж гостеприимны. Однажды мы долго не могли выбраться из зарослей колючего, исколовшего нам ноги можжевельника, встречи с которым я тем не менее была очень рада, поскольку незадолго перед этим впервые прочла строки Заболоцкого: “Можжевельный куст, можжевельный куст, / Остывающий лепет изменчивых уст, / Легкий лепет, едва отдающий смолой, / Проколовший меня смертоносной иглой!” Цитируя эту строфу, я тот час же вспомнила строки другого поэта: “Пой о том, как ты земную / Боль, и соль, и желчь пила, / Как входила в плоть живую / Смертоносная игла”⁴². Почему игла, да еще смертоносная? Потому, наверное,

⁴² Отрывок из стихотворения Арсения Тарковского “Почему, скажи, сестрица”.

что поэт жаждет остроты чувств, предельного, даже запредельного их проявления. А запредельное всегда за пределами жизни. Ведь недаром говорят “умереть от счастья”, “умирать со смеху”, “устать смертельно”. Не смертоносная игла страшит поэта, а ее отсутствие. Нечувствительность, тупое безразличие – *вот где таится погибель* его. “Ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”⁴³, – сказано в Библии.

Перемещаясь в пространстве, мы неизбежно перемещаемся во времени. И со временем теряем охоту перемещаться в пространстве, поскольку внешние перемены сулят новизну лишь до тех пор, пока ее сулит странствие по ВНУТРЕННЕЙ территории, пока внутри тебя остается неисследованное пространство, некая целина, которую тебе еще предстоит возделывать. Едва ты теряешь это чувство, никакой ветер дальних странствий тебе не поможет, и покажется, что “Все туман. Бреду в тумане я / Скуки и непонимания”⁴⁴. Это уже не мешерский туман и не соловецкий, обещающий просвет и ясность, а совсем другой – тяжкий и бессрочный. И ветер не столько поет, сколько воет по всем тем, кого он же и унес невесть куда. Скорее всего, туда, где протекает Лета с вечно стелющимся над ней туманом.

“Мрачно, мрачно”, – как говорил один мой знакомый. Неужели все это писалось ради столь безутешного вывода? Да нет. (Замечательный ответ, который, наверное, возможен только в русском языке; во всяком случае, в английском существует либо *yes*, либо *no*.) Писалось это, во-первых, по причине, сформулированной Маяковским:

“Я в долгу перед бродвейской лампией, перед вами – багдадские небеса, / Перед Красной Армией, перед вишнями Японии, / Перед всем, про что не успел написать”. А во-вторых, потому что, пока пишу, внутри меня звучит “надежды маленький оркестрик”, исполняющий некую еле слышную мелодию под условным названием “Еще не вечер”. Вот так топчешься, топчешься на давно опостылевшем пяточке, в который превратилось твое внутреннее пространство, и вдруг... резкий толчок и ликующий крик (Чей? Мой, наверное, а то чей же): “Земля”. И не просто земля, а *Supernova. Terra incognita*. Господи, прости мне эту корысть и помоги, если можешь.

⁴³ Откровения св. Иоанна Богослова.

⁴⁴ Отрывок из стихотворения Георгия Иванова “Все туман. Бреду в тумане я”.

Человек играющий

Как ни сложен мир, в котором мы живем, все же самое сложное – поддерживать порядок на вверенной тебе территории, в собственной душе, и устранять конфликты, постоянно возникающие на незримой границе между внутренним пространством и внешним. Казалось бы, чего проще: мотайся туда обратно сколько хочешь. Ан нет. На границе бдят. И этот бдящий – ты сам. То, перекрыв себе ходы внутрь, с маниакальной жадностью заглатываешь внешние впечатления. То, отрезав пути наружу, полностью погружаешься в себя. То легко впускаешь в душу нечто недоброкачественное, то разбазариваешь драгоценное. Ни покоя, ни строя, ни лада. Они, конечно же, были, но давно, в детстве, когда все прозрачно, любые границы.

На внутренней территории идет своя загадочная, неведомая кем и чем управляемая жизнь. Здесь своя эпоха, свой отсчет времени, редко совпадающий с тем, что снаружи. Здесь тишина, а снаружи грохот; здесь расцвет, а там распад. И наоборот, там Ренессанс, а здесь глухое Средневековье; на дворе распутица, а внутри заморозки; на дворе сплошные кануны, а твои часы еле ходят. Ты полагал, что они будут идти бесконечно долго, а оказалось, это одно из заблуждений, на которые так щедра жизнь. Иллюзия – замена счастьем и основная жизненная вежа. Продвигаясь от рубежа к рубежу, вернее от миража к миру, приходишь... к миру новому. Да и не к новому, а к старому, миллион раз возникавшему и исчезавшему прежде в других душах. Приходишь туда, где до тебя уже были, оставив многочисленные тому доказательства, которые и радуют (ура, не я один!), и огорчают (увы, не я один!). И все же твоя внутренняя территория – терра инкогнита, и ты на ней – Адам, которому Господь с удовольствием подыгрывает, даря свежие краски и яркие ощущения. “Первый снег, – завороченно твердишь ты. – Первая ласточка. Первая любовь”.

Ты полагал, что твое внутреннее пространство безгранично, и вдруг обнаруживаешь, что истоптал его вдоль и поперек, исчерпал все источники, заглянул во все закрома. Нет там больше ничего и не предвидится. И даже товарообмен между двумя мирами, внешним и внутренним, невозможен: душа молчит, не принимает. Сколько ни колеси по белу свету, сколько ни открывай дверей с надписью “к себе”, “от себя”, твоя граница на замке. Увы тебе. Ты протрезвел раньше, чем кончился пир, выбыл из игры прежде, чем она завершилась. Господь сотворил тебя ЧЕЛОВЕКОМ ИГРАЮЩИМ, заронил в тебя Божью искру, способную любую банальность превратить в откровение, как обыкновенный куст – в неопалимую купину. Подарил тебе вдохновение, а ты... Впрочем, Господь дал, Господь и взял. Кто знает, зачем и почему? Сколько ни строй предположений, все будут напоминать детский стишок, который звучит примерно так: “На свете жил слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, а может, и не жил...”

* * *

Не стоит жить иль все же стоит —
Неважно. Время яму роет,
Наняв тупого алкаша.
Летай, бессмертная душа,
Пока пропойца матом кроет
Лопату, глину, тяжкий труд
И самый факт, что люди мрут...
Летай, душа, какое дело
Тебе, во что оденут тело
И сколько алкашу дадут.

Летай, незримая, летай,
В полете вечность коротай,
В полете, в невесомом танце,
Прозрачайшая из субстанций,
Не тай, летучая, не тай.

Глава 8

Что у нас время?

А наутро

“Через не могу, – говорила бабушка, – надо уметь действовать через не могу”. Такова была жизненная установка, которой руководствовалась бабушка в воспитании детей. Когда мама, будучи ребенком, отказывалась есть гороховый суп, жалуясь на сильные боли в животе, бабушка принялась кормить ее одним гороховым супом. “Через не могу”, – твердила она плачущей маме, которую вскоре с сильнейшим приступом аппендицита увезли в больницу. Аппендицит оказался гнойным. Маму чудом спасли, а бабушке объяснили, что при аппендиците горох противопоказан.

Но бабушкин метод воспитания не изменился. Не растить же, в самом деле, белоручек и неженков. “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”. Бабушка была страстным адептом этого армейского девиза. Если бы не моя легкомысленная мама, я, наверное, все десять лет оставалась бы круглой отличницей. А так мне это удалось лишь в пятом классе, в 1951 году, когда мама, выйдя замуж, уехала на год к отчиму в Лефортово, оставив меня на попечение бабушки. Вот когда бабушка наконец-то взялась за меня. Вот когда она смогла без помех проверить свою методику в действии. Несколько раз в неделю она поднимала меня в шесть утра и заставляла повторять устные уроки. Ей удалось добиться невозможного – того, что я, вечно плавающая в географии и биологии, могла безошибочно назвать и показать на карте все полезные ископаемые, металлургические центры, любую равнину и возвышенность, рассказать, что чем омывается и как в природе происходит опыление и зачатие. Бабушка приучила меня слушать “Пионерскую зорьку”, складывать портфель с вечера, гулять только тогда, когда сделаны уроки. “Кончил дело – гуляй смело, – повторяла она. – Делу время, потехе час”. И никакой беготни с мамой по театрам и киношкам, никаких поздних гостей и прочей вредной для ребенка ерунды. Жизнь потеряла прежние краски, но приобрела новые. У меня появился азарт. Я вдруг поняла, что могу быть не хуже других. И даже лучше. Из унылых троечниц я выбилась в хорошистки, а потом – о чудо! – в отличницы. Как описать, что я чувствовала, когда всю дорогу из школы домой несла на вытянутых руках первую и последнюю в своей жизни похвальную грамоту!

“Не знаю, как решать. Не понимаю”, – говорила я, томясь над очередной задачкой. “Быть того не может!” – восклицала бабушка и, усевшись рядом со мной, принималась звонким голосом читать условие задачи. Это была самая драматичная часть моей тогдашней жизни, потому что, обладая кипучей энергией, бабушка не обладала и малой толикой терпенья. Когда моя тупость достигала апогея, а бабушкин голос – самых высоких нот, добрый мой дед с криком: “Утоплюсь!” выбегал из комнаты. Я тихо плакала, тупо глядя в учебник, и в слезах ложилась спать. А наутро... Нет. Об этом надо с красной строки.

Наутро я обнаруживала на столе возле дивана, на котором спала, раскрытую на первой странице чистую тетрадь с подробнейшим изложением решения задачи, в которую мне со страху не удавалось вникнуть накануне. Вначале шло условие, красивым и четким почерком переписанное бабушкой из учебника, а потом поэтапно три разных варианта решения. Бабушки уже не было дома. А рядом с тетрадкой стояла закутанная в платок каша. Все это напоминало сказку не то про Царевну-лягушку, которая за ночь успевала наткать ковров, не то про каких-то добрых гномов, тайком помогавших сапожнику тачать сапоги.

Этот отнюдь не педагогичный бабушкин поступок, состоявший в том, что она решала за меня задачу, которую мне оставалось лишь переписать в свою тетрадь, был высшим достижением педагогики. Решенная задачка являлась чудесным знаком, доказательством того, что в жизни нет безвыходных ситуаций и все разрешимо, как в сказке: ложись, мол, спать. Утро вечера мудренее.

“Утро вечера мудренее, – говорила бабушка, когда усталая возвращалась с работы. – Завалюсь-ка я на часок”. Иногда она так и спала до утра, не раздеваясь, а когда я открывала глаза, ее уже не было. Зато на спинке стула висел мой отглаженный белый фартук и к форме был пришит чистый кружевной воротничок. Значит, бабушка помнила про мой школьный сбор и все успела приготовить.

Нет, это не породило во мне никаких, как тогда выражались, иждивенческих настроений. Зато поселило веру в то, что все в конечном счете будет хорошо. И сколько бы жизнь ни старалась это опровергнуть, детская вера оказывалась сильнее.

Хоть и давно это было, я до сих пор слышу энергичное бабушкино: “Быть того не может!” И когда говорю себе: “Все. Устала. Не могу больше”, – в ответ слышу десятки лет назад отзывавшее: “А ты через не могу”.

Если мне когда-нибудь и приходит в голову светлая мысль, то случается это в самый ранний час утра, на границе между сном и бодрствованием. Потому что утро – это чистая тетрадь с решенной задачкой, над которой я накануне лила горькие слезы.

Жилплощадь

Меня не посвящали в те сложные перипетии, с которыми было сопряжено появление первой в нашей жизни отдельной квартиры. Я даже не присутствовала при переезде. Меня отправили на время студенческих каникул в Дубулты. А вернулась я уже не в коммуналку в Новокузнецком переулке, а в отдельную квартиру на Трифоновской. Это было уникальное жилище – кривой пол, кривизну которого пытался замаскировать неровно постеленный (ровно, по-видимому, не удавалось) линолеум, две длинных, узких, темных комнаты, окна которых упирались в необъятных размеров жилой дом, тесный коридор и кухня, совмещенная с ванной. Крошечной кухневанной (ванна сидячая, плита двухкомфорочная) мама особенно гордилась, так как с помощью этого хитроумного изобретения удалось выделить комнату для меня. Моя малометражная, переделанная из кухни комната оказалась единственным светлым местом в новой, а на самом деле очень старой (когда-то в этом доме находилось общежитие консерваторцев) квартире. Окно смотрело во двор, а на окне висели не шторы, как в других комнатах, а белые занавески. Без штор было не обойтись. Квартира находилась на низком первом этаже и хорошо просматривалась. Когда мимо нас ехали трамваи, а ходили они регулярно, дом дрожал. Я вообще-то любила трамвайный перезвон и то, как вагоны спотыкались на стрелке. Квартира хоть и была отдельной, но оказалась весьма общительной. Она охотно взаимодействовала с внешним миром: когда проезжал тяжелый транспорт, позвякивала посуда на столе; когда кто-нибудь входил в подъезд, вздрагивала дверь нашей квартиры; когда в теплую погоду во двор высыпали бабульки, казалось, что они усаживались посудачить не на лавочку под окном, а на мой диван, настолько отчетливо было слышно каждое слово. Квартира наша так свыкла со своим коммунальным прошлым, что не в силах была смириться с тем насилием, которое над ней совершили, превратив в отдельную.

Можно ли забыть о том, как я, вернувшись из Дубулты, впервые переступила порог СВОЕЙ квартиры? Мама встретила меня на Рижском вокзале и повела домой. Идти было недалеко. Наш двухэтажный, бесконечно длинный серый дом начинался прямо от вокзала. Мы прошли несколько подъездов и, дойдя до нужного, позвонили. На звонок вышел отчим: “Ну, деточка, располагайся. Чувствуй себя как дома”. “Что сначала – есть или мыться?” – спросила мама. Конечно, мыться. Я ведь никогда еще не мылась в своей ванне. И вот я сижу в наполненной душистой пеной малогабаритной ванне и слушаю мамину сагу про то, как мы оказались в отдельной квартире. Я очень быстро потеряла нить, усвоив только одно – если бы не мама, мы бы так и не вылезли из коммуналки, все случившееся – чудо, наше жилье – предел мечтаний. Я слушала, как шумит колонка, смотрела на дрожащий фитиль и чувствовала, что засыпаю. Спала я на мамином диване (моя комната была еще не вполне готова) под трамвайные звонки, стук колес, шелест шин, шарканье ног и людские голоса. Когда на следующий день меня переселили в мою комнату, в которой помещался только диван и журнальный столик, я посмотрела в свежепобеленное окно с воздушными занавесками и вспомнила есенинское: “Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад”.

В сад выходили не только белые окна, но и двери черного хода, с которого в подъезд часто забредал разный вокзальный люд. То кланчили милостыню, то стакан, то переночевать просились. В общем, наша квартира явно испытывала ностальгию по коммунальному прошлому.

А через год в ней появился ты – пришел с каким-то поручением от нашего общего приятеля. Согласившись выпить чаю, ты сел на табуретку, вытянул ноги и перегородил всю комнату. А пока я ходила за розеткой для варенья, начал его уплетать прямо из банки. Доев варенье и выскоблив донышко (ложкой по стеклу – ужас!), ты попрощался и ушел. Но ненадолго. Однажды светлой июньской ночью ты так у меня засиделся, что заснул. А я, глядя на колеблющую ветром занавеску, опять подумала про глупое счастье с белыми окнами в сад.

Хотела ограничиться описанием первой в моей жизни смешной самодельной отдельной квартиры и с благодарностью ей поклониться, но тут появился ты, и мне захотелось пробежаться с тобой по всем нашим совместным московским адресам.

У нас долго не было отдельного жилья, и мы кочевали с места на место. То у твоих пожилых, то у моих.

“У твоих” значит в черемушкинской хрущевке, куда незадолго до того переехали из кропоткинской коммуналки твои бабушка с дедушкой. Их черемушкинское бытование поражаало чудовищным несоответствием между напоминавшими о совсем другой жизни глубокими кожаными креслами, старинным резным буфетом, ломберным столиком и тесными, низкими, узкими типовыми клетушками, в которые все это было втиснуто. Да что там мебель. Главное – хозяева, их породистые лица, аристократическое воспитание, блестящее образование (дедушкин Гейдельбергский университет), славное социал-демократическое прошлое, гонения, ссылки... Вот и фотоальбом в старинном переплете – присевшая на скамью юная дама в длинной черной юбке и широкополой шляпе, а рядом сосредоточенно глядящий в объектив бородатый очкарик в котелке. Нет, никак не вязался с ними жалкий коробок стандартной застройки, в котором им предстояло доживать свой век.

Впрочем, хрущевка – далеко не самое страшное из того, что с ними могло случиться. Их миновали советские лагеря и тюрьмы, а могли и не миновать, все-таки дедушка – бывший меньшевик. Так что грех жаловаться. Да старики и не жаловались. Как-никак отдельное жилье после долгих лет, проведенных в большой многонаселенной квартире в Чистом переулке, когда-то целиком принадлежавшей им и их огромному семейству.

Мы с тобой тоже пожили в этой квартире. Повесили на стену картины твоего двоюродного брата, поставили полку с книгами и стали жить. Мне там больше нравилось, чем за шторкой в Черемушках. Во-первых, Кропоткинская – это с детства привычная старая Москва. А во-вторых, в Черемушках существовал свой уклад, к которому не так уж просто было приспособиться. Я, например, никак не могла приучиться класть чайные ложки на вторую полку буфета, а столовые – на третью, как того хотела твоя бабушка, которая с завидным терпением подвозила меня к буфету и дрожащей рукой снова и снова перекладывала ложки на нужное место.

А еще мы успели пожить в новом, пахнущем краской и свежим паркетом кооперативном доме ученых на Плющихе. Твои родители, построив эту квартиру, оставались в закрытом городе, а мы, заняв одну из комнат, поселили в другой нашего приятеля, который не имел своего угла. Он был преданным другом и всегда старался помочь. Когда какое-то время спустя мы решили снимать комнату (то ли твои родители собирались переехать в Москву, то ли были другие причины), он подсказал нам текст для объявления:

“Пара молодоженов снимет комнату на длительный срок”. Объявление имело колоссальный успех: “паре молодоженов” постоянно предлагали жилье по несуществующему адресу. Воображаю, как веселились шутники, зная, что мы будем искать квартиру № 96 в доме, состоящем из 95 квартир.

В конце концов мы сняли нечто темное и мрачное в Банном переулке, совсем рядом с тем зданием, в котором, как выяснилось позднее, снимал комнату долго державший в страхе всю Москву убийца и вор Ионесян. Любопытно, что весь первый этаж этого дома принадлежал районному отделению милиции. Еще любопытней то, что грязная, убогая, кривая и очень дешевая квартира, в которой мы поселились, оказалась “малиной”. К хозяйке, которая никогда не выключала радио, постоянно ходили заросшие щетиной личности (некоторые были почему-то с проваленными носами), а ее муж отбывал срок.

Все это произвело такое сильное впечатление на наших родителей, что они решили помочь нам вступить в кооператив. Так мы оказались на последнем этаже девятиэтажного дома на проспекте Мира. В подвале дома находился комиссионный мебельный магазин, из-за чего к дому постоянно подъезжали легковушки, грузовики и фургоны. А вскоре рядом возник пив-

бар, и жить стало еще веселее. Каждый вечер, а иногда и по ночам возле нашего дома происходили живые сценки с мордобоем и сочными диалогами.

К тому же наши окна смотрели на Дом ребенка, где с утра до вечера стоял вселенский плач, смолкавший лишь тогда, когда дежурила одна необыкновенно добрая воспитательница с необычайно звонким голосом. Она водила с детьми хоровод, пела песни, загадывала им загадки, лепила с ними снеговика и просто беседовала. Я ждала ее так же нетерпеливо, как детдомовские сироты. Вот придет добрая тетя, и прекратится этот надрывающий душу плач.

Вообще на что в России нельзя пожаловаться, так это на отсутствие шума. Нашим следующим пристанищем была квартира в Ростокинском городке неподалеку от проспекта Мира. К тому времени у нас родился ребенок, и в прежней малогабаритной квартире стало тесновато.

Переехав в новый дом, мы оказались в опасной близости к общежитию автобусно-троллейбусного парка, где независимо от времени года на всех окнах стояли адские машины, изрыгающие адские звуки. Однажды я взяла за руку старшего сына и отправилась к хозяину одного такого звукоизвергателя. Что я собиралась делать – не знаю. Никакого четкого плана у меня не было. Я действовала по велению сердца. Владелец комнаты и радиолы лежал на диване и ловил кайф. Пытаясь перекрыть сумасшедший грохот, я рассказала ему сперва об одном своем нервном ребенке, потом о другом, потом про старую бабушку, потом про свою больную голову. Он, продолжая лежать, молча слушал, а потом нехотя встал и убрал звук. Гордясь своей решимостью и тем, что в столь трудном разговоре нашла верный тон, я вышла на улицу и осталась, потрясенная: из того же самого окна из той же самой радиолы неслись звуки такой мощности, по сравнению с которыми прежний шум стал казаться ангельским пением.

А дальше... дальше Теплый Стан, наше нынешнее становище, – самая высокая, самая близкая к небу точка Москвы. В Теплом Стане всегда холоднее, чем в других районах. Даром что зовется Теплым.

Пока я перемещалась с северной окраины Москвы в южную, мама продвигалась к центру. Поняв, что самоделка на Трифоновской еще не предел мечтаний, она, совершив ряд сложных многоступенчатых обменов и соединившись с бабушкой и дедушкой, оказалась в квартире, которую и пределом мечтаний не назовешь, потому что о таком и не мечтают. Можно ли, прожив большую часть жизни в коммуналке, вообразить себя владельцем просторной отдельной квартиры на восьмом этаже монументального дома сталинской застройки на Кутузовском проспекте рядом с Триумфальной аркой? Можно ли, привыкнув жить в комнате, в которую легко войти через окно, представить, что вознесешься на высоту, откуда весь город как на ладони?

Мама так и не привыкла к новой квартире. Она ее холила, нежила, хвалила и ублажала. Покупала ей всякие гостинцы: то клеенку новую, то цветные занавески в кухню, то пеструю бабу на чайник. Ей нравилось все: и толстые стены, и высокие потолки, и вид из окна, и то, что во дворе или в лифте можно встретить живущих в том же доме известных артистов, и то, что транспорт хорошо ходит и магазинов много...

Летом, когда мы снимали дачу в Вострякове, я приезжала к маме с детьми мыться. Она угощала нас мороженым с клубникой, а потом, пока дети смотрели телевизор, мы с ней пили кофе и говорили, говорили...

Она умерла от лейкоза в 1983-м и похоронена на Востряковском кладбище. Спустя два года отчим женился. Он пережил маму на несколько лет. Теперь в квартире на Кутузовском живет его вдова.

А длинный дом на Трифоновской я однажды проезжала. Все пыталась определить окна нашей самой первой самодельной отдельной квартиры, да так и не смогла.

А самый мой первый дом на этой планете, дом на Большой Полянке – тот, откуда есть пошла вся моя остальная жизнь, – щедро поделив свою территорию между автомагистралью и ультрасовременным билдингом с загадочной аббревиатурой и великодушно подарив свой номер трем соседним домам, исчез с лица земли. Вернее, полностью перебрался в мою память,

где, надеюсь, ему так же хорошо и уютно, как было когда-то мне в его незабвенном коммунальном раю.

Спать пора

“Повернись на бок и закрой глаза”, – говори-ЖИЗНЬ ли мне взрослые. Я делала как мне говорили, а за моей спиной бурлила! Там смеялись, танцевали, чокались. А куда было меня девать? Гостей много, комнаты маленькие, коммуналка. Вот и растекались по всей скудной территории. Даже садились на мою кровать.

“Так. Всем в постель, – громовым голосом сообщила воспитательница. – Кто через пять минут не ляжет, пусть пеняет на себя”. Дело было летом, еще сияло солнце, но детям полагалось спать. А взрослым жить. О, эти звуки жизни – хохот, восклицания, звон посуды.

Особенно терзал душу вечерний шум южного курортного городка. Домик, где мы с мамой снимали комнату, был в горах, а откуда-то снизу, наверное с танцплощадки, доносилось знойное танго.

Когда позже я читала или слышала фразу “Жизнь прошла мимо”, я всегда представляла себе одно и то же: вечер, я в постели, мне положено спать, а где-то кипит, бурлит, пенится жизнь. “Наверстаю, наверстаю”, – думала я.

Школьный вечер. Танцы. Музыка. Твой час настал. Вперед! Чего же ты жмешься поближе к проигрывателю и перебираешь пластинки с таким видом, будто только за этим и пришла?

День рождения подружки. Она живет с бабушкой. Ее родители работают за границей, и потому у нее полно пластинок, которые у нас ни за какие деньги не купишь. Все с энтузиазмом сдвигают в сторону столы и стулья, освобождая место для танцев. “Куда ты? Почему уходишь?” “Мне пора. Меня просили рано вернуться”, – говорю я удивленной подружке. И все вру. Никто меня ни о чем таком не просил. Я спускаюсь по ступенькам, а за дверью гремит музыка. Жизнь идет – и, как всегда, мимо. Или я иду мимо.

“*Pardon me, boys, is that a chatanooga choo-choo*”? – несется со сцены. Институтский вечер в самом разгаре – *in full swing*, как сообщает учебник для третьего курса. На наши инязовские вечера стремилась вся московская золотая молодежь. “*Sixteen tons, and what do you get?*” – поет местный Элвис Пресли по кличке Джон Маленький. В зале душно, я вся красная, и у меня наверняка блестит нос. Он всегда блестит, когда мне жарко. Надо куда-нибудь спрятаться и его напудрить. “Пудренный нос”, – дразнил меня мой друг, который уже больше не мой друг. Вон он, в дальнем углу зала, и, как всегда, в центре внимания – что-то говорит, и все хохочут. Я выхожу в коридор, вынимаю круглую пудреницу, смотрю на себя в зеркало, и меня охватывает тоска. Господи, ну что же это? Красная, растрепанная, нос блестит. Прочь отсюда. Нечего мне здесь делать. Мимо меня, держась за руки, промчались двое. Они спешили туда, а я оттуда. “*Volare, a-a*, – заливался Джон Маленький. – *Cantare, a-a-a-a*”. Я уходила под свою самую любимую песню. “Лети и пой, пой и лети, – говорилось в ней. – Давай улетим к облакам, прочь от шумной толпы”. Давай, я согласна. Но с кем полетим? Я уже пробовала летать, но быстро спускалась.

Что-то со мной не так. Наверное, меня в детстве слишком рано спать укладывали, и мне привычнее слушать шум со стороны, чем быть в гуще событий. К тому же в ней не так уж интересно, в этой гуще, – шумно, суетно и душно. И даже когда я в ней, мне кажется, что жизнь идет мимо. Потому что жизнь – это то пленительное, загадочное, недостижимое, что происходило где-то вдали от меня или за моей спиной, когда я лежала с закрытыми глазами.

Рай под подушкой

В детстве у меня была открытка, которой я очень дорожила. Фу, какая скучная фраза. Разве можно с помощью такого правильного сложноподчиненного предложения хоть как-то объяснить, почему я постоянно держала эту открытку возле себя, а ложась спать, прятала под подушку. Белые игривые козлики и светлокудрые ангелоподобные дети резвились на зеленом лугу. Дети, видимо, жили в пряничном домике, что стоял чуть поодаль, а козлики – в сарае, который был ничуть не хуже детской обители. Как ко мне попала эта открытка и что на ней было написано, не помню. Помню только золотые нерусские (скорей всего, немецкие) буквы на безмятежно голубом небесном фоне. Видимо, я не очень стремилась выяснить, про что надпись, интуитивно чувствуя, что любая определенность помешает. Чему? Ну хотя бы моему общению с ангелочками, с которыми я иногда бегала босиком по неправдоподобно мягкой ярко-зеленой траве. Мне даже временами удавалось погладить козлят, но никак не удавалось войти в пряничный домик. Сколько раз пыталась я, взявшись за фигурную ручку, толкнуть дверь и ступить внутрь, но дверь не поддавалась. Часто слыша от мамы выражение “предел мечтаний”, я понимала его вполне конкретно: красочный веселый уютный открыточный мир – вот предел мечтаний. Наверное, если бы меня тогда спросили, что такое рай, я бы показала эту открытку. Хотя нет. Открытка была моей тайной. Я прятала ее, едва кто-нибудь оказывался рядом.

Все-таки до чего приятно, когда такое абстрактное понятие, как РАЙ, имеет вполне определенный адрес: четырехэтажный дом в Замоскворечье, квартира на первом этаже, комната, что напротив входной двери, где на черном клеенчатом диване спит девочка лет семи. Если осторожно просунуть руку под ее подушку, можно извлечь оттуда немного помятую открытку. Взгляните – это рай. Что-о-о-о? Этот пошлый сусальный мещанский мирок – рай? Пухлые дети, размалеванный лужок, кондитерский домик – рай? Как, однако, хорошо, что у меня хватило ума никого не посвящать в свою тайну. Благодаря этому мне удалось хоть немного пожить в раю. Плохая отметка, обида, ссора – все нестрашно, когда знаешь, где укрыться. Если достать из укромного места открытку и долго на нее смотреть, то постепенно исчезнут доносящиеся с кухни крики соседей, тошнотворный запах жареного сала, громкое хлопанье дверей, шарканье и кашель туберкулезного ИONOва, плачущий голос его жены, нечленораздельные выкрики взрослой полупарализованной дочери. Останется только пестрый луг, лучезарное небо, козлики и дети. Господи, благослови детей и зверей. Не всегда Тебе удастся устроить им такую райскую жизнь. Спасибо, что Ты подбросил мне эту открытку, подарив хоть на время ясное представление об идеальном мире. Вся последующая жизнь – это лишь томление по нему. Даже само слово РАЙ намекает на его недостижимость и непостижимость. Во всяком случае при жизни. Недаром РАЙ живет в слове КРАЙ. РАЙ – за краем, за пределами сущего. УМИ-РАЙ – и обретишь МИР и РАЙ. Да и то вряд ли. Измени форму на “УМРИ” – и вот уже ни мира, ни рая, ни малейшего намека на них.

Доверься слову: в нем ключ и разгадка.

Что же касается открытки, то она пропала. И наверное, вовремя. То есть тогда, когда я еще не успела взглянуть на нее другими глазами. Бог дал, Бог и взял, отнял у меня мой открыточный рай, оставив мне Слово. Вернее, оставив меня наедине со Словом, с которым я так всю жизнь и вожусь, пытаюсь с его помощью достичь того, что мне легко и просто давалось в детстве. УМРИ, УМИРАЙ, КРАЙ, РАЙ... Господи, неужели Слово – это и есть Ты?

Однако разговор становится чересчур глубокомысленным. Не пора ли закруглиться, выразив робкую надежду, что, если, дожив до глубокой старости, я забуду все слова и впаду в детство, Ты снова подбросишь мне мою открытку. Я буду гладить ее дрожащей рукой, вглядываться в нее подслеповатыми слезящимися глазами, а однажды возьмусь за фигурную ручку,

толкну цукатную дверь и исчезну в пряничном домике. Для такого конца прекрасно бы подошла надпись, которую, говорят, видели когда-то на одном из надгробий: “Все хорошо, что хорошо кончается”.

Давай как будто

“А давай как будто у мишки живот болит, и ты его лечишь”. – “Нет. Лучше давай как будто он заблудился, ходит, ходит по лесу, и вдруг...” С этой емкой и мудрой формулы мы начинали в детстве любую игру. Стоило только произнести “давай как будто”, и начиналось нечто небывалое, нам самим неведомое, но только нами творимое. Хотим – так построим сюжет, хотим – эдак. Нет ничего невозможного. Все в наших руках. Такие маленькие демиурги. Откуда нам было знать, что жизнь нас сто раз переиграет и даст нам фору, заставляя участвовать в ее собственных, иногда совершенно безумных сюжетах. Что там наши беспомощные сценарии – живот заболел, в лесу потерялся – рядом с тем, что вытворяет жизнь. Взять хотя бы мишку. Жил он, жил и вдруг пропал. Я долго его искала и, не найдя, заменила куклой Машкой. Теперь она стала главным действующим лицом в наших с подружкой дворовых играх. Конечно, простенькая Машка с кукольной мордашкой не шла ни в какое сравнение с важным, добрым и мудро-печальным серым медведем, подаренным мне мамой на день рождения. Но что было делать? Жизнь, то есть игра, должна продолжаться.

Наступила весна. И как-то раз, когда мама с отчимом вытащили из-под дивана чемодан, чтобы убрать туда пронафталиненные зимние вещи, я заметила среди всякой всячины родную серую лапу. Боясь поверить в свое счастье, я разгребла пестрые тряпки и обнаружила того, кого уже не чаяла найти. Схватив медведя на руки, я в тот же миг чуть не выронила его от ужаса – медвежья голова беспомощно откинулась назад, натянув единственную нитку, на которой держалась. “Положи на место”, – испуганно закричал отчим и принялся отнимать у меня медведя. “Почему? Он же мой”, – недоумевала я. “Он твой, но сейчас он нужен”, – настаивал отчим. И тут я заметила, что в верхней части туловища, на том месте, где к нему крепилась голова, зияет плохо зашитая дыра. Я сунула туда палец и наткнулась на что-то твердое. “Не трогай”, – закричал отчим и снова попытался отнять медведя. “Подожди. Надо ей объяснить”, – сказала мама. – Понимаешь, девочка, он сейчас очень нужен. В нем прячутся разные красивые вещи – кольца, серьги, брошки. Все остальные места ненадежные, а мишка надежный, он все сохранит. Дай его нам на время”. Я слушала маму и смотрела на мишку. Он выглядел ужасно. Голова болталась, шерсть кое-где вылезла, а главное, он, как чучело, был набит чем-то чужеродным. “Но это мой мишка”, – пыталась я возразить. “Да-да, конечно, он твой, и ты его скоро получишь, но не сейчас”.

В конце концов (в результате каких перемен, не знаю) помятый, постаревший и пропахший нафталином мишка ко мне вернулся. Он больше не участвовал в наших играх и тихо жил в доме. “Давай как будто ничего этого не было”, – могла бы я ему сказать, но зачем, если пришитая мамой мишкина голова так неестественно плотно сидела теперь на туловище, что не давала забыть о случившемся.

Как же так? Ведь он мой, и мама сама мне его подарила. Да что ты заладила: “Мой, мой”. Давно надо было избавиться от этих собственнических настроений, еще в эпоху куличиков в детской песочнице, где малыши верещат как резаные: “Не трогай! Это моя формочка, мое ведерко, мой совок!” Ничего твоего нет. И ты ничей. И даже сам не свой, потому что постоянно меняешься, как и сюжет, который ты создаешь в соавторстве с жизнью. А иногда она это делает без тебя и даже с тобой не советуется.

“А может, ничего и не было, – говорю я, всхлипывая, – никакой двойки”. “Что ты, девочка, что значит – не было?” – пугается мама, которая давно уже пытается утешить меня, объяснив, что двойка за сочинение – не причина для горьких слез. Но я безутешна. Я только что перешла в новую школу из прежней, любимой, где учительница по литературе всегда читала мои сочинения вслух и хвалила за фантазию. Сейчас передо мной лежит тетрадь, где моя работа крест-накрест перечеркнута красным карандашом, а рядом с огромной, зловещего

вида двойкой – размашистая подпись новой учительницы и ее гневный окрик: “Придерживайся плана!!!” “Давай как будто ничего не было”, – говорю я себе, пытаюсь спастись от неумолимой действительности с помощью формулы, взятой напрокат из раннего детства.

Но разве эта формула не служит нам пожизненным заклинанием? Разве мы раз и навсегда не договорились с самими собой и с окружающими жить так, будто смерти нет? Мы навсегда остаемся детьми и каждый свой день начинаем с того же самого (пусть даже не произносимого вслух) оборота, с которого когда-то начинали игру: “Давай как будто...” Игра продолжается. Мы постоянно предлагаем невидимому худсовету свои новые сюжеты, которые тот принимает, отвергает или, грубо вторгаясь, переделывает на свой лад. Сюжетов не так уж много, и трудно преодолевать штампы, но еще невыносимее мириться с казенной, безразмерной, единой для всех схемой, которую проще всего проиллюстрировать старым английским стишком:

*Solomon Grundy
born on Monday
Christened on Tuesday
Married on Wednesday
Fell ill on Thursday
Worse on Friday
Died on Saturday
Buried on Sunday
This is the end*

of Solomon Grundy.

Соломон Гранди
родился в понедельник,
крестился во вторник,
женился в среду,
заболел в четверг,
сильнее в пятницу,
умер в субботу,
погребен в воскресенье,
таков конец

Соломона Гранди.

Давай как будто жизнь неисчерпаема и богата историями со счастливым концом. Нет, лучше давай как будто конца нет совсем, а есть лишь бесконечное множество вариаций. Нет, давай как будто...

О мире, Мцыри и воздушном шаре

Если подумать, то окажется, что нет никаких атеистов. Все верующие. Все верят в разумный ход вещей, вернее в то, что он обязан быть разумным. Верят в торжество справедливости, в победу добра над злом и в то, что зло непременно должно быть наказано. Но кем? Тем, кто является гарантом справедливости. А кто им является? Тот, чье имя да не будет помянуто всуе. В глубине души каждый верит, что когда-нибудь ОН все расставит по своим местам. Пусть не сейчас, пусть позже. Пусть даже настолько поздно, что мы, свидетели и очевидцы совершаемого зла, о победе добра так и не узнаем. Что ж, тем загадочнее мир, тем он притягательнее, тем больше оснований не относиться к нему как к бессмысленному нагромождению случайностей.

Мне в этом отношении легче, чем другим. Для меня мир так и остался непознанным. Сколько я ни пыталась усвоить хоть какие-нибудь сведения о нем, запомнить хоть какие-то его биографическо-географические данные, ничего не выходило, потому что моя память – решето. Даты, факты, события, имена – все уходит, улечивается, ускользает из памяти, оставляя мир нерасчлененным, неразмеченным и загадочным, как улыбка Джоконды. “Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей” – вот мои представления о мире.

Однако в нем существуют островки, про которые я знаю все вплоть до мельчайших деталей. Причем существуют эти островки только в моей памяти. Потому что со времени их существования в реальном мире утекло столько воды, что их давно уже смыло. Именно эти несуществующие территории я помню и знаю как пять своих пальцев.

Наверное, такая память имеет свои преимущества, потому что извлекает из всего некий особый томительный звук, рожденный невозможностью постичь, познать, уловить, удержать.

В детстве меня очень волновал образ Мцыри, тоскующего по сильным чувствам и ярким мгновениям, которых так мало было в его жизни. Помню, с каким подъемом писала я школьное сочинение на эту тему. Процесс писания до такой степени меня захватил, что я, наверное, испытывала то же самое, что Мцыри во время грозы: он ловил руками молнию, а я – вспыхнувшее слово. Недаром УЛОВ и СЛОВО близки по звучанию. Слово есть некая ЛОВУШКА для сыпучего и текучего, то есть для всего, что иным способом не поймать.

Два дивных глагола – ловить и летать. Я мечтала о том и о другом. И мой старший сын тоже. Настойчивое желание летать овладело им лет с пяти. Именно в этом нежном возрасте он то и дело взмахивал руками и подпрыгивал в надежде, оторвавшись от земли, задержаться в воздухе. Став немного старше, он принялся мастерить воздушный шар. На это ушло целое лето, масса энергии и куча всякого материала. При малейшем ветре воздушный шар начинал задумчиво кружить по участку (дело было на даче), но так и не взлетел. И правильно сделал. Он остался мечтой, сном, чем-то недостижимым и абсолютно необходимым для того, чтоб мир не разучился улыбаться улыбкой, не поддающейся трактованию.

“Мы играем?” – неожиданно спрашивал сын посреди игры. И, выслушав мое уверенное “да”, переспрашивал: “Мы играем?” Станный вопрос. Конечно, играем. Но если вдуматься, то вопрос не такой уж странный. Жажда игры оказывалась столь велика, что сама игра была неспособна утолить ее. Оставалось томление по игре и неуверенность в том, что происходит именно то, чего он так долго ждал.

“Мы живем?” – кто не задавал себе подобного вопроса? Кто не знаком с комплексом Мцыри, который считал жизнью лишь те короткие минуты (“глазами тучи я следил, руками молнии ловил”), когда вопроса не возникало?

Живем ли мы? Живем, живем. Доказательство налицо: вон какая сильная амортизация души и тела. Кстати, мой так и не взлетевший сын собирался изобрести эликсир жизни, чтоб его близкие не старели и жили вечно. Он так долго собирался, что мы, его родители, уже почти вошли в ту часть тоннеля, что называется “старость”. Впрочем, все нормально, как теперь гово-

рят. Все путем. Тем самым путем, которым миллион раз проходили до нас другие. Просто мы на новенького, и нам все в диковинку.

“Зачем я пришла?” – сколько раз слышала я сквозь сон это бабушкино бормотанье, когда она появлялась в комнате, чтобы взять что-нибудь из буфета и вернуться на кухню. Могла ли я тогда предположить, что через несколько десятков лет буду бормотать то же самое, пытаясь вспомнить, зачем пришла? Какая дичь. Не могла, конечно. Одно дело бабушка, другое – я. Оказалось, дело-то одно – жить, стареть, умирать. КАК жить, КАК стареть, КАК умирать – тут могут быть разночтения и варианты. Но в главном мы все едины. И еще в том, что в глубине души до последнего надеемся, что смерть – это то, что бывает с другими. Даже если мы с юных лет о ней думаем и посвящаем ей рифмованные и нерифмованные строки, мы до конца в нее не верим. И причина нашего неверия – в вере, той самой, о которой я говорила вначале. Вере в то, что ОН все устроит. Пусть не завтра, пусть потом, пусть даже после нас, но устроит. И то чудесное, что ОН устроит, тот закон, который создаст, будет непременно иметь обратную силу...

Ах, лето красное

Зиму нужно перезимовать (что хлопотно и тяготно), а лето – не то перелётить, не то перелететь. Куда ни поставь ударение, все равно звучит игриво, легко, фривольно, что вполне понятно, потому что летняя жизнь мгновенна, мимолетна. В ней отсутствует оседлость. Она кочевая, бивачная, временная, даже если никуда не едешь. Лето короткое. Его перелетаешь, перепархиваешь. Все в нем как-то несолидно, на фу-фу, на живую нитку, на скорую руку. Летняя фактура – жиденькая, сквозная, сплошные пазы, просветы. И в каждом кто-то чирикает, шуршит, жужжит, копошится. Как на взморье в курортный сезон, когда в любом углу, сарае, закуте идет жизнь: стряпают, моют фрукты, стирают легкие летние одежды, закручивают волосы на бигуди, чтоб вечером появиться на местном Бродвее в полном блеске. О, эти вечера: шуршанье, шелестенье, шепот, смех, музыка. Темнота фосфоресцирует от накала страстей. Как можно летом без страстей?

Он был рыжий, невысокого роста, совсем не привлекательный. Во всяком случае для меня. Но стояло лето, а летом... (Смотри выше.) Если встречаться вечером на темных аллеях парка при неровном свете фонарей, то вполне можно вообразить, что рядом со мной ТОТ, ДРУГОЙ, который далеко от меня и ближе не будет. Если не смотреть на спутника, а только слушать тишину, то можно сносно провести время, не выпадая из общего завораживающего контекста. А тишина наполнена стрекотом, шелканьем, плеском не то ручья, не то фонтана, древесным хрустом, шепотом, смехом. Мы сидели на скамейке, я в его куртке, он с моей сумочкой на коленях. Господи! Тоска-то какая! Лето – манок, обман, дырявые сети. Его ткань так воздушна, что ее почти нет. Сквозь нее зияет дыра, которую занавесили чем-то пестрым и легким, как занавешивают койку на курорте, когда сдают угол. А бывает, что в разгар сезона спят на топчане под открытым небом. Проснешься ночью, а над тобой звезды. Летом зыбкость существования, “невыносимая легкость бытия”, особенно ощутима, тоска особенно остра, счастье, которое дышит в затылок, особенно недостижимо. Зазор между “хочу” и “могу” особенно заметен. “Ну иди сюда, иди”, – манит мать младенца, который учится ходить. Он делает шаг к ней, а она от него: “Иди, иди, не бойся”. Так мы всю жизнь и идем то на свет, то на голос. “Перешагни, переступи, перелети, пере-что-хочешь...” А если не хочешь, если пропал кураж, если зазор перестал манить и мучить? Что ж, значит, пришли. И не потому, что путь кончился, а потому, что пропало чувство пути. Радуйся, если не пропало. Радуйся задору, с которым стремишься устранить зазор.

“Радуйся – Сладим-река, Сладим-река течет”⁴⁵. Она течет все лето и дразнит тебя своим плеском и блеском. Где она? Тут, рядом. Где? Да вот она, вот. Знаешь такое английское выражение – *make believe*? Оно точнее, чем русское “притворяться”, потому что буквальный перевод – “заставить верить”. Весна и лето – это сплошной *make believe*. О, как они умеют морочить голову, втягивать всякую живую душу в свою невидимую, сплетенную из тончайших нитей паутину. Зиме для этого не хватает красок и звуков, а осени – желания хоть немного смягчить тему конца. Уж слишком она по осени пронзительна и беспощадна.

А летом... Каждый раз думаю: “Ну, кажется, все. Вышла из возраста. Выпала из игры”, – и каждый раз попадаю пальцем в ослепительно яркое небо. *Make believe* продолжается. “Жизнь легка и необременительна”, – внушает лето. Верю. “Жизнь – сплошной праздник”. Верю. “Завтра будет таким же ослепительным, как сегодня”. Верю.

“Все будет хорошо”. Верю.

Нет, я бы не хотела быть втянутой в эти игры с той же силой, что и сорок лет назад, когда, гуляя летним вечером в парке с рыжим мальчиком, пыталась до боли в сердце вообразить

⁴⁵ Отрывок из стихотворения Константина Бальмонта “Радуйся”.

рядом с собой совсем другого. Но и нет у меня желания оказаться в роли ушедшего подростка, который, придя на новогодний праздник, портит всем настроение, доказывая, что дядька с палкой и бородой не Дед Мороз, а Ванин папа: борода наклеена, а халат и палка тети-Нюрины. Принимаю правила игры. Живу так, чтобы случайно не сдернуть веселые занавески, которыми задрапировали вечность. Хожу так, чтоб не задеть куст жасмина, который пытается выдать окрестности за райские кущи.

“Радуйся – Сладим-река, Сладим-река течет”. Не спрашивай где. Она, как и джондон-новский колокол, который всегда звонит по тебе, течет для тебя. Захочешь – и увидишь ее, услышишь ее плеск. А может, и окунешься. Но только не переусердствуй. Река-мираж не любит слишком азартных купальщиков, пловцов и ныряльщиков. Ее срок – одно лето. А лето летуче. Не тереби его воздушную фактуру, не опирайся на его шаткие декорации. Они еле дышат и держатся один сезон.

Коллекция

Мы с мамой поднимаемся по скрипучей лестнице загородного дома, на стенах которого развешаны многочисленные коллекции засохших бабочек. Владелец этих коллекций ведет нас в свой кабинет на втором этаже. Сутулый, постоянно кашляющий, с трубкой в зубах, он движется бесшумно, потому что на ногах у него валенки. Мне очень нравится этот человек. Он добрый и веселый, хоть и грустный. Он мамин начальник, главный редактор журнала, где работает мама. Мне только не нравится, что он ради своей коллекции загубил столько бабочек. Помню, как поймав однажды бабочку, я так долго сжимала ее в пальцах, что сбила с крылышек пыльцу. Когда я наконец ее отпустила, она, сделав слабую попытку взлететь, упала на траву. Мне сказали, что бабочки без пыльцы не летают. Потрясенная своим невольным злодейством, я долго плакала. Я плакала из-за одной бабочки, а тут их несметное количество. И все мертвые. Странно как-то.

Но еще страннее было посещать квартиру, наполненную чучелами разных животных. Входишь в коридор и тут же попадаешь в объятия огромного медведя. Заглянешь в комнату, а со стены на тебя смотрит мертвыми глазами олень. Войдешь в кабинет хозяина и наступишь на медвежью шкуру. Хозяин – писатель Ефим Пермитин. Книг его я никогда не видела, но знала, что он и двое его сыновей – заядлые охотники, а хозяйка дома – тихая, хлебосольная Тасинька – мамина подруга. Жили они неподалеку от нас в Замоскворечье, и мы у них часто бывали. Не скажу, что мне это шибко нравилось. Я боялась всех этих шкур и морд. Но хозяин был уверен, что я от них в восторге, и, катая меня на спине, специально подносил к оленьей или медвежьей морде и, тыча в нее лицом, говорил: “Ну, поздоровайся, видишь, какой милый зверь”.

Я гораздо больше любила бывать в гостях у мастера скрипок. Его комната находилась в темной коммуналке, в самом конце бесконечного коридора. Но, войдя в нее, вы оказывались в волшебном мире разнокалиберных скрипок. Больше всего меня занимал всамделишный инструмент размером в палец. Почему я решила, что он всамделишный, – не знаю. То ли мне сказали, то ли я хотела, чтоб так было. Скрипки всех размеров стояли вдоль стен, лежали на полках и, как мне сегодня кажется, висели под потолком. Все они были сделаны хозяином комнаты, который, когда приходили гости, любил, достав одну из них с полки, сыграть на ней что-то сладко-напевное. Сегодня я задала бы ему тьму вопросов: кто он, откуда, как научился делать скрипки, почему работает инженером, а не скрипичным мастером. Но тогда, в далеком детстве, мне было достаточно того, что я о нем знала: седой, курит трубку, целует маме руку, работает с моим отчимом в каком-то институте, часто ходит в театр, обращается к жене на “вы”. А дома у него живут скрипки, и он играет на них, прикрыв глаза и улыбаясь.

А еще был на свете художник Валек Никольский. Он жил в очень бедной комнате под чердаком. Посреди комнаты стоял мольберт, а вдоль стен – картины. Их было много и становилось все больше, потому что Валек постоянно работал. Но он не только писал картины. Он еще оформлял книги и дарил их нам с мамой. А некоторые книги, например детские стихи, дарил только мне. Валек говорил басом и носил длинные волосы. У него были широкие плечи и тонкие пальцы. Я любила его рассматривать. Меня занимало то, что он – такой красивый, широкоплечий, басовитый – сидит в инвалидном кресле и его короткие, как у ребенка, ноги беспомощно свисают. Дома он всегда носил пальто с длинным ярким шарфом. Наверное, на чердаке было холодно. Хотя я там видела однажды полураздетую девушку, которая ему позировала. Интересно, куда делись все его картины, где диковинные скрипки из московской коммуналки? И кому достались калейдоскопы, которые делал страдающий туберкулезом дядя Володя, отец моего двоюродного брата? Они валялись на диване, на прикроватном столике, на буфете, и мне никогда не надоедало их вращать. Вжик – один узор, вжик – другой, вжик – третий. К сожалению, я ни разу не видела дядю Володю за работой и совсем не знаю, откуда он брал цветные

стеклышки, фольгу или что-то другое и как помещал всю эту веселую начинку в разноцветный цилиндр. И для чего он их мастерил – для заработка, для забавы?

Странно устроен ребенок. С одной стороны, всему удивляется, а с другой – все принимает как должное, и никаких вопросов.

Мой отчим собирал марки. От него я впервые услышала шикарное слово “филателия”. В центральном ящике нашего письменного стола лежали аккуратные альбомы с марками, большие и маленькие лупы и никогда прежде мною не виданные пинцеты. Я бы все это так и съела, настолько они были аппетитные. Отчим говорил, что собирание марок очень развивает и расширяет кругозор. Он подарил мне альбом, лупу и пинцет. Я была на седьмом небе. Когда из меня стали выскакивать слова типа “гельвеция”, мама, которой очень не нравилась заикливость отчима на марках, вынуждена была признать, что филателия и впрямь развивает.

А самый близкий друг отчима собирал мундштуки и трубки. В его комнате всегда пахло дорогим табаком, который он держал в специальных изящных мешочках. Он и его жена жили в огромном доме на Таганке. Там была коридорная система (я тогда впервые узнала, что такая существует), то есть по обеим сторонам бесконечного, похожего на железнодорожный тоннель коридора были понатыканы крохотные квартиры с игрушечной кухней. Как ни мала была кухня, хозяйка дома умудрялась закатывать царские обеды. И, если я не справлялась с каким-нибудь необъятным блюдом, папин друг задумчиво говорил, посасывая трубку: “А не пора ли тебя пошлепать по тому месту, откуда ноги растут?”

Мне даже нравилось, что для того, чтобы попасть в особый ни на что не похожий мир, надо долго идти нудным, длинным, полутемным коридором. Чем длиннее был проход, тем неожиданнее оказывалось то, что ждало за дверью.

Однажды такой коридор привел меня в странное обиталище разных баночек, скляночек, пузырьков и флаконов. В комнате витал нежный запах духов, а хозяйка, сверкая бело-розовым лицом и ослепительно-чистым шелковым халатом, бесшумно порхала по комнате. Сперва я думала, что она собирает все эти разноцветные емкости, точно так же как другие собирают трубки или марки. Но вскоре поняла, что она косметичка и мама принесла ей свое лицо. Пока владелица баночек колдовала над маминым лицом, я сидела в углу и следила за ее движениями. Шел маленький спектакль, танец рук, которые трогали, ласкали, гладили и мяли мамину кожу. Во время этой ворожбы владелица танцующих рук говорила с мамой тихим воркующим голосом. От всего этого мне (хотя трогали не меня, а маму) сперва стало щекотно, а потом захотелось спать. Когда руки, вспорхнув в последний раз, завершили свой танец вокруг маминого лица, началась ворожба другого рода. В ход пошли баночки. Полные опустошались, а порождение, наполнившись с помощью пластмассовой ложечки чем-то ароматным и густым, плотно закрывались, вкладывались в бумажный кулек и вручались маме. Мы несли их домой, где я немедленно отвинчивала крышки и принималась нюхать, нюхать и нюхать густую сливочную массу с волшебным названием “крем”.

Теперь самое время воскликнуть: “Зачем все это застряло в моей памяти? Где сегодня все эти волшебные миры, все эти страстные собиратели, хранители, любители, мастера, умельцы? Зачем они однажды появились и куда делись?” Вопрос в пространство, которое, как всегда, молчит. Попробуем ответить за него. Ответим вопросом на вопрос: “А почему, собственно, жизнь не имеет права создавать свою собственную коллекцию? Почему она не может быть страстным и бескорыстным собирателем разных человеческих особей? Вот такая особь, а вот – такая. Здесь и художник, и скрипичный мастер, и любитель трубок, и филателист, и ретушер Юра, сын наших соседей на Полянке. Как к нему ни зайдешь, он сидит перед чьей-то фотографией и не то затемняет ее, не то высветляет. А справа и слева ждущие своего часа застывшие лица – улыбающиеся, хмурые, торжественные, взрослые, старческие, детские. Он брал много заказов и работал сутками. Когда он трудился над очередной фотографией, его взгляд становился таким же цепким и хищным, как у художника Валька, работающего с моделью. Я не

понимала, зачем надо ретушировать снимки, но, однажды оказавшись на кладбище, увидела фотографии в круглых рамочках и вспомнила Юру.

Кладбище – тоже коллекция. Коллекция отживших экспонатов. И подпись есть, и даты, и фото для наглядности. Человек собирает свою коллекцию, а жизнь – свою. Она шутя творит будущие экспонаты, дает им возможность полетать, погрешить, помельтешить, помечтать, помучиться, а потом превращает в нечто недвижимое, неживое, у которого тоже есть свое место – тихое, тенистое, с холмиком, с оградой, с фотографией на памятнике. Но я не люблю кладбища. Там нет тех, ради кого мы туда приходим. Они где угодно, даже в этих записях, но там их нет. Впрочем, это уже о другом.

Пестрый кушак от белой шубы

Сборы на дачу начинались загодя. В основном они были связаны с дерматиновым диваном. В течение нескольких дней повторялась одна и та же процедура: откидывались валики, поднимался продранный в нескольких местах верх и обнажалась пестрая, пахнущая нафталином диванная утроба, в которую ныряла бабушка. Что-то бормоча себе под нос, она долго перебирала разное тряпье, разворачивала отрезы, рассматривала на свет ветхие шерстяные кофты, раскладывала на столе старые линейные платья и сарафаны. Шел сложный процесс отбраковки. На дачу ехало лишь то, что поддавалось починке, переделке, перелицовке. Судьба вещей решалась долго и трудно. Наконец отобранная груда укладывалась в огромный холщовый мешок и присоединялась к прочему скарбу, ждущему переезда в углу комнаты. Эти челночные рейсы повторялись из года в год. Каждое лето на дачу среди прочего ездил загадочного происхождения отрез в серую полоску, мамина черная пижама с большими серебристыми цветами, ее старое цыганское платье, белый халат до полу. Проведя три месяца на свежем воздухе, все это в прежнем виде возвращалось обратно. Бабушка успевала творчески преобразить лишь малую толику того, что возила с собой.

Летом за первенство боролись два равновеликих занятия: шитье и кормление внучки. Но поскольку подросшая внучка стала приезжать на дачу не чаще раза в неделю, то керосинка с загадным слюдяным окошечком уступила командное положение зингеровской швейной машинке. Гордо взгромоздившись на единственный просторный стол, машинка стучала весь день и умолкала лишь затем, чтобы послушать, как бабушка, воюя с иглой или шпулькой, в сердцах поминает черта.

Что же до плодов этого подвижнического труда, то они были более чем скромными. Ни я, ни мама не могли носить слегка скособоченную бабушкину продукцию. Да она и сама видела, что не все в порядке. Но, бодро улыбаясь и весело одергивая на мне перешитый из старого халата сарафан, делала вид, что результат превзошел все ее ожидания. Единственный, кому всегда было впору и к лицу любое бабушкино изделие, это дед. Я так и вижу его в длинной теплой безрукавке, сотворенной бабушкой из множества разных кусочков и посаженной на ватин.

По окончании дачного сезона ветошь возвращалась восвояси, то есть благополучно опускалась на дно все того же дерматинового дивана. “Объясни, зачем ты постоянно устраиваешь себе мороку и таскаешь за собой столько барахла?” – вопрошала мама. Бабушка виновато хихикала. Попробуй объясни. Не выкидывать же. Вдруг пригодится. Надо все хранить. На черный день, на всякий случай. А черных дней и всяких случаев бывает много во все времена.

Чем пахнет время? Для меня оно в те давние годы пахло ветошью. За лето запах нафталина немного выветривался, и ветошь принимала другие запахи – чадающей керосинки, яблок, маминых духов. Неподъемные чемоданы, большие мешки, громоздкий, хоть и убогий быт – все это означало одно: мощную силу земного притяжения. Казалось, что столь укоренившуюся жизнь невозможно выкорчевать. Оказалось, можно, и даже без особых хлопот. А раз так, то не лучше ли окружить себя легкими, как лодка, вещами? Пусть плывут в потоке времени – маневренные и отважные, готовые к волне и ветру. А прочий скарб... ну его. Он только лишает подвижности и тянет на дно. Однако кусок пестрого кушака, которым я полвека назад подпоясывала свою белую шубу, все еще цел. Он лежит в небольшом целлофановом пакете вместе с пуговицами и кнопками. Когда я, случается, на него натыкаюсь, то касаюсь его с большой осторожностью. Он настолько стар, этот последний живой (точнее, еле живой) участник летних челночных перевозок, что готов рассыпаться у меня в руках.

Что у нас время?

Take your time, говорят англичане, что означает “не спеши”, а буквально – “бери свое время”. Еще существует словосочетание *keep time* – “выдерживать ритм” или “верно идти” (о часах), буквально – “хранить время”. Кто не хочет удержать время? Нам хорошо удастся терять его, тратить, убивать. Самое безобидное из всего, что мы умеем с ним делать, это проводить. Хотя “провести” имеет и другое значение – “обмануть”. И это нам удастся еще лучше. Мы то и дело обманываем себя, а тем самым и его, что заняты чем-то осмысленным и важным.

Если доверять языку, а только ему и надо доверять, то можно надеяться, что буквальное значение и есть главное. “Возьми свое время и удержи его” – раз сие возможно в языке, значит, возможно и в жизни. Надо только материализовать такую бесплотную субстанцию, как время, превратив его во что-то осязаемое, зримое. Не этим ли мы всю жизнь занимаемся? А удалось нам или нет, покажет опять же время. Хотя окончательная ясность наступит, только если дожить до конца времен. А поскольку это невозможно (да и есть ли у времен конец?), можно расслабиться. Можно, но не получается. Слишком велика потребность чувствовать, что все не зря – минута, день, жизнь... Когда-то давно мне попало на глаза стихотворение про муравья, который, взвалив на спину тяжеленную травинку (необходимый стройматериал), долго тащил ее в свой муравейник. А когда дотащил, удостоился похвалы: “Хорошую какую травинку приволок”. Муравей, конечно, обрадовался. И не потому, что тщеславен, а потому, что приятно сознавать, что твой труд не напрасен.

Мы безнадежно испорчены эпохой индивидуализма. Нам плохо удастся роль безымянных участников событий.

Ведь недаром существуют притяжательные местоимения: *Take YOUR time* – “Возьми СВОЕ время”. Не бывает общих времен. Даже если мы живем в одну эпоху, у каждого (в личном, интимном плане) время свое.

“Я не знаю времени, – сказала мне знакомая художница, – плыву в потоке, и все. А произошло ли это вчера, сегодня, год назад – мне безразлично. Вернее, для меня может стать одинаково важным то, что случилось сто лет назад и сегодня. В моем восприятии все существует одновременно”. “Счастливая, – подумала я, – мне бы так”. Я время слышу, вижу, осязаю. Переживаю, короче. Звучит забавно – переживаю время. Можно ли его пережить? “Оно уйдет, а я останусь”, – писал поэт. Значит, надеялся его пережить.

Впрочем, иногда начинает казаться, что время – это людская выдумка и нет ничего, кроме череды событий, на которые мы набросили самодельные густые сети, сплетенные из разных хитроумных штук. “Время”, – сказали мы гордо и сами же попались в свои тенета. Бьемся и не знаем, как вырваться. А времени как не было, так и нет.

Есть один только воздух, который струится и струится.

Одна моя ученица, забыв значение английского слова, спросила: “Что у нас *send*?” Как будто мы с ней заранее договорились: это будет означать то-то, а это – то-то. Может, и в самом деле мы (не я с моей ученицей, а мы все) условились, что у нас будет такое понятие, как “время”, и теперь мучаемся с ним: теряем, тратим, догоняем, а оно терпит или не ждет.

“Нет времени”, – говорим мы, объясняя, почему не в состоянии что-то сделать. Хорошо бы эти слова означали совсем другое. А именно то, что времени не существует – нет ни века, ни года, ни часа, ни возраста. Есть жизнь, которая требует не времени, а сил. Много-много сил, которых всегда не хватает.

* * *

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
А отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: “Ждет меня беда?”,
А мне в ответ – раскатистое “Да”.
“Какие годы лучшие на свете?” —
Я спрашиваю. Отвечают: “Эти”.